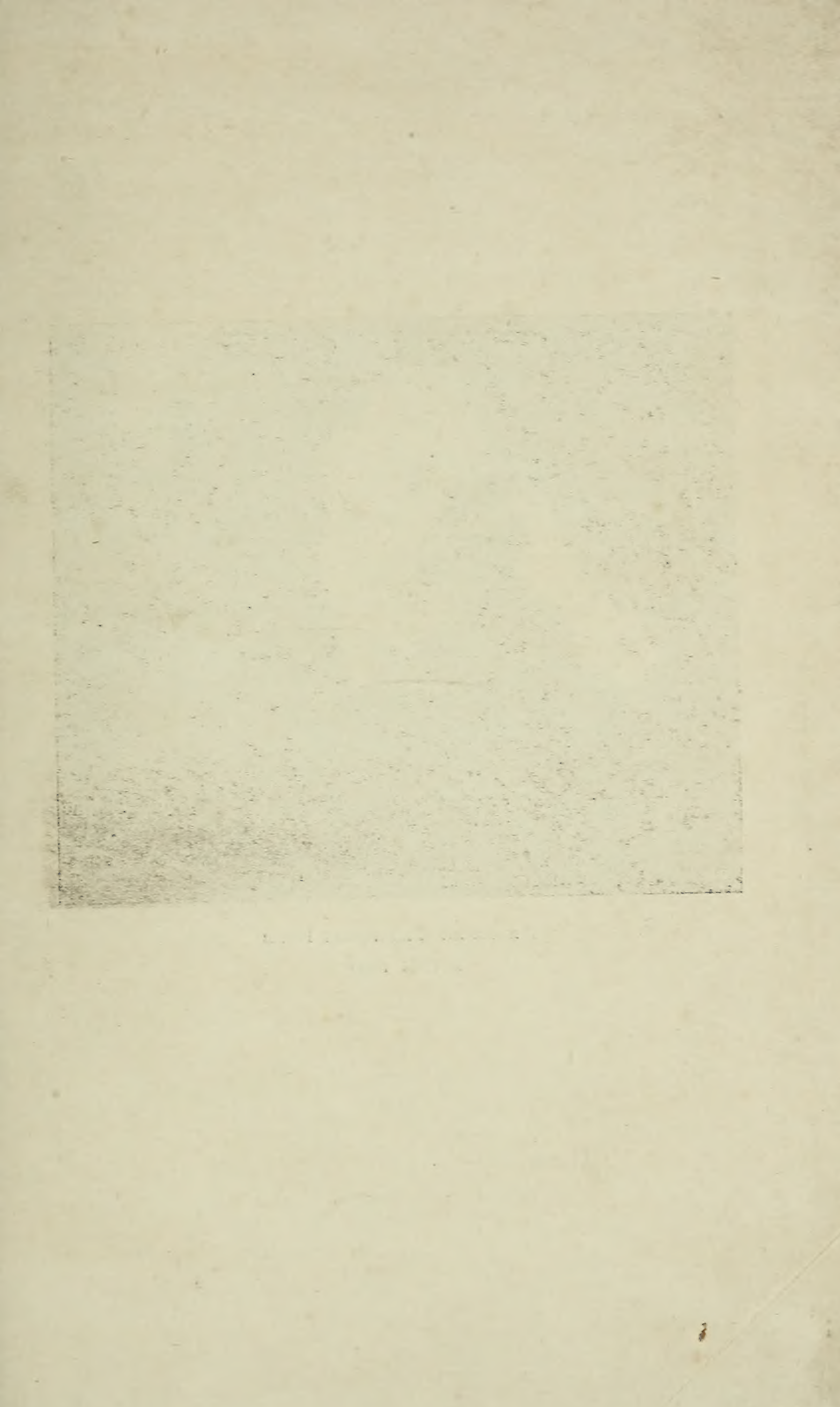
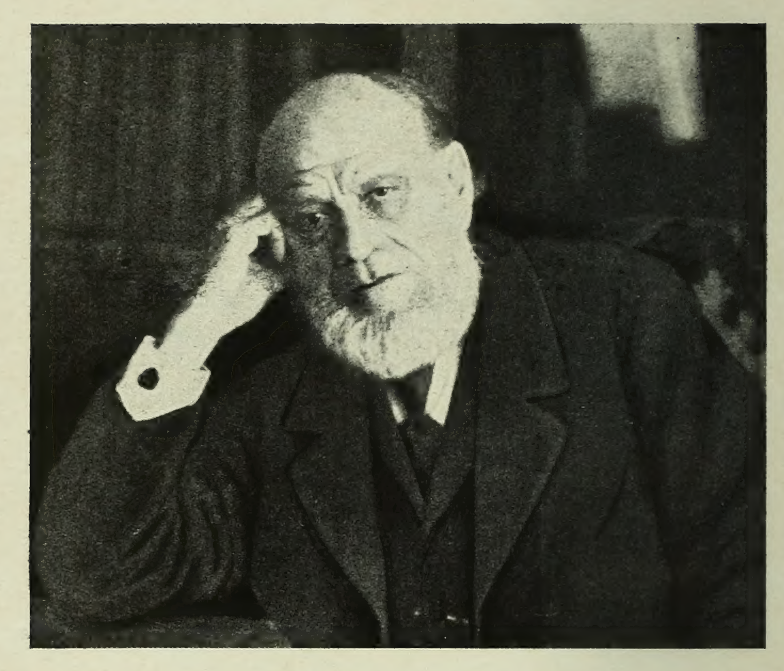
А. Ф. КОНИ

НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ

ТОМ ПЯТЫЙ





Анатолий Федорович Кони
в 1924 году.

НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ

А. Ф. КОНИ

НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ

ТОМ ПЯТЫЙ

[ПОСМЕРТНЫЙ]

ПРИМЕЧАНИЯ
Ю. Г. ОКСМАНА

ЛЕНИНГРАД „ПРИБОЙ“ 1929

ЧИТАТЕЛЬ!
Отзыв об этой книге пошли по адресу: Москва, Ильинка 3, Госиздат, в редакцию журнала „Книга и революция"



Ленинградский Областлит № 28616
$24^1/_8$ л. Тираж 3 000. (С, 52. 27903/Пр.)

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

Выпуская пятый том «На жизненном пути» Анатолия Федоровича Кони, мы считаем необходимым предпослать печатаемым в нем статьям и воспоминаниям несколько слов о ценности и значении литературного наследства, оставленного этим крупным общественным деятелем старой России.

А. Ф. Кони прожил долгую жизнь. Начав свой «жизненный путь» как деятель «эпохи реформ» 60-х годов, он закончил его и сошел в могилу в годы пролетарской революции и рабоче-крестьянской власти в России. Богатая впечатлениями, «встречами», опытом долгая жизнь А. Ф. Кони и сама по себе — совершенно независимо от личных свойств и качеств покойного — содержала в себе благодарнейший материал для воспоминаний. Кони пережил все три наши революции; был современником четырех войн — крымской, русско-турецкой, русско-японской и империалистической; лично знал Л. Толстого, Тургенева, Достоевского, Некрасова, Чехова и многих других деятелей нашей литературы; в качестве видного судебного деятеля и члена «обновленного» после революции 1905 г. Государственного совета был знаком с виднейшими представителями чиновничьего мира от просвещенных бюрократов 60-х годов и талантливого Витте до беспринципного черносотенца-карьериста — «Ваньки Каина» выродившегося бюрократического Олимпа — Щегловитова. А. Ф. Кони было что вспомнить.

Но независимо от исключительно «счастливо» сложившихся обстоятельств своей личной жизни, Кони, кроме того, любил вспоминать и как бы создан был для роли мемуариста. Ему в высшей степени была свойственна та объективность

бесстрастия, которая помогает наблюдателю видеть явления жизни со стороны наиболее интересной и выгодной для последних.

Сквозь густую толпу своих современников Кони сумел пройти никого не задев и не толкнув при жизни и почти ни о ком из них не сказав дурного слова после смерти. Правда, с другой стороны, это же свойство бесстрастия не могло не притуплять в нем силы восприятия, предрасполагало его к сглаживанию острых углов и часто приводило его к искажению облика живых людей в интересах примирения с колючей и неуклюжей действительностью.

А. Ф. Кони был большой мастер сказать об «отошедших» «aut bene, aut nihil». Может быть поэтому даже лучшие из его характеристик не свободны от повторения одних и тех же образов, сравнений и даже цитат. Эту черту стилизации — подчеркивания внешних черт явления и подмены живого, конкретного содержания готовым трафаретом — должен иметь в виду читатель.

Но, как бы ни относиться к указанному свойству А. Ф. Кони как мемуариста и некрологиста, большая историческая ценность его воспоминаний бесспорна. Память Кони донесла до наших дней многое из забытого или полузабытого прошлого. Достоверный очевидец и свидетель на протяжении почти полувека многих важных явлений общественной и литературной жизни, Кони одинаково был памятлив и на мелкие подробности житейской сутолоки. В его воспоминаниях поэтому хорошо и верно отражались старый умерший быт и старые нравы. К этому надо прибавить, что А. Ф. Кони прекрасный рассказчик. Большой мастер того строя речи, который лучше всего назвать ораторским, Кони своими длинными, медленно и плавно льющимися периодами легко покоряет себе читателя, умело заставляет себя слушать и, как общее правило, не оставляет читателя в состоянии разочарования. В этом отношении Кони мало похож на тех ораторов французской школы, речи которых Герцен, кажется, сравнивал со сбитыми сливками: много пены и несколько капель сахару. Искусно подобранный материал фактов, умело рассказанный анекдот, яркая, легко запоминающаяся

цитата — вот те приемы, которыми Кони воздействует на читателя.

Как общественный деятель А. Ф. Кони очень далек от нашей современности. Он весь в прошлом. Далеко позади остались те «60-е годы», которые были для него предметом постоянного умиления.

А. Ф. Кони был полон того благодушного и бессильного бюрократического либерализма, который российское самодержавие держало в черном теле и трагедия которого заключалась в том, что, попав между молотом и наковальней, став где-то посредине между революцией и реакцией, он не был движущей силой исторического процесса и под воздействием активно-борющихся классовых сил пассивно то «радовался», то «скорбел», в зависимости от того, как и в какую сторону поворачивалось колесо истории.

Революция, покончив с реакцией, свела счеты и с русским либерализмом. Никакие живые нити не связывают современную Россию с реформами 60-х годов. В трудах историков-марксистов «эпоха великих реформ» нашла свою объективную оценку, и теперь легко разглядеть в ней ее буржуазно-крепостническое содержание. И если А. Ф. Кони эта эпоха казалась иной, если в ней он видел исполнение чаяний и своего рода «ныне отпущаеши» русского либерализма, то для нас это теперь факт личной биографии покойного общественного деятеля — не больше. И выпускаемый пятый том «На жизненном пути» для нас только воспоминания представителя отошедшей в историю эпохи о «делах и днях» далекого изжитого прошлого.

Работа А. Ф. Кони по подготовке к печати пятого тома «На жизненном пути» прерваны были его смертью 17 сентября 1927 года.

Два первые тома этой серии, объединив биографические очерки, воспоминания, речи и литературно-критические статьи, разновременно опубликованные А. Ф. Кони в периодической печати и отдельно, вышли в свет в 1912 г. и разошлись

в пяти изданиях; третий и четвертый томы «На жизненном пути» напечатаны были в 1922—23 гг. за границей (издательство «Библиофил», Ревель — Берлин).[1]

Принципы отбора и расположения материала, выработанные А. Ф. Кони при издании первых четырех сборников «На жизненном пути», были учтены и при подготовке к печати настоящего тома. Из статей и воспоминаний, предназначенных к включению в пятый том самим А. Ф. Кони, воспроизводятся важнейшие публикации его последних лет и очерк «И. Ф. Горбунов», остававшийся не переизданным с 1907 г.

Все исправления и дополнения, внесенные в печатный текст воспоминаний рукою автора и сохранившиеся в его библиотеке, в настоящем издании приняты во внимание и в существенных случаях особо оговорены. Тексты, оставленные А. Ф. Кони без перемен, печатаются в их последней редакции.

---

[1] Избранные статьи и воспоминания из вышеназванных изданий печатаются в настоящее время в Ленинградском отделении Государственного издательства.

ВОСПОМИНАНИЯ И БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

Николай Алексеевич Некрасов.

Редко кто из выдающихся писателей возбуждал при жизни и после смерти столько разноречивых оценок, как Н. А. Некрасов. Рядом с восторженным изображением его, как «печальника горя народного», существуют отзывы о нем, как о тенденциозном стихотворце, в произведениях которого «поэзия и не ночевала», как о лицемере, негодующее слово которого шло в разрез с черствостью его сердца и своекорыстием. Здесь не место разбирать его произведения и доказывать при этом, как односторонни, пристрастны и несправедливы такие взгляды на его творчество и личность. Достаточно указать на задачу, поставленную им всякому общественному деятелю своим заветом: «иди к униженным, иди к обиженным и будь им друг», которому он и сам следовал, будя в читателе негодование на мрачные и жестокие стороны крепостного права, рекрутчины и бюрократического бездушия. Он знакомил так называемое «общество» и городскую молодежь с русским сельским бытом и, хотя и разными с Тургеневым приемами, вызывал в ней сочувствие к простому русскому человеку и веру в жизненность его духовных сил. Нужно ли говорить о красоте, сжатости и выразительности его языка, о богатстве глубоких по содержанию прилагательных, рисующих целые картины, об искусных звукоподражаниях, о ярких образах — щедрою рукою рассыпанных в его произведениях? Можно ли забыть о тяжких впечатлениях его детства, протекшего «средь буйных дикарей», под звон цепей каторжников, проходящих «по Владимирке», и унылое пение бурлаков на Волге и в частых горьких слезах,

разделяемых им со страдающей матерью, воспетой им с такой захватывающей скорбью?

Все это не входит однако в задачу настоящего очерка: хочется поделиться с читателями простыми личными воспоминаниями, касающимися Некрасова.

Еще в раннем детстве, когда ни о каком знакомстве моем с поэзией Некрасова не могло быть и речи, да она и не успела еще развернуться во всю свою ширь, я уже интересовался им по рассказам своего отца, издателя-редактора «Литературной Газеты» в 1840/41 годах и «Пантеона и Репертуара» с 1843 почти вплоть по 1851 год, когда последний журнал был переименован в «Пантеон» и очень расширил свою литературно-художественную программу. Время издания «Литературной Газеты» совпало с годами тяжелых испытаний и крайних лишений в жизни Некрасова. Ему приходилось очень бедствовать, подчас подолгу голодать и на себе испытывать ту нищету, бесприютность и неуверенность в завтрашнем дне, которые отразились на содержании многих его стихотворений. Он, очевидно, знал по личному опыту, как тяжко проживание в петербургских углах, описанных им в одном из сборников, им изданных. Существовать приходилось изо дня в день составлением книжек для мелких издателей-торгашей и торопливым писанием на заказанные темы о чем придется и как придется. В этот период его жизни с ним познакомился редактор «Литературной Газеты» и предложил ему в своем издании хороший по тогдашним временам заработок, ценя молодого писателя, давая ему иногда по целым неделям приют у себя и оберегая его от возвращения к привычкам бродячей и бездомной жизни.

В письме из Ярославля от 16 августа 1841 г., по поводу какого-то недоразумения, вызванного сплетнями одного из «добрых приятелей» Некрасова, он писал моему отцу: «Неужели вы почитаете меня способным так скоро забыть недавнее прошлое?.. Я помню, что был я назад два года, как я жил. Я понимаю теперь, мог ли бы я выкарабкаться из сору и грязи без помощи вашей. Я не стыжусь признаться, что всем обязан вам, иначе бы я не написал вам этих строк, которые навсегда могли

бы остаться для меня уликой». Большая часть работ Некрасова в «Литературной Газете» была подписана псевдонимом «Перепельский». Себя и редактора он изобразил в «Водевильных сценах из журнальной жизни», под именем Пельского и Семечко, и вложил в уста последнего следующее profession de foi по поводу приемов тогдашней газетной травли, руководимой знаменитым в своем роде Булгариным: «я литератор, а не торговец с рынка, и не хочу пятнать страниц моей газеты той ржавчиной литературы, которую желал бы смыть кровью и слезами». Когда Некрасов вышел на широкую литературную дорогу, его добрые отношения с моим отцом продолжались, хотя видались они довольно редко.

В первый раз мне пришлось его увидать в конце пятидесятых годов на Невском, при встрече его с моим отцом. Я жадно всматривался в его желтоватое лицо и усталые глаза и вслушивался в его глухой голос: в это время имя его говорило мне уже очень многое. В короткой беседе разговор — почему, уже не помню— коснулся исторических исследований об Иване Грозном и о его царствовании, как благодарном драматическом материале. «Эх, отец! — сказал Некрасов (он любил употреблять это слово в обращении к собеседникам), — ну, чего искать так далеко, да и чего это всем дался этот Иван Грозный! Еще и был ли Иван-то Грозный? . .» — окончил он, смеясь.

Осенью 1861 года я был на литературном вечере в память только-что схороненного Добролюбова. Некрасов читал трогательные стихотворения покойного, еще не появившиеся в печати. Его глухой голос как нельзя более соответствовал скорбному тону того, что он выбрал для чтения: «пускай умру, печали мало: не то страшит мой ум больной, — но чтоб и смерть не разыграла обидной шутки надо мной», говорил он, и казалось, что это — замогильный голос самого Добролюбова. Впечатление было сильное. Мне пришлось опять слышать чтение Некрасова десять лет спустя, на вечере, устроенном М. Е. Ковалевским у себя, в пользу колонии для малолетних преступников. Тогда готовились к печати «Русские женщины», и этим произведением, отдельные места которого глубоко трогательны,

поделился со слушателями Некрасов. Аудитория была изысканная в смысле умственного развития, и мне показалось, что он, всегда спокойный и сдержанный, читая волновался и по временам в его голосе слышались слезы. Другие подтвердили мое замечание. Очевидно было, что он — которого так часто упрекали в неискренности — прочувствовал и переживал душевно за княгиню Волконскую и в особенности за Трубецкую — те нравственные страдания их, которые были им воспеты с такой силой и вместе простотой.

С начала 1872 года я стал довольно часто встречать Некрасова в доме его большого приятеля, Александра Николаевича Еракова (ему посвящено Некрасовым большое стихотворение «Недавнее время»), воспитанием дочерей которого руководила сестра Некрасова, Анна Алексеевна Буткевич. Ераков был живой, образованный, чрезвычайно добрый и увлекающийся человек, обладавший тонким художественным вкусом. В его гостеприимном доме любимыми посетителями были: Салтыков, Алексей Михайлович Унковский, Плещеев и Некрасов. Последний часто навещел сестру и приносил ей свои только-что написанные стихотворения. Благодаря этому и моему близкому знакомству с семейством Ераковых, я читал почти все произведения Некрасова, появившиеся после 1871 г., еще в рукописи и иногда в первоначальном их виде. Некрасов очень любил сестру и относился к ней с большим вниманием и участием. В ее строгом лице, со следами замечательной красоты, были черты сходства с братом. Она повидимому не прошла, однако, подобно ему, годов лишений и нравственных уколов, испытываемых человеком, стоящим на границе, за которою начинается уже несомненная и неотвратимая нищета, грозящая бесповоротно увлечь «на дно». Поэтому «борьба за существование» меньше отразилась на ней, на ее статной и изящной фигуре, на цвете ее лица. Некрасов приезжал к Ераковым в карете или коляске, в дорогой шубе, и подчас широко, как бы не считая, тратил деньги, но в его глазах, на его нездорового цвета лице, во всей его повадке виднелось не временное, преходящее утомление, а застарелая жизненная усталость и, если можно так выразиться, *надорванность*

его молодости. Не даром говорил он про себя: «праздник жизни — молодости годы — я убил под тяжестью труда...»

Мы возвращались как-то, летом 1873 г., вдвоем из Ораниенбаума, где обедали на даче у Еракова. На мой вопрос, отчего он не продолжает «Кому на Руси жить хорошо», он ответил мне, что, по плану своего произведения, дошел до того места, где хотел бы поместить наиболее яркие картины из времен крепостного права, но что ему нужен фактический материал, который собирать некогда, да и трудно, так как у нас даже и недавним прошлым никто не интересуется. — «Постоянно будить надо, — без этого русский человек способен позабыть и то, как его зовут», — прибавил он. «Так вы бы и разбудили, кликнув клич между знакомыми о доставлении вам таких материалов, — сказал я. — Вот, например, — хотя я и мало знаком с жизнью народа при крепостных отношениях, а, думается мне, мог бы рассказать вам случай, о котором слышал от достоверных людей....»

— А как вы познакомились с русской деревней и что знаете о крепостном праве? — спросил меня Некрасов.

Я рассказал ему, что в отрочестве мне пришлось провести два лета вместе с моими родителями в Звенигородском уезде Московской губ. и в Бельском уезде Смоленской. В последнем я видел несколько безобразных проявлений крепостного права со стороны семьи одного помещика, не чуждого, в свое время, литературе. Гораздо ближе познакомился я с русским бытом, когда, будучи московским студентом, жил летом 1863 г. «на кондициях» в Пронском уезде, Рязанской губернии, в усадьбе Панькино, в семействе бывшего профессора А. Н. Драшусова, младшего сына которого готовил к поступлению в гимназию и дочери которого давал впоследствии в Москве уроки. Почти все время, свободное от уроков и от беседы с хозяйкой дома — умной и очень образованной женщиной, бывшей в переписке со многими выдающимися людьми Западной Европы — я проводил на селе, живо интересуясь только-что совершившимся переломом в крестьянском быту под влиянием великой реформы 19-го февраля и внимательно прислушиваясь к постепенно умолкав-

шим отголоскам недавних крепостных отношений. С чувством теплого уважения вспоминаю я прекрасную личность мирового посредника первого призыва, отставного майора Федюкина, одного из тех благороднейших деятелей, которые внезапно появились в России под благовест освобождения и нередко беспощадно к себе и бескорыстно вложили всю душу свою в новое дело. И, как контраст ему, рисуется в моих воспоминаниях местная молодая титулованная помещица, вечно воевавшая с ненавистным ей Федюкиным, со злобной настойчивостью преследовавшая своих крепостных за каждую охапку хвороста, собранную в ее лесу, и за каждый, как выражался мировой посредник, «намек на потраву». Она привозила по временам в Панькино откуда-то добываемый ею Герценовский «Колокол» и с ликованием читала в нем резкие и язвительные выходки против императора Александра II. Когда однажды я заметил ей крайнее несоответствие ее домашнего образа действий и негодования на Федюкина, часто становившегося на сторону крестьян, — с восхищением перед упомянутыми выходками, она пожала плечами с выражением презрительного сожаления о моем умственном неразвитии и решительно отрезала мне: — «Никакого несоответствия нет и удивляться нечему! Мне нравится, когда *его* ругают, поделом *ему*! Зачем он освободил крестьян и позволил разным Федюкиным помогать нас грабить! . .»

Я бывал в заседаниях волостного суда и на сельских сходах, бродил подолгу с крестьянином-охотником Данилой и просиживал с ним до рассвета в лесу, «подвывая» волков, на что он был большой мастер — и вел долгие беседы со сторожем волостного правления, прозвище которого, к сожалению, теперь не помню. Его звали Николай Васильевич. Это был высокий старик с шапкой седых волос и подслеповатыми глазами, ездивший в Москве в извозчиках еще до того, как туда «приходил француз». Большой любитель моих папирос, словоохотливый старик подолгу рассказывал мне о прошлом, вплетая в свои рассказы, без всякой предвзятой мысли, яркие картины из крепостной эпохи. Он не видел во мне «барина» и относился поэтому ко мне с полным

доверием, которое поколебалось лишь однажды. «— Тебе какое же, родимый, положение идет за то, что ты учишь барчука! — полюбопытствовал он узнать. — Двадцать рублей. — В год?— Нет, в месяц. — Ой ли?! Да за что же это так много? — Как за что? Занимаюсь с ним, готовлю в гимназию. Вот скоро ему будет в Москве экзамен. — Ну, а ешь-то ты что? То же, что господа? — Конечно! Что же мне другое есть, когда я с ними и обедаю и ужинаю. — С ними?! — сказал он недоверчиво и потом решительно прибавил: — Врешь ты, родимый!..» Из его слов я увидел, как иногда в прежнее время — но, конечно, не в семье Драшусовых — смотрели на учителя...

«— А где ж ты там, парень, живешь? — спросил он меня в другой раз: — в господском доме? — Нет, я живу отдельно, на дворе, в комнате при старой бане. Мне там очень хорошо; тихо, просторно и никто не мешает. Я там и уроки даю. — В бане? — задумчиво сказал старик — и тебе не боязно? *Она-то* по ночам не ходит? Не пужает тебя? — Кто она? Какая она? — Да, ведь, тут у нас в старые годы, давно уж тому, помещица была, лихая такая: девкам дворовым от нее житья не было. Очень уж она на одну серчала. Косу ей обрезать велела и другое разное такое — совсем со свету сживала. Та, возьми, да с горя и удавись. Суд приехал. В бане ее и «коронили» — значит, потрошили. А к чему это — неизвестно. А потом схоронили за оградой, потому что руки на себя наложила. После нее сундучок с вещами остался, а она была сирота. Так сундучок-то поставили на чердак в бане. Вот у нас на селе и бают, что она по ночам ходит сундук свой смотреть. Ну, как же не боязно?!..» Выслушав это, я понял почему прислуга, когда я вечером желал остаться у себя (я готовился к отложенному на осень экзамену у Бабста из политической экономии и статистики и внимательно изучал Рошера), принося мне чай или молоко, ставила их на крылечке и, постучав в окно, быстро удалялась, несмотря на то, что днем любила заходить ко мне и побеседовать с *учителем*. Вернувшись к себе, я пошел на чердак и в углу его действительно увидел покрытый пылью старый небольшой сундучок, перевязанный веревкой и запечатанный печатью пронского

земского суда. Нужно ли говорить, что в первую же затем ночь мое нервно настроенное воображение заставило меня услышать чьи-то шаги на чердаке? Но затем молодость взяла свое, и несчастная самоубийца уже не тревожила мой крепкий сон.

В другой раз тот же старик рассказал мне с большими подробностями историю другого местного помещика, который зверски обращался со своими крепостными, находя усердного исполнителя своих велений в своем любимом кучере — человеке жестоком и беспощадном. У помещика, ведшего весьма разгульную жизнь, отнялись ноги, и силач-кучер на руках вносил его в коляску и вынимал из нее. У сельского Малюты Скуратова был, однако, сын, на котором отец сосредоточил всю нежность и сострадание, ненаходимые им в себе для других. Этот сын задумал жениться и пришел вместе с предполагаемой невестой просить разрешения на брак. Но последняя, к несчастью, так приглянулась помещику, что тот согласия не дал. Молодой парень затосковал и однажды, встретив помещика, упал ему в ноги с мольбою, но, увидя его непреклонность, поднялся на ноги с угрозами. Тогда он был сдан не в зачет в солдаты, и никакие просьбы отца о пощаде не помогли. Последний запил, но недели через две снова оказался на своем посту, *прощенный* барином, который слишком нуждался в его непосредственных услугах. Вскоре затем барин поехал куда-то к соседям со своим Малютою Скуратовым на козлах. Почти от самого Панькина начинался глубокий и широкий овраг, поросший по краям и на дне густым лесом, между которым вилась заброшенная дорога. На эту дорогу, в овраг, называвшийся Чортово Городище, внезапно свернул кучер, не обративший никакого внимания на возражения и окрики сидевшего в коляске барина. Проехав с полверсты, он остановил лошадей в особенно глухом месте оврага, молча, с угрюмым видом, — как рассказывал в первые минуты после пережитого барин, — отпряг их и отогнал ударом кнута, а затем взял в руки вожжи. Почуяв неминуемую расправу, барин, в страхе, смешивая просьбы с обещаниями, стал умолять пощадить ему жизнь. — Нет! — отвечал ему кучер, — не бойся, сударь, я не стану тебя убивать, не возьму такого гре-

ха на душу, а только так ты нам солон пришелся, так тяжко с тобой жить стало, что вот я, старый человек, а через тебя душу свою погублю... И возле самой коляски, на глазах у беспомощного и бесплодно кричавшего в ужасе барина, он влез на дерево и повесился на вожжах.

Выслушав мой рассказ, Некрасов задумался, и мы доехали до Петербурга молча. Он предложил мне довезти меня в своей карете на Фурштадтскую, где я жил, и, когда мы расставались, сказал мне: «Я этим рассказом воспользуюсь», — а через год прислал мне корректурный лист, на котором было набрано: «О Якове верном — холопе примерном», прося сообщить, «так ли?» Я ответил ему, что некоторые маленькие варианты нисколько не изменяют существа дела, и чрез месяц получил от него отдельный оттиск той части «Кому на Руси жить хорошо», в которой изображена эта пронская история в потрясающих стихах.

Мне пришлось несколько раз посетить Некрасова в доме Краевского на Литейной и раза два у него обедать в обществе сотрудников «Отечественных Записок», где всех оживлял своими веселыми и образными рассказами покойный «друг писателей» Михаил Александрович Языков. Юмор и подвижность его были особенно ценны в виду его весьма преклонного возраста, а память его просто поражала способностью хранить в себе многое из давно-давно прошедшего. Иногда на вопрос удивленного собеседника: «а сколько вам, Михаил Александрович, лет?» — он, с комической важностью, горделиво отвечал, пародируя знаменитые слова Людовика XIV: «L'état (лета) — c'est moi! (это я)». За этими обедами мне пришлось слышать весьма интересные рассказы хозяина о литературных нравах конца сороковых и первой половины пятидесятых годов и о тех невероятных, но вместе с тем достоверных, издевательствах цензуры над здравым смыслом и трудом писателя, в те времена, «когда была жизнь коротка для песен лиры, — от типографского станка до цензорской квартиры», и когда поэт отвечал типографскому рассыльному Минаю, приносившему корректуру, испещренную красными крестами и говорившему: «Сойдет-де и так»: — «Это кровь проливается! Кровь моя, ты дурак!»

Тогда же я познакомился с будущей женою Некрасова, Феклой Анисимовной, которую он называл более благозвучным уменьшительным именем Зины — и к которой обращены многие его предсмертные стихи, полные страдальческих стонов и нежности. От нее веяло душевной добротой и глубокой привязанностью к Некрасову. За обедом, где из женщин присутствовала она одна, Некрасов, передававший какое-нибудь охотничье приключение или эпизод из деревенской жизни, прерывал свой рассказ и говорил ей ласково: «Зина, выйди пожалуйста, я должен скверное слово сказать», и она, мягко улыбнувшись, уходила на несколько минут. Однажды, сообщая мне о том, что он начал ездить, в сопровождении Зины, в водолечебницу доктора Крейзера в Адмиралтействе, он сказал: «после моей водяной операции мы обыкновенно сидим некоторое время на Адмиралтейском бульваре. Это совпадает с временем обычной прогулки государя по набережной Невы, причем, незаметно для него, ему предшествуют и его сопровождают агенты тайной полиции, проживающие в здании Адмиралтейства. Мы уже привыкли их видеть, выходящими на службу. Однажды один из них вышел в сопровождении жены и с ребенком на руках и, помолившись на собор Исаакия, нежно поцеловал жену и перекрестил ребенка. Это очень растрогало Зину. «Ведь вот, — сказала она, — шпионина, а душу в себе имеет человечью!» — Вдова Некрасова после его смерти жила в уединении, в самой скромной обстановке в Саратове, в последнее время нуждаясь и стойко замыкаясь у себя против назойливых покушений разных репортеров. Она умерла в 1914 году, свято чтя память своего мужа.

Иногда Некрасов обращался ко мне с просьбою о совете по тому или другому литературному делу, которое, в дальнейшем своем развитии, могло грозить осуществлением в реальной действительности того, что с таким юмором изобразил он в своем остроумном стихотворении «Суд». У меня сохранилось его письмо от 7 апреля 1874 года. «Разрешите, пожалуйста, — писал он, — *должны ли мы* напечатать прилагаемое объяснение судьи N. N.? И может ли выйти что-либо неприятное для редактора, в случае, если бы мировой судья, не видя объяснения напечатан-

ным, принес жалобу — или нет? Надо заметить, что судья этот, должно быть, скотина старых приказных времен, ибо наполнил свою заметку кляузами и бранью, которые я откинул. Ответ ваш необходим *сегодня*. Очень обяжете. Искренно преданный Вам Н. Некрасов».

У Некрасова было много врагов, и на его счет распространялись самые злоречивые слухи, сосредоточиваясь, главным образом, на его крупных выигрышах в карты в Английском клубе. Порожденные этими слухами легенды живут, к сожалению, и по настоящее время в обществе. «Calomniez, calomniez — il en restera toujours quelque chose!» (клевещите, клевещите — что-нибудь да останется). По этому поводу мне пришлось однажды иметь большую беседу с самим Некрасовым.

В 1874 году сильное впечатление в Петербурге произвело возбуждение мною, по должности прокурора, дела о штабс-ротмистре Колемине, содержавшем игорный дом и завлекавшем к себе роскошным угощением обыгрываемую им молодежь, причем выигрышу велась правильная бухгалтерская запись. В виду полной изобличенности Колемина, я предложил судебному следователю наложить, на основании 512 ст. XIV тома, арест на деньги Колемина, хранившиеся на текущем счету в Волжско-Камском банке в сумме 49 500 рублей и представлявшие, согласно составленным Колеминым записям, чистый его выигрыш. Арест был наложен, и суд утвердил эту меру. Кто-то, по невежеству юридическому, а может быть с дурным и злорадным умыслом уверил Некрасова, будто бы достоверно известно, что я намерен возбудить дела о всех лицах, выигравших крупные суммы в общественных собраниях и клубах, и предложить суду отобрать у них эти деньги для обращения их в пользу колонии и приюта для малолетних преступников в окрестностях Петербурга. Встревоженный Некрасов, сознававшийся, что такая мера могла бы гибельно отразиться на средствах для издания «Отечественных Записок», как-то рано утром пришел ко мне и просил откровенно сказать, грозит ли ему такая опасность. Я, конечно, его разуверил и постарался рассеять его опасения, объяснив всю нелепость дошедшего до него слуха.

При этом я подробно рассказал ему про поводы к возбуждению дела о Колемине и выяснил ему, *что именно* разумеет закон словами «устройство игорного дома» и как он исторически сложился. Некрасов успокоился и, долго просидев у меня, подробно рассказал мне, как образовались его значительные средства, возбуждавшие в столь многих ожесточенную зависть. В своем повествовании, довольно беспощадном к самому себе, он раскрыл предо мною болезненную психологию человека, одержимого страстью к игре, непреодолимо влекущею его на эту рискованную борьбу между счастьем и опытом, увлечением и выдержкой, запальчивостью и хладнокровием, где главную роль играет не выигрыш, не приобретение, а своеобразное сознание своего превосходства и упоение победы...

Рассказы о «нечистой игре» Некрасова были несомненной клеветою — такою же, как стремление представить его бессердечным эгоистом и человеком, двулично драпирующимся в тогу друга народа и служителя «музы мести и печали», в то время когда до народных скорбей ему в сущности нет никакого дела, и он, широко тратя легко достающиеся деньги на себя, остается глух и слеп к чужому горю и несчастью. Из рассказов ряда писателей, а также его сестры, женщины правдивой до суровости, мне были известны нередкие случаи проявления им доброты и даже великодушной незлобивости по отношению к чуждым ему людям. Его прекрасные, внимательные и участливые отношения к сотрудникам, его отзывчивая готовность «подвязывать крылья» начинающим даровитым людям и его трогательная нежность к сестре служат лучшим опровержением шипенья злобы, которая и при жизни его и по смерти прикрывалась услужливыми словами «говорят, что...» — «Несть человек, аще поживет и не согрешит. Ты един кроме греха...» говорится в чудном ритуале нашей панихиды. Не «прегрешения» важны в оценке нравственного образа человека, а то, был ли он способен сознавать их и глубоко в них каяться. Стоит вспомнить вырывавшиеся из глубины души Некрасова, орошенные внутренними слезами, крики, которыми он оплакивал случаи

своего кратковременного падения или минутного малодушия, когда ему приходилось сознавать, что «погрузился в тину нечистую — мелких помыслов, низких страстей» и что «ликует враг — молчит в недоуменьи вчерашний друг, поникнув головой...» — стоит их вспомнить, чтобы видеть, что он был человеком искренним.

Последние скорбные стихи были отголоском глубоко уязвивших Некрасова нареканий по поводу его стихотворного приветствия графу Муравьеву-Виленскому, диктаторская власть которого грозила в 1866 году прекращением наиболее выдающихся журналов. Слишком доверчиво полагаясь на умягчающее влияние своего поступка на сурового «усмирителя», Некрасов жестоко ошибся. «Современник», коего он был редактором, и «Русское Слово» окончили свое существование, но несомненно, что он не преследовал никаких личных целей, а рисковал своей репутацией, чтобы спасти передовые органы общественной мысли от гибели.

Тот, кто наблюдал жизнь, кому приходилось иметь дело с живыми людьми, должен, мне кажется, признать, что существует большая разница между человеком дурным и человеком, впавшим в порочную слабость или увлеченным страстью. Нередко под оболочкой почти безупречной «умеренности и аккуратности», дающей повод к лицемерному самолюбованию, таится несомненно дурной человек, и, наоборот, иной игрок, пьяница или «явный прелюбодей», которого наши старые судопроизводственные законы не допускали даже до свидетельства на суде, — вне пределов своей порочной склонности бывают людьми великодушными, благородными и добрыми, в особенности добрыми. Недаром Достоевскому приписываются слова, что у нас добрые люди обыкновенно пьяные люди, и пьяные люди почти всегда добрые люди... Литературные и нравственные заслуги Некрасова пред русским обществом так велики, что пред ними должны совершенно меркнуть его недостатки, даже если бы они и были точно доказаны. Это прекрасно выразил покойный Боровиковский в стихах «Его судьям», в которых, обращаясь к «непреклонному моралисту, сующему с миной величавой *его* ошибок скорбный

лист», он говорит: «ты сосчитал на солнце пятна и проглядел его лучи!...»

Во время долгой и тяжкой предсмертной болезни Некрасова я был у него несколько раз и каждый раз с трудом скрывал свое волнение при виде того беспощадного разрушения, которое совершал с ним недуг. Последнее время он мог лежать только ничком, в очень неудобной позе, под одной простыней, которая ясно обрисовывала его страшно исхудалое тело. Голос был слаб, дрожащая рука — холодна, но глаза были живы, и в них светилось все, что оставалось от жизни, истерзанной страданием. В последний раз когда я его видел, он попенял мне, что я редко к нему захожу. Я отчасти заслужил этот упрек, но я знал от его сестры, что посещения его утомляют, и притом был в это время очень занят, иногда не имея возможности дня по три под ряд выйти из дому. На мои извинения он ответил, говоря с трудом и тяжело переводя дыхание: «Да что вы, отец! Я ведь это так говорю, я ведь и сам знаю, что вы очень заняты, — да и всем живущим в Петербурге — всегда бывает *некогда*. Да, это здесь роковое слово. Я прожил в Петербурге почти сорок лет и убедился, что это слово — одно из самых ужасных. Петербург — это машина для самой бесплодной работы, требующая самых больших — и тоже бесплодных — жертв. Он похож на чудовище, пожирающее лучших из своих детей. И мы живем в нем и умираем, не живя. Вот я умираю — а, оглядываясь назад, нахожу, что нам *все и всегда было некогда*. Некогда думать, некогда чувствовать, некогда любить, некогда жить душою и для души, некогда думать не только о счастьи, но даже об отдыхе, и только *умирать есть время*...»

Хотя и давно ожиданная, вследствие сообщений газет о трудной операции, произведенной Бильротом, и о тяжких страданиях, смерть Некрасова произвела в Петербурге, да и во многих местах России, сильное впечатление, заставила встрепенуться во многих любовь к угасшему и вызвала неподдельное чувство боли, заставив на время смолкнуть наветы недругов и злобные шуточки лицемерных друзей. Это настроение нашло

себе яркое выражение в прекрасных стихах того же Боровиковского, написанных накануне похорон и начинавшихся словами:

Смолкли поэта уста благородные.

Самые похороны были очень многолюдны и, сколько помнится, — были вторыми неофициальными похоронами в Петербурге, в которых — после торжественных похорон знаменитого артиста Мартынова 13 сентября 1860 г. — приняли участие с горячим порывом самые разнообразные круги общества. Обстановка этих похорон и характер участия в них молодого поколения указывали, что ими выражается не только сочувствие к памяти покойного, но и подчеркивается живое активное восприятие основного мотива его поэзии. Надо, впрочем, заметить, что по торжественности и внешнему, свободно установленному, порядку эти похороны значительно уступали тому, что пришлось впоследствии видеть при похоронах Достоевского и отчасти Тургенева. Мне вспоминается вечер 30 декабря 1877 года — день похорон Некрасова — проведенный в доме редактора «Вестника Европы». Все были полны одним чувством, но с особой силой оно сказывалось у Кавелина — большого поклонника покойного поэта, любившего его «за каплю крови, общую с народом».

Русский человек до мозга костей, знаток быта и глубокий исследователь явлений истории народа, Кавелин нежно и беззаветно любил этот народ. Он светло смотрел вперед, не смущаясь за будущую роль своего отечества. Ему нравилось, когда его называли в этом отношении оптимистом. «Да, я оптимист,— говаривал он с тихою и уверенною радостью во взоре,— я верю, что какие бы уродливые и болезненные явления ни представляло русское общество — простой русский человек поймет свои задачи, разовьет свои богатые духовные силы и вынесет на своих плечах Россию». Он не отрицал темных и грубых сторон нашего сельского быта, на котором, как на устоях, должна, по его мнению, стоять Россия, — но он восставал против поспешных и мрачных обобщений. «Эти недостатки — недостатки молодости,

не перебродившего переходного положения, наносная и поверхностная плесень», говаривал он... «Сердцевина здорова, и ее живительные соки залечат больные места в коре; пусть только дадут им выход, не мудрствуя лукаво, не навязывая народу чуждых ему учреждений и не заключая его в бюрократические тиски... Надо верить в русский народ, надо его любить — без этого жить нельзя!» Он часто доказывал, что о народе следует судить не по его нравам и привычкам, а по его идеалам, — и с удовольствием повторял процитированное пред ним однажды изречение Монтескье: «Le peuple est honnête dans ses goûts, sans l'être dans ses moeurs...» Всякий истинный слуга народа был ему дорог. Понятно, как ему, с этой точки зрения, был близок усопший поэт. Он умел так настроить и направить довольно многочисленный кружок, что весь вечер был всецело посвящен памяти усопшего. В растроганном настроении внимали все Кавелину, читавшему слегка дрожащим голосом и с влажными глазами «Тишину» и «Несчастных», в которых с такой силой и красотой вылилась любовь Некрасова к родине и к русскому человеку.

Первым пунктом завещания Некрасова, составленного в январе 1877 года и утвержденного петербургским Окружным судом 20 января 1878 года, в бытность мою председателем этого суда, все авторские права, рукописи и частные письма к нему разных лиц завещаны в собственность Анне Алексеевне Буткевич, а именье близ села Чудово при усадьбе Лука оставлено в собственность жене с тем, чтобы она выделила из него половину незастроенной земли брату завещателя, Константину. Анна Алексеевна купила у вдовы брата доставшуюся ей усадьбу с землею. В этой усадьбе проводил покойный часто подолгу время в последние десять лет своей жизни, охотясь и работая; здесь, между прочим, написал он значительную часть своей поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Анна Алексеевна относилась с благоговением к памяти брата и издала его стихотворения в 1879 году в четырех томах, в подготовку которых к печати вложила много любви и личного труда. В 1881 году она повторила издание в одном большом и компактном томе.

Она умерла в 1882 году, и все три года ее жизни, прошедшие после смерти брата, были сплошным служением его памяти. В эти годы я сильнее прежнего сблизился с ней, в особенности после того как мне удалось вывести ее из довольно затруднительного положения, вызванного ее несколько запутанными личными и семейными отношениями. «Получив ваше письмо, — писала она мне в апреле 1879 года, — я хотела сейчас ехать к вам, чтобы лично поблагодарить вас за спокойствие, которое вы мне устроили, но боязнь отвлечь вас от занятий удержала меня от демонстрации моей радости. Вы связали оказанную вами услугу с воспоминанием о моем брате... Да! в этом вы заменили мне его, и вы не поверите, каким вы стали дорогим для меня человеком». Она разбирала со мною бумаги и черновые наброски стихотворений брата. В двадцатых числах января 1882 года она заболела тяжелым плевритом и, пригласив меня к себе, просила быть ее душеприказчиком и позаботиться об устройстве в Луке училища в память брата. Слабое пожатие ее горячечной руки было последним для меня в ее жизни, которая угасла 20 февраля.

С грустным чувством приходится завершить мои отрывочные воспоминания повествованием о судьбе задуманного Анною Алексеевной увековечения памяти ее брата.

Согласно ее завещанию, на устройство и содержание этого училища должны были быть переданы мне деньги, вырученные книжным складом Стасюлевича от продажи изданных ею сочинений брата. Весною 1882 года, я вступил в сношения с новгородским земством о передаче ему по дарственной записи усадьбы Лука со всею находящеюся в ней движимостью, с условием устроить в ней школу имени Некрасова, при обещании представителей земства сохранить в неприкосновенном виде его кабинет с письменным столом, креслом и превосходным портретом работы Ге. Земство приняло пожертвование с благодарностью и вскоре ассигновало на поддержание школы 500 рублей ежегодно, но затем начались разные затруднения и проволочки как относительно типа школы и ее назначения, так и относительно большего ее материального обеспечения. Для увеличе-

ния последнего я принял на себя ходатайство пред министром государственных имуществ, М. Н. Островским, об удовлетворении просьбы земства о ежегодной субсидии этой школе, если она будет сельскохозяйственного типа. Островскому, который в это время круто стал отрешаться от своих прежних взглядов и литературных симпатий, не было симпатично название школы, но, после некоторых колебаний, он согласился, и школе со дня ее открытия было назначено пособие в 1000 рублей ежегодно. Затем, вследствие новых заявлений земства о недостаточности средств, я вошел в 1884 году в сношение с А. А. Краевским и М. Е. Салтыковым о передаче новгородскому земству шести тысяч шестисот семидесяти трех рублей, собранных редакцией «Отечественных Записок» на устройство школы в память Некрасова в месте его родины. Я был уверен, что эти деньги вместе с арендной платой с земли при Луке, субсидиями от министерства государственных имуществ и от земства и с 4 500 рублями, вырученными от продажи сочинений Некрасова, могут наконец обеспечить существование Некрасовской школы. К сожалению, какой-то злой рок тяготел над открытием этой школы, которая в проекте переделывалась из сельскохозяйственной в ремесленную и наоборот, и предназначалась к открытию то в Луке, то в имении одного из местных помещиков, а в действительности не была открыта в течение девяти лет. Это побудило меня обратиться к председателю губернской земской управы с письмом следующего содержания: «М. Г. — Вследствие состоявшегося в 1882 году между мною, как душеприказчиком вдовы полковника Анны Алексеевны Буткевич, и представителями новгородского губернского и уездного земства соглашения — мною было передано земству для устройства школы в память Н. А. Некрасова — завещанное г-жею Буткевич имение, состоящее из дома и 82 десятин земли при усадьбе Лука, близ Чудова, и препровождены затем — 11 173 р. При возникшей, по поводу устройства этой школы, переписке между мною и гг. председателями губернской и уездной земских управ — я неоднократно высказывал, что, в качестве душеприказчика А. А. Буткевич, я не имею никаких возражений ни против типа или характера

школы, ни против местности, в которой земству угодно будет ее открыть, озабочиваясь лишь скорейшим выполнением желаний завещательницы, хотевшей связать память о своем брате с посильною пользой народному образованию в местности, где последний часто живал и создал многие из своих поэтических произведений. К сожалению, однако, школа имени Некрасова до настоящего времени не учреждена, а появляющиеся в повременных изданиях известия заставляют предполагать, что при настоящем положении вопроса нельзя даже и предвидеть с точностью времени ее открытия, несмотря на то, что, помимо земли и дома, на этот предмет у земства имеется уже капитал, превышающий 14 тыс. р. с. Не считая себя в праве входить в обсуждение причин и условий такого неблагоприятного для осуществления воли г-жи Буткевич положения дела, я не могу, однако, оставлять обязанности, возложенной ею на меня, неисполненною и ограничиться одним лишь формальным исполнением ее воли путем передачи ее имения и завещанных ею средств земству, — тем более, что 6 673 р. испрошены мною у гг. Салтыкова и Краевского именно для устройства задуманной г-жею Буткевич школы. Поэтому и в виду предстоящего губернского земского собрания, имею честь обратиться к вам с покорнейшей просьбой оказать зависящее с вашей стороны содействие — *к безотлагательному и действительному разрешению вопроса о Некрасовской школе* — или же, буде новгородское земство считает принятые на себя по дарственной записи 1883 г. обязательства *невыполнимыми* — к возбуждению вопроса о возвращении мне всего предоставленного для устройства школы, дабы я мог передать эти средства министерству народного просвещения с тою же целью».

Наконец, в 1892 году Некрасовская сельскохозяйственная школа была открыта при доме поэта в Луке, причем из вещей Некрасова, вследствие плохого надзора, как удостоверял в «С.-Петербургских Ведомостях» за 1902 г. Жилкин, остался в доме лишь его портрет. По последующим известиям, если верить корреспонденции «С.-Петербургских Ведомостей», в 1904 году школа находилась в таком неприглядном виде, что очередное

уездное земское собрание постановило: признать школу в настоящем ее виде нежелательною и поручить управе разработать вопрос или о реорганизации ее, или о совершенном закрытии, передав портрет поэта в Музей Императора Александра III и заменив его копией. В 1906 году — школа закрыта вовсе, а усадьба Некрасова сдана в аренду подрядчику рабочей артели с ближайшей плитной ломки...

Федор Михайлович Достоевский.

Весною 1845 года начинающий, впоследствии очень известный, писатель Григорович взял у своего сотоварища по воспитанию в Инженерном училище рукопись его первого литературного труда и отнес ее к Некрасову, собиравшему материалы для «Петербургского Сборника».

Чтение рукописи привело их в восторг и вызвало у сдержанного вообще Некрасова слезы. С известием об этом впечатлении, самым ранним утром, Григорович поспешил к автору, а затем вместе с Некрасовым отправился к знаменитому русскому критику. — «Белинский! — вскричал один из них, входя, — «Новый Гоголь народился!»

«Эк у вас Гоголи-то как грибы растут»,— сурово ответил Белинский, однако взял рукопись, а вечером в тот же день пришел к ним сказать, что совершенно восхищен этим произведением и непременно желает видеть молодого автора, которого затем приветствовал самым задушевным образом и, так сказать, благословил на дальнейшую писательскую деятельность. Этот молодой автор был Достоевский, а произведение его называлось «Бедные люди», в котором затронутые Гоголем душевные переживания скромного труженика, «унижаемого и оскорбляемого» и людьми и судьбой, изображены с гораздо большей широтой и берущей за сердце глубиной.

Гейне говорит, что человек в разгаре своей деятельности похож на солнце. Чтобы его рассмотреть, как следует, надо видеть его при восходе и при закате. То же следует сказать и про деятельность выдающегося человека. Восход и закат Достоевского как писателя были яркие и приковывавшие к себе

общее внимание, но разгар его деятельности был полон внешних и внутренних страданий, нужды, болезни и отсутствия справедливости в отношении к нему критики. Улыбнувшись ему и даже вскружив ему голову блестящим успехом, судьба повела его затем тяжким и тернистым путем, сначала на Семеновский плац, заставив пережить муки ожидания смертной казни, потом по долгой «Владимирке» в сибирскую каторгу и оренбургские линейные батальоны. После «Бедных людей» талант его, как это встречается у многих писателей, стал как будто постепенно слабеть, гаснуть и, под влиянием материальной нужды, грозить разменяться на мелкую монету вынужденного заработка. Но пребывание в «Мертвом доме» не озлобило его, не убило для жизни и не заставило возгордиться, доведя, как это бывало у некоторых, до самолюбования. Он вернулся из каторги примиренным с жизнью, просветленный пониманием смысла и значения последней. В душе надломленных, но не обезличенных товарищей по острогу и даже в самых закоренелых злодеях, он сумел найти признаки человечности. Ему было дано проникновенно затронуть роковые и противоположные вопросы тяжкого *отсутствия уединения и насильственного одиночества*. Любовь к страждущим и сострадание к людям стали затем господствующей и несмолкающей нотой в его творчестве.

В его «Мертвом доме» далекая, туманная и малоизвестная сибирская каторга встала в живых образах и со всеми своими сторонами, не превзойденная никакими последующими описаниями, хотя бы и очень талантливыми. Как бледны и односторонни на ряду с «Мертвым домом» прославленные страницы «Моих темниц» Сильвио Пеллико, и какой верой в лучшие свойства человека веет от дышащих правдой заметок и наблюдений Достоевского, сделанных им в русской «Citta dolente»!

По возвращении к обычной жизни ему пришлось писать свои сочинения, созревшие в чуткой и «взыскующей града» душе в тягостных условиях. Создавая свой удивительный по богатству и глубине содержания роман «Преступление и наказание», он писал своему брату: «Работа из-за денег задавила

и съела меня. Эх, хоть бы один роман написать, как Толстой или Тургенев, — не наскоро и не наспех». И так пришлось ему работать всю жизнь, испытывая высокомерное к себе отношение некоторых из редакторов влиятельных журналов, — оценку своего таланта, как «жестокого» и упреков в «мучительстве» читателя (как будто совесть,— «незваный гость, докучный собеседник, заимодавец грубый», — которую пробуждал Достоевский в читателе, не бывает жестока?) Не даром тонкий ценитель его дарования, Вогюэ, называет его «собирателем русского сердца, умевшим окунуться в скорбь жизни». Эта скорбь чувствуется даже в названиях его произведений: «*Мертвый дом*», «*Преступление и наказание*», «*Униженные и оскорбленные*», «*Идиот*», «*Бедные люди*», «*Записки из подполья*» и т. д., и в его языке — тревожном, неровном, страстном, напоминающем перебои больного сердца, и наконец, в частом возвращении к одним и тем же картинам, заставляющим вспомнить слова поэта «О память сердца! ты сильней рассудка памяти печальной».

Нужно ли говорить о смелости созданных им образов, с их глубокими сомнениями и их восторженной верой, о переходах от описаний умиляющих душевных проявлений к изображению страстей и пороков в их крайнем развитии, причем он идет к павшим, погрязшим и несчастным с чувством жалости, не брезгая ими и не гнушаясь, а не разглядывая их, как это иногда делается в современной беллетристике, с холодным любопытством в увеличительное стекло.

В январе 1866 года я зашел к А. Н. Майкову, с которым познакомился еще в Москве, во время моего студенчества, когда он посещал небольшой кружок студентов петербургского университета, перешедших в Москву после закрытия последнего — и группировавшихся вокруг филолога Н. Н. Куликова — милого, доброго и разностороннего человека. Занятые лекциями и даванием уроков, мы собирались обыкновенно по субботам и засиживались до поздней ночи в оживленной беседе о всяких «злобах дня». Никого из девяти членов этого кружка, кроме меня, нет уже в живых! Бывая в Москве, Майков любил

заходить пить скромный студенческий чай на наши субботние сборища и охотно читал нам свои новые, еще ненапечатанные произведения. Так, между прочим, нам пришлось слышать в его мастерском и одушевленном чтении «Смерть Люция», в первоначальной редакции, которая оставляет далеко за собою позднейшую.

Майков встретил меня под впечатлением прочитанной им в только-что вышедшей книжке «Русского Вестника» первой части «Преступления и наказания». «Послушайте, — сказал он мне,— что я вам прочту. Это нечто удивительное!» и, заперев дверь кабинета, чтобы никто не помешал, он прочел мне знаменитый рассказ Мармеладова в питейном заведении, а затем отдал мне на несколько дней и самую книжку. До сих пор, по прошествии стольких лет, при воспоминании о первом знакомстве с этим произведением, оживает во мне испытанное тогда и ничем не затемненное и неизмененное чувство восторженного умиления, вынесенного из знакомства с этой трогательной вещью. Великий художник с первых слов захватывает в ней своего читателя, затем ведет его по ступеням всякого рода падений и, заставив его перестрадать их в душе, мирит его в конце концов с падшими, в которых сквозь преходящую оболочку порочного, преступного человека сквозят нарисованные с любовью и горячей верой, вечные черты несчастного *брата*. Созданные Достоевским в этом романе образы не умрут, не только по художественной силе изображения, но и как пример удивительного умения находить «душу живу» под самой грубой, мрачной, обезображенной формой — и, раскрыв ее, с состраданием и трепетом показывать в ней то тихо тлеющую, то распространяющую яркий, примиряющий свет искру божию.

Критика того времени, однако, не благоволила к Достоевскому. Его роману не было посвящено, сколько мне помнится, ни одного серьезного разбора, в то время как произведениям «идейных беллетристов», имена которых ныне «ты, господи, веси», оказывалось милостивое внимание. В некоторых пренебрежительных отзывах о романе даже указывалось, что это «клевета на молодое поколение», которое, будто бы, воплощено

в Раскольникове, представляющем из себя простого убийцу для грабежа. Находились даже люди, с развязностью утверждавшие, что Достоевский написал «донос на молодежь». — Но «il tempo e un galantuomo»,[1] говорят итальянцы — и оно поспешило действительными событиями жизни подтвердить творческий вымысел автора «Мертвого дома» и «Униженных и оскорбленных». 12 января 1866 года, когда первая часть романа уже была напечатана, но еще не вышла в свет («Русский Вестник» всегда выходил со значительным опозданием),— в Москве студент Данилов зарезал ростовщика и его служанку, — а чрез тринадцать лет то же самое по отношению к своему кредитору и его прислуге совершил молодой и блестящий гвардейский офицер Ландсберг. Это умышленное и злостное непонимание глубокого смысла «Преступления и наказания», которому лишь в восьмидесятых годах пришлось, наконец, быть оцененным по достоинству не только у нас, но в западно-европейской литературе, — в то время чрезвычайно волновало мою молодую и еще не приглядевшуюся к житейской несправедливости душу и было даже однажды причиною резкого спора с одним из грубых и невежественных порицателей «доносчика», спора, едва не окончившегося у барьера.[2]

Через много лет, в начале семидесятых годов в бытность мою прокурором окружного суда в Петербурге, сестра моего друга Куликова, лично знакомая с Достоевским, написала мне, что Федор Михайлович находится в крайне затруднительном положении. Он был в это время редактором «Гражданина»,— имевшего другой характер, чем позднейшая постыдная газета того же имени, и допустил напечатание в нем сведения о путешествии государя, не испросив на то предварительного разрешения

---

[1] «Время — порядочный человек».

[2] Достаточно упомянуть, как сильно отразилось «Преступление и наказание» на приемах и содержании некоторых произведений Габриэля Д'Аннунцио и Поля Бурже, — указать на критические отзывы Вогюэ, на разбор его в социально-криминологических очерках Ферри, на лекциях французского судебного деятеля Аталена, говорящего своим слушателям: «Читайте, читайте Достоевского», и т. п.

министра двора, как то требовалось цензурными правилами, вследствие чего суду пришлось приговорить его к аресту на две недели на гауптвахте. Приговор, войдя в законную силу, был обращен к исполнению. Между тем, предпринятое Достоевским лечение и разные другие обстоятельства личного характера делали для него это кратковременное лишение свободы до крайности неудобным именно в то время, когда приговор подлежал осуществлению. Отвечая Куликовой, я просил ее передать Федору Михайловичу, что приговор будет обращен к исполнению лишь тогда, когда он сам найдет это по своим соображениям удобным. За любезным письмом Достоевского, с выражением благодарности, последовало его посещение, отвечая на которое, я убедился воочию, в какой скромной и даже бедной обстановке жил, мыслил и творил один из величайших русских писателей. При этом нашем свидании он вел довольно долгую беседу, очень интересуясь судом присяжных и разницею в оценке преступления со стороны городских и уездных присяжных.

15 октября 1876 года в петербургском окружном суде слушалось дело крестьянки Екатерины Корниловой, которая, будучи беременной на четвертом месяце, раздраженная упреками своего мужа и замечаниями, что первая его жена была лучшею «хозяйкою», выбросила, на зло ему, из окна четвертого этажа свою шестилетнюю падчерицу, каким-то чудом оставшуюся живою и отделавшуюся лишь крайним испугом. Дело это чрезвычайно заинтересовало Достоевского. В удивительных по глубине психологического анализа, по знанию природы русского человека и по возвышенному и вместе трезвому взгляду на задачи суда строках своего «Дневника писателя» он выразил сомнение во вменяемости Корниловой в виду частых ненормальностей в душевных движениях и порывах беременных. Рисуя, со свойственным ему знанием народного быта, сцену предстоящего расставания отца уцелевшей девочки с приговоренной на каторгу женой с новорожденным младенцем на руках, он спрашивал: «а неужели нельзя теперь смягчить как-нибудь этот приговор? Неужели никак нельзя? Право, тут могла быть ошибка...» — Вместе с тем он стал горячо хлопотать о таком

смягчении и бывать для этого у меня в министерстве юстиции. Конечно ему было мною обещано всевозможное содействие в смысле выработки и направления представления о помиловании Корниловой или о значительном смягчении ей наказания. Но давать ход этому представлению не пришлось. Решение присяжных было кассировано сенатом, и при вторичном рассмотрении дела, с вызовом компетентных врачей-экспертов, она была оправдана.

Замечательно, что через двадцать лет Л. Н. Толстой в своем романе «Воскресенье» в уста крестьянина, сопровождающего в Сибирь свою жену, осужденную за покушение на отравление его, влагает глубоко трогательный рассказ о душевном состоянии этой женщины, «присмолившейся» впоследствии к мужу.

Строки, которыми Достоевский приветствовал оправдание Корниловой в своем «Дневнике писателя», дышат самой горячей, захватывающей радостью и справедливой гордостью человека, одиноко поднявшего голос против совершившейся ошибки.

Три рода больных, в широком и в техническом смысле слова, представляет жизнь, в виде больных волею, больных рассудком, больных, если можно так выразиться, от неудовлетворенного духовного голода. О каждом из таких больных Достоевский сказал свое человечное веское слово в высоко художественных образах. Едва ли найдется много научных изображений душевных расстройств, которые могли бы затмить их глубоко верные картины, рассыпанные в таком множестве в его сочинениях. В особенности разработаны им отдельные проявления элементарных расстройств психической области — галлюцинации и иллюзии. Стоит припомнить галлюцинации Раскольникова после убийства закладчицы или мучительные иллюзии Свидригайлова в холодной комнате грязного трактира в парке. Провидение художника и великая сила творчества Достоевского создали картины, столь подтверждаемые научными наблюдениями, что, вероятно, ни один психиатр не отказался бы подписать под ними свое имя, вместо имени поэта скорбных сторон человеческой жизни.

Вскоре после дела Корниловой Достоевский снова появился у меня в стенах министерства юстиции. Он в это время уже приобрел обширное влияние на молодежь и на всякого рода «униженных и оскорбленных», без малодушной лести первой и без сентиментальной потачки тому дурному, что иногда встречалось во вторых. К нему шли за советом, утешением, нравственною помощью, — ему поверяли свои сомнения и терзания, ему открывали омраченную или смущенную душу... Некто А. Бергеман — добрая и отзывчивая на людское горе женщина — обратилась к нему в декабре 1876 года, прося его содействия и совета в деле спасения одиннадцатилетней девочки, брошенной матерью на попечение развратного и пьяного отставного солдата, с которым ей самой жить «стало не в моготу». Старик посылал девочку собирать милостыню, сам поджидая жатвы в ближайшем кабаке и нещадно колотя голодного и иззябшего ребенка, если принесенного оказывалось мало. Дальнейшая судьба, ожидавшая девочку, была ясна и несомненна, тем более, что мать, работавшая на бумагопрядильной фабрике, разысканная г-жею Бергеман, рассказала ей, что муж уже обесчестил ее старшую внебрачную дочь и хвастался, что сделает то же и с бедной Марфушей (так звали девочку), когда она «поспеет»... Достоевский и за это дело принялся горячо и с сосредоточенною настойчивостью, доставляя мне необходимые справки и присылая полученные им сведения. Помочь ему и г-же Бергеман в их благородном беспокойстве за девочку было довольно трудно, так как в то время «Общество защиты детей от жестокого обращения» не существовало. После личных сношений с прокурором и с градоначальником, дело кончилось однако тем, что девочка была освобождена от своего мучителя и развратителя. Попечением г-жи Бергеман она была помещена сначала в Елисаветинскую детскую больницу, а после того, когда немного укрепилась, в детский приют.

Достоевского очень интересовала колония для малолетних преступников на Охте, за пороховыми заводами, и по его желанию я свез его туда в один из летних дней 1877 года.

В первоначальном устройстве колонии, открытой в конце

1871 года, было немало недостатков. Она разделялась на собственно колонию (земледельческую) и на ремесленный приют. Первое время каждое из этих учреждений было вверено особому лицу в качестве совершенно самостоятельного руководителя. Связующего и объединяющего звена между ними не было, и каждый из двух весьма известных педагогов, поставленных во главе приюта и колонии, расходясь друг с другом во взглядах, проводил в жизнь *свою* теорию воспитания. Вследствие этого образовались две пограничные области, разделенные, сколько помнится, лишь небольшим ручьем или канавкой, резко различные по своему устройству и порядку управления. В *одной* малолетние почти не чувствовали над собою твердой власти и, образуя нечто в роде маленького, своеобразного суда присяжных, сами определяли, в случае проступков товарищей, их виновность (и, надо сказать, почти всегда справедливо и всегда строго); в *другой* существовала осязательная дисциплина, и наказания налагались руководителем. В одной уборка комнат, топка печей и все хозяйственные работы исполнялись питомцами, старшим из которых разрешалось курение, — в другой эти работы исполнялись наемными слугами, и курение было воспрещено безусловно. В одной господствовали — руководительство и наставление, в другой — указание и приказание. Можно себе представить, какую неустойчивость представляло при этом воспитание питомцев, постоянно входивших и даже вводимых в общение между собою. И тем не менее, по идее своей, колония была прекрасным учреждением, и открытие ее составляло один из первых шагов благородной деятельности русского общества по исправлению и постановке на путь честного труда тех несчастных, к которым, вследствие грустных условий их детской жизни, уже успело привиться преступление. В создание колонии вложил массу труда, хлопот, затрат и самой горячей любви известный юрист-практик и один из составителей Судебных Уставов, сенатор Михаил Евграфович Ковалевский. Он принимал непосредственное, живое участие в устройстве колонии, в горестях и радостях ее пестрого населения. Библиотека, мастерские, отдельные домики и красивая

в своей простоте церковь — все это устроено первоначально под его руководством и надзором. Колония, где все его знали и любили, относясь к нему доверчиво и просто, долго была предметом его постоянной заботы, местом его отдыха и его любимым детищем. В свободное время он проводил там целые дни, изучал характеры отдельных «колонистов», вводил и обсуждал разные хозяйственные меры. Когда в колонии устраивался на праздниках домашний театр или какое-нибудь развлечение для детей, сдержанный и с виду холодный судебный сановник, окруженный шумливою толпою питомцев колонии, радовался детскою радостью и бывал счастлив, когда кто-нибудь приезжал ее с ним разделить. . . Ковалевский сам сознавал недостатки в устройстве колонии и непригодность двойственности последнего, но, с одной стороны, он не хотел обидеть твердой критикой ни одного из двух педагогов, руководивших делом, к которому они относились с любовью и увлечением, — а с другой — он находил, что торопливость реформы может не дать проявиться поучительным плодам вполне выясненного опыта. Впоследствии двоевластие в колонии выразилось в таких крайних разногласиях между «соправителями», что на место их пришлось призвать новое лицо — на началах единовластия. Оно исподволь стало водворять новые порядки, но при посещении колонии Достоевским старый строй был, во многих отношениях, еще в силе.

Достоевский внимательно приглядывался и прислушивался ко всему, задавая вопросы и расспрашивая о мельчайших подробностях быта питомцев. В одной из больших комнат он собрал вокруг себя всю молодежь и стал расспрашивать ее и беседовать с нею. Он давал ей ответы то на пытливые, то на наивные вопросы, но мало-по-малу эта беседа обратилась в поучение с его стороны, глубокое и вместе вполне доступное по своему содержанию, проникнутое настоящею любовью к детям, которая так светит со всех страниц его сочинений, говорящих о «малых сих». . . Его иногда прерывали и вступали с ним в спор, но слушали, конечно, даже и не подозревая, кто он, с напряженным вниманием, дав раза два подзатыльник одному

из шаловливых и нетерпеливых слушателей. Он произвел сильное впечатление на всех собравшихся вокруг него, — лица многих, уже хлебнувших отравы большого города, стали серьезными и утратили напускное выражение насмешки и того молодечества, которому «на все наплевать»; глаза некоторых затуманились.

Когда мы вышли, чтобы пойти осмотреть церковь, все пошли гурьбою с нами, тесно окружив Достоевского и наперерыв сообщая ему о своих житейских приключениях и о проделках и взглядах на порядки колонии своих товарищей. Чувствовалось, что между автором скорбных сказаний о жизни и ее юными бессознательными жертвами установилась душевная связь и что они почуяли в нем не *любопытствующего* только посетителя, но и скорбящего *друга*.

Церковь, довольно обширная, с простыми деревянными, ничем не обделанными стенами внутри, была обильно снабжена иконами. Ковалевский выпросил для нее образа, похищенные или почему-либо отобранные у старообрядцев, хранившиеся много лет без востребования или возвращения, в качестве вещественных доказательств, в кладовых упраздненных судебных мест старого устройства. С икон, развешанных по стенам, смотрели коричневые лики и тощие условные фигуры старого письма, в одеждах «празелень» и с бородами «до чресл», окруженные неправдоподобными горами, среди которых ютились не менее странные города и обители. Но иконостас был новый, расписанный красивыми традиционными изображениями во вкусе итальянской школы.

Когда мы поехали назад в город, Федор Михайлович долго и сосредоточенно молчал, а затем мягко сказал мне: «Не нравится мне эта церковь. Это музей какой-то! К чему это обилие образов? Для того, чтобы подействовать на душу входящего, нужно лишь несколько изображений, но строгих, даже суровых, как строга должна быть вера и суров долг христианина. Да и напоминать они должны мальчику, попавшему в столичный омут и успевшему в нем загрязниться, далекую деревню, где он был в свое время чист. А там в иконостасе обыкновенно

образа неискусного, но верного преданиям письма. Тут же в нем все какая-то расфранченная итальянщина. Нет, не нравится мне церковь... Да и еще не нравится, — прибавил он — эта искусственная и непонятная детям из народа манера говорить им *вы*, — оно, быть может, по-нашему, по-господскому, и вежливей, — но холоднее, гораздо холоднее. Вот я им говорил всем *ты*, а ведь проводили они нас тепло и искренно. Чего им притворяться? да и непритворны они еще пока — ни в добром, ни в злом...» И действительно, «колонисты» провожали его шумно и доверчиво, окружив извозчика, на которого мы садились, и крича Достоевскому: «Приезжайте опять! Непременно приезжайте! Мы вас очень будем ждать...»

В 1880 году в Москве состоялось давно жданное открытие памятника Пушкину, совпавшее с наступлением временного просвета во внутренней политике. По оживлению населения, по восторженному настроению представителей литературы, искусства и просветительных учреждений, в большинстве входивших в состав разных депутаций с хоругвями и венками, по трогательным эпизодам, сопровождавшим это открытие — оно представило незабываемое событие в памяти каждого из сознательно при нем присутствовавших.

Три дня продолжались празднества, причем главным живым героем этих торжеств являлся, по общему признанию, Тургенев. Но на третий день его заменил в этой роли Федор Михайлович Достоевский. Тому, кто слышал его известную речь в в этот день, конечно с полной ясностью представилось, какой громадной силой и влиянием может обладать человеческое слово, когда оно сказано с горячей искренностью среди назревшего душевного настроения слушателей. Сутуловатый, небольшого роста, обыкновенно со слегка опущенной головой и усталыми глазами, с нерешительным жестом и тихим голосом, Достоевский совершенно преобразился, произнося свою речь. Еще накануне, слушая его на вечере превосходно читающим «Как весенней раннею порою» и декламирующим Пушкинского «Пророка», нельзя было предвидеть того полного преображения, которое с ним произошло во время его речи, хотя стихи были

сказаны им прекрасно и производили сильное впечатление, особенно в том месте, где он, вытянув перед собою руку и как бы держа в ней что-то, сказал дрожащим голосом: «и сердце трепетное вынул!» — Речь Достоевского в чтении не производит и десятой доли того впечатления, которое она вызвала при произнесении. Содержание ее, в свое время, дало повод к ряду не лишенных основания возражений. Но тогда, в Пушкинские дни, с эстрады Дворянского собрания, пред нервно-настроенной и восприимчивой публикой, она была совсем иною. Участники этих дней не только особенно горячо любили в это время Пушкина, но многие простаивали подолгу перед его памятником, как бы не в силах будучи наглядеться на бронзовое воплощение «властителя дум» и виновника общего захватывающего одушевления. В мыслях о судьбе и творчестве безвременно погибшего поэта сливались скорбь и восторг, гнев и гордость истинною, непререкаемою славой русского народного гения. Эти чувства, без сомнения, глубоко влияли и на Достоевского, которому лишь в конце его «судьбой отсчитанных дней» пришлось испытать общее признание после долгих лет тяжелых страданий, материальной нужды, упорного труда и вольного и невольного непонимания со стороны литературных судей. На эстраде он вырос, гордо поднял голову, его глаза на бледном от волнения лице заблистали, голос окреп и зазвучал с особой силой, а жест стал энергическим и повелительным. С самого начала речи между ним и всею массой слушателей установилась та внутренняя духовная связь, сознание и ощущение которой всегда заставляют оратора почувствовать и затем расправить свои крылья. В зале началось сдержанное волнение, которое все росло, и когда Федор Михайлович окончил, то наступила минута молчания, а затем, как бурный поток, прорвался неслыханный и невиданный мною в жизни восторг. Рукоплескания, крики, стук стульями сливались воедино и, как говорится, потрясли стены зала. Многие плакали, обращались к незнакомым соседям с возгласами и приветствиями; многие бросились к эстраде, и у ее подножия какой-то молодой человек лишился чувств от охватившего его вол-

*

нения. Почти все были в таком состоянии, что, казалось, пошли бы за оратором по первому его призыву куда угодно... Так, вероятно, в далекое время, умел подействовать на собравшуюся толпу Савонарола. После Достоевского должен был говорить Аксаков, но он вышел пред продолжавшею волноваться публикой и, назвав только-что слышанную речь «событием», заявил, что не в состоянии говорить после Федора Михайловича. Заседание было возобновлено лишь через полчаса. Речь Достоевского поразила даже и иностранцев, которые, однако, не могли чувствовать таинственных нитей, связывающих некоторые ее места и выражения с сердцем русских людей в его сокровенной глубине. Профессор русской литературы в Парижском университете, Луи Лежэ, приехавший специально на Пушкинские празднества, говорил мне вечером в тот же день, что совершенно подавлен блеском и силой этой речи, весь находится под ее обаянием и желал бы передать свои впечатления во всем их объеме «au Maître», т. е. Виктору Гюго, в таланте которого, по его мнению, так много общего с дарованием Достоевского.

После Пушкинских дней популярность Достоевского достигла своего апогея, и каждое его появление на эстраде в благотворительных концертах и чтениях сопровождалось горячими и бесконечными овациями. Он завоевал, думается мне, как никто из пишущей братии до него, симпатии всех слоев общества...

30 января 1881 года был назначен в зале дома Кононова вечер в пользу Литературного фонда и в память Пушкина. На нем должен был читать и Федор Михайлович.

Придя в этот день в окружный суд, где я был председателем, я пригласил одного из моих секретарей, молодого правоведа Лоренца, сына главного врача психиатрической больницы «Всех Скорбящих» на девятой версте Петергофского шоссе, начать доклад вновь поступивших бумаг и стал писать на них свои резолюции. Вскоре Лоренц стал запинаться, голос его дрогнул, и он внезапно замолчал на полуслове. Я поднял голову и вопросительно взглянул на него. Глаза его были полны слез, и рот кривила судорога сдерживаемого плача. — Что

с вами? Вы больны?! — воскликнул я... — Достоевский, Достоевский умер! — почти закричал он, поражая меня этим неожиданным известием, и залился слезами. И таково было в большей или меньшей степени впечатление и настроение всей обширной судебной семьи, работавшей в этот день в суде, — и преимущественно младших ее членов. Мысль о том, что мы *обязаны* принять участие в отдании последнего долга усопшему, зародилась сразу у всех и не допускала ни колебаний, ни возражений. В этот и в ближайшие затем дни Достоевский был в полном смысле «властителем дум» почти всего общества, как, в значительной степени, был им и в два последние года своей жизни, особенно после появления «Братьев Карамазовых».

Я поехал поклониться его праху. На полутемной, неприветливой лестнице дома на углу Ямской и Кузнечного переулка, где в третьем этаже проживал покойный, было уже довольно много направлявшихся к двери, обитой обтрепанной клеенкой. За нею темная передняя и комната с тою же скудной и неприхотливой обстановкой, которую я уже видел однажды. Федор Михайлович лежал на невысоком катафалке, так что лицо его было всем видно. Какое лицо! Его нельзя забыть... На нем не было ни того как бы удивленного, ни того окаменело-спокойного выражения, которое бывает у мертвых, окончивших жизнь не от своей или чужой руки. Оно говорило — это лицо, оно казалось одухотворенным и прекрасным. Хотелось сказать окружающим: «Nolite flere, non est mortuus, sed dormit». [1] Тление еще не успело коснуться его, и не печать смерти виднелась на нем, а заря иной лучшей жизни как будто бросала на него свой отблеск... Я долго не мог оторваться от созерцания этого лица, которое всем своим выражением, казалось, говорило: «Ну да! Это так — я всегда говорил, что это должно быть так, а теперь я *знаю*...»

Вблизи гроба стояла девочка, дочь покойного, и раздавала цветы и листья со всех прибывавших венков, и это чрезвычайно

[1] «Не плачьте, — он не умер, но спит».

трогало приходивших проститься с прахом человека, умевшего так тонко и с такой «проникновенной» любовью изображать детскую душу.

Достоевский скончался в один день с Пушкиным и Карлейлем — 29 января. Вечер в память Пушкина состоялся, но вместо Достоевского вышел Орест Федорович Миллер и сказал теплое слово, а затем на эстраду вынесли и поставили сделанный углем, поразительный по сходству, набросок Репина с умершего. В антракте портрет хотели унести, но присутствовавшие запротестовали — и он остался... Весь антракт стояла перед ним, в благоговейном молчании, масса народа, охваченная одним чувством. Так память о Пушкине, которому поклонялся Достоевский, слилась в этот вечер с полной скорбного волнения памятью о нем самом.

Весть о его смерти быстро облетела весь Петербург, и на его квартиру началось настоящее паломничество. У его гроба сошлись, позабыв различие направлений и всякие злобы дня, — все, кто не мог не чтить в усопшем не только высоко талантливого творца «Униженных и оскорбленных», но и горячего их заступника, друга и — нередко — утешителя. Его праху поклонились все, кто испытал на себе хоть однажды то чувство бесконечной жалости к несчастию, то чувство всепрощающей и всепонимающей любви к страдающему, к скорбящему и болезненно-возбужденному, которым были проникнуты лучшие из сочинений замолкнувшего на век художника-мыслителя. Он умер среди разгара противоположных мнений, им вызванных, — умер, готовясь наносить и получать полемические удары от лиц, несогласных с его политическими идеалами. Но в эти печальные и трогательные минуты никто не мог думать и говорить об этих спорах. И они, и данные, их вызвавшие, были еще слишком близки, слишком еще мало было по отношению к ним спокойствия и беспристрастия, создаваемого временем, которое одно, развернув туманное будущее, могло показать, насколько верно смотрел на призвание и свойства своей родины глубоко и горячо любивший ее покойный. Живучесть его политических идеалов была еще вся в будущем, в нем — их сила

или слабость, но образы, им созданные, — жили уже полной жизнью, вылившись из «жаждавшей и алкавшей правды» души своеобразного и несравненного мастера. Эти образы, невидимо, но понятно для окружающих, возникали вокруг его гроба и указывали на тяжесть и значение понесенной утраты. Они вероятно двигались вереницею в уме каждого, подходившего к нему, и напоминали ту негодующую скорбь и те слезы дрогнувшего сердца, которыми для многих сопровождалась умственная встреча с ними. Ими переполнены были страницы его произведений. Было ясно, что и трогательный в своей нежной любви Макар Девушкин, со своею оборвавшеюся пуговкою виц-мундира, — и «бледненькая, худенькая, со слабеньким голоском» Соня Мармеладова, и сам Мармеладов «образа звериного и печати его», — и истерзавшийся Раскольников, и его мать, и карамазовский штабс-капитан с «мочалкою», — и «вечный муж», и все эти исстрадавшиеся, опустившиеся, нервные и мрачные люди, которых так умел описывать Достоевский — не умрут среди образов, созданных русской литературой, пока в ней будет жить желание найти в самой омраченной, в самой озлобленной душе задатки любящего примирения. И для всех искателей этого — Достоевский образец и великий учитель. У него надо изучать и приемы тончайшего, проникающего в самую глубину, анализа душевных движений натур усталых, ослабевших, надломленных в житейской борьбе, — и изумительного изображения тонких и сложных психических состояний, свойственных людям, находящимся на границах действительности и целого мира грез и болезненной игры фантазии. Со страниц его сочинений всегда будет звучать призыв к внимательному и любящему изучению детской души, приходящей в столкновение с суровым реализмом жизни. Эта черта его — общая с великим английским романистом Диккенсом — всегда будет бросать особый свет на его произведения. Уметь так просто, правдиво и задушевно описать волнения и страсти «маленького героя», и порывы негодования ребенка при виде истязуемой лошади, — уметь создать «Илюшечку» и написать его сцену с оскорбленным и поруганным отцом — мог только

художник, носивший в груди умеющее нежно любить, чуткое отзывчивое сердце.

Если бы нужно было охарактеризовать одним словом общее чувство всех бесчисленных посетителей, приходивших ко праху Достоевского, я сказал бы, что это была «осиротелость», едкая почти до боли и тем более тяжелая, чем неожиданней она налетела. Андреевский совершенно верно выразил это чувство, сказав в своем стихотворении «У гроба Достоевского»:

Кто повторит слова любви
Несчастным, падшим, маловерным?
Кто им, в пылу нелицемерном,
Подымет взоры от земли?!
Туманный день, больной и хмурый
Как скорбный склад его ума,
Весь заслонен его фигурой...
И жизнь печальна, как тюрьма,
Куда вносил он утешенье...
Прими немое поклоненье
За жизнь страданья и заслуг,
Разбитых душ любимый друг!

Похороны Достоевского — настоящее общественное событие — были чем-то в таком размере дотоле невиданным. Полное отсутствие полицейских «мероприятий» — и полный порядок непрерывного громадного шествия, поддерживаемый цепью из учащихся, — трогательное пение многочисленных импровизированных хоров, — воспитанники и воспитанницы средних учебных заведений, стоящие шпалерами на пути, — бесконечные венки с трогательными надписями, несомые особыми депутациями, — и свободно выливавшаяся из души торжественность настроения у участников и зрителей — придавали процессии величественный вид и незабвенный характер. Тут сказывались единство идеи и общность потери, сплотившие самых разнообразных по своим взглядам, положению и деятельности людей. В то время когда гроб выносили из квартиры Достоевского, первая группа депутатов с венками была уже на Знаменской площади, на пути к Александро-Невской лавре.

Шествие длинной и широкой лентой растянулось по Владимирской и Невскому, и грустная гармония всего происходившего ничем не была нарушена. Пред выносом, между участниками депутаций раздавался листок с воспроизведенным на нем автографом покойного, а первыми, взявшимися за ручки гроба, который всю дорогу затем несли окруженные широкою гирляндою цветов, укрепленных на шестах, постоянно сменявшиеся желающие, — были Пальм и Плещеев, за тридцать два года перед тем, вместе с усопшим возведенные на эшафот на Семеновском плацу для выслушания приговора по делу Петрашевского. В день похорон вышел первый номер «Дневника писателя» за 1881 г., начинавшийся словами: «Господи! неужели и я, после трех лет молчания, выступлю в возобновленном Дневнике моем. . .» Этот номер был последним словом Достоевского русскому обществу.

Обычное у нас временное забвение не коснулось Достоевского. О нем не пришлось напоминать. Интерес к его трудам и взглядам не ослабел, — они, напротив, стали все больше и больше привлекать к себе вдумчивость критиков и мыслителей и отзывчивость работников в области изучения острых проявлений душевной жизни.

Быть может не далеко время, когда у нас образуется особое литературное общество имени Достоевского, подобно недавно еще существовавшему Пушкинскому и ныне действующим Толстовскому и Тургеневскому.

Иван Федорович Горбунов.

Очерк.

I

Немного лет прошло со смерти И. Ф. Горбунова, а столь обычное у нас забвение начинает уже вступать и по отношению к нему в свои права. Образ его тускнеет, расплывается в отрывочных воспоминаниях, рисуется в неверных очертаниях. Имя его почти ничего не говорит тем, кто не знал или не слышал его лично. Редко кто имеет возможность прочесть собрание его, ставших библиографическою редкостью, рассказов. Едва ли найдется и много желающих пожертвовать кропотливым трудом и временем на розыскание в старых повременных изданиях его произведений, напечатанных после 1881 года, — года последнего издания его рассказов. И уходит, таким образом, из памяти общества замечательный по своему дарованию русский человек, умевший воплощать в сжатых и ярких формах типические черты нашей бытовой жизни. Уходит — не оставив, в виду своеобразности своего творчества, и преемника. Пока еще не иссякли личные о нем воспоминания, пока еще помнятся, более или менее «с подлинным верно», некоторые его нигде не напечатанные рассказы, — необходимо постараться задержать его, не дать ему уйти совсем, необходимо попробовать отдать себе отчет в том, что такое был в своей художественной деятельности Горбунов. Это тем более нужно, что в представление о нем закралось много ложного, что обобщение отдельных случаев и мимолетных, иногда совсем непродуманных, выводов и непроверенных впечатлений создало такой образ Горбунова, который не соответствует ни его душевному складу, ни действительному, внутреннему содержанию его

произведений. Многие думают и говорят о нем, судя по единичным встречам, как о веселом собеседнике, о застольном увеселителе, о *забавнике*. Взрывы смеха зрительной залы в театре, когда в чей-нибудь бенефис добрый и обязательный Горбунов выступал с новою «сценою из народного быта», — хохот сотрапезников, которым, «entre poire et fromage», кажется очень смешным то, что рассказал им Горбунов, — веселое настроение какого-нибудь интеллигентного кружка, восхищенного тем, «как *это* тонко подмечено!» или «как *оно* метко схвачено!» — представляются многим правильною оценкою и определением всего смысла творчества Горбунова. Но те, кто думает так, не знают и не понимают его. Они видят во *внешнем*, бьющем в глаза, результате — выражение сокровенной душевной работы художника, и глубиною понимания слушателей определяют глубину проникновения его в свойство и значение изображаемых им явлений.

Этот близорукий и поверхностный взгляд особенно неправилен относительно Горбунова. Известность выдающегося актера, рассказчика и вообще воплотителя житейских и поэтических образов — имеет одну завидную особенность. Она не сопряжена с нравственною ответственностью. Она не влечет за собою ни строгого осуждения прозревшего человечества, ни суда истории, ни угрызений совести, напоминающей о средствах, которыми иногда куплена слава полководца, политика, властителя. Но она, вместе с тем, временна и непрочна. За известного деятеля на поприще других искусств или в области государственной говорят — неприкосновенная целость их трудов, бесчисленные исторические и житейские последствия их дел. Лютер, Наполеон и Петр, «чей каждый след — по словам кн. Вяземского — для сердца русского есть памятник священный», — постоянно напоминают о себе; Рембрандт будет вечно говорить со своих удивительных холстов, Пушкин со своих вдохновенных страниц. Не такова судьба сценического деятеля. Его известность поддерживается почти исключительно живыми свидетелями того, как прочно и глубоко влиял он на зрителей или слушателей; совокупность их однородных впечатлений и воспоминаний — создает конкретный облик артиста. Но когда они уходят, а за

ними следуют и те, кому они передали свои непосредственные ощущения — живое представление об артисте начинает быстро сглаживаться, теряя свою яркость, и громкие имена людей, потрясавших сердца, — имена Кина, Гаррика, Тальмы,— ничего ясного и определенного не говорят последующим поколениям. Известность носителей этих имен принимается на веру, — так сказать, в кредит. Ссылаясь на нее, приходится, по большей части, jurare in verba magistri,[1] не обращаясь к критике источников и оставляя в стороне *современные* требования, предъявляемые и к сценическим произведениям, и к приемам и способам их исполнения. Имя артиста переживает его дела; в других областях нередко дела переживают имя. Хотя значительная часть рассказов Горбунова и была напечатана, но существовали, однако, многие варианты и дополнения к ним, и вместе с тем целый ряд сцен, никогда не видевших печати и не записанных даже самим автором. Все это, вместе с оригинальною формою, в которую они были облечены, и со свойственными Горбунову средствами исполнения, грозит кануть в «пропасть забвения». Наконец и то, что было когда-то напечатано, в виду своей отрывочности и обособленности, только тогда может дать верное понятие о Горбунове, когда будет подвергнуто некоторому анализу и группировке по своему содержанию. Для этого надо попытаться из отдельных эпизодов разных рассказов, из сверкающих в них вспышек юмора и звучащих в них звуках грустного раздумья составить нечто по возможности цельное, нечто в роде мозаических изображений из различных цветных кусочков. Такая работа была бы достойна памяти народного русского художника, каким был Горбунов.

Далекий от мысли представить в настоящем очерке подобную работу, я хотел бы лишь наметить некоторые ее стороны и приемы, необходимые, по моему мнению, для выяснения личности и творческой деятельности Горбунова. Feci quod potui, faciant meliora potentes...[2]

---

[1] Клясться словами учителя.

[2] Я сделал, что мог, пусть те, которые могут, сделают лучше.

Как бы сложны, разнообразны и даже противоречивы ни были требования, предъявляемые к художнику, между ними есть, однако, такие, на которых сходится большинство. Наличность их выполнения служит доказательством сознательной творческой деятельности. Эта наличность существовала, и притом в высшей степени,—у Горбунова. Он вносил в свои произведения самого себя, он чувствовался в них. Изображая избранный им предмет тем или другим способом, в той или другой форме, истинный художник невольно вкладывает в это изображение и свое отношение к тому, что он изображает. Это отношение выражается в настроении, почвою для которого часто служит суждение художника о предмете своего труда. Бесстрастное воспроизведение виденного и слышанного, без внутреннего смысла, без вкладывания в него своей души, а лишь с заботою, иногда доходящею до болезненности, о технической отделке, никогда не оставит глубокого впечатления, не произведет сильного действия. Объективная бессодержательность произведения может вызвать лишь мимолетный эффект, но не создаст в зрителе или слушателе прочного воспоминания о прочувствованном, как бы силен ни был холодный блеск технического исполнения. Во всех родах искусства уменье проникнуться известным настроением и передать его, путем творчества, другим — составляет главную задачу и проявление деятельности художника. Знаток в деле понимания искусства, И. А. Гончаров, не раз высказывал эту мысль. Между прочим, в «Литературном вечере» он говорит устами одного из выводимых им лиц: «Дух, фантазия, мысль, чувство художника должны быть разлиты в произведении, чтобы оно было созданное живым духом тело, а не верный очерк трупа, создание какого-то безличного чародея. Живая связь между художником и его произведением должна чувствоваться зрителем и читателем; они, так сказать, с помощью чувств автора получают возможность наслаждаться сами . . .» Исходя из такого же взгляда, Шербюлье («L'art et la nature») высказывает мысль, что произведение искусства является проводником или посредником между душевным настроением художника и его слушателей, зрителей или читателей.

Несмотря на поразительную жизненность изображения в сценах и рассказах Горбунова, дающую им вполне объективный характер, он постоянно чувствуется в них, не равнодушный и спокойный, а с чутко настроенною душою, умеющею переживать то, что он изображает. Поэтому за житейскою правдоподобностью, за тем, что французские критики называют crédibilité, у него везде видно его отношение к описываемому. Оттого его рассказы, — кроме самых первоначальных, не нашедших себе даже и места в его изданиях, — возбуждают не один смех, не одно удивление перед его наблюдательностью. Они приводят, в своей совокупности, к невольному, но неизбежному выводу нравственного или общественного характера. Из интереснейшего в бытовом отношении содержания их звучит его отношение к добрым и темным, печальным и примирительным сторонам нашего народного быта и к отдельным явлениям нашей общественной жизни.

С точки зрения тех, кто утверждает, что чистая художественность должна отличаться совершенным отсутствием нравственного или утилитарного начал, Горбунов, конечно, не был служителем чистого искусства, но тем ближе и понятнее он нам, тем глубже западали в память создаваемые им образы. Он был вполне народным художником. Умев стать в своих изображениях в тесную связь с народом и отразить в них миросозерцание последнего, он осуществлял завет Эмерсона, требующего, чтобы истинный художник был «le délégué intellectuel du peuple», т. е., чтобы он был «un homme, dont les éléments constituants existent à l'état diffus dans tous les membres de la société, au milieu de laquelle il a pris naissance».[1] Он брал содержание для своих сцен преимущественно из жизни крестьян, мастеровых, купцов, духовенства и мелкого чиновничества и редко касался других слоев общества, — но ведь эти-то люди и составляют громадное, подавляющее большинство русского

[1] «Представитель народа, человек, соединяющий в себе свойства, разлитые во всех частях той среды, которая его породила».

народа. При этом надо заметить, что Горбунов всегда умел схватить общенародные типы и мотивы, придавая им лишь бытовую или сословную окраску. Если в его рассказах почти не встречается представителей светского общества, то это потому, что, по условиям и обстановке своей жизни, по ее, так сказать, космополитическому складу, это общество утратило в обыденных обстоятельствах свой народный характер и в этом отношении все более и более обесцвечивается. Русского человека, им описываемого и выводимого, Горбунов глубоко понимал и любил горячо, без фраз и подчеркиваний, любил потому, что жалел. Жалость эта сквозит во всех его сценах, где чувствуется, как различные тяжелые условия народной жизни или свойства характера не дают богатой природе этого человека пробиться к свету и широко расправить крылья своих способностей или толкают ее на ложный и темный путь. У простого русского человека *жалеть* — синоним *любви*, и на вопрос: «любишь ли?» — простая женщина нередко отвечает: «известно, жалею!» Так любил народ и Горбунов, не идеализируя его и не замалчивая его недостатков.

Делясь с публикой своим творчеством, Горбунов никогда, как и подобает истинному художнику, не подделывался под ее подчас низменные вкусы. Он был нравоописатель, но не льстец своих слушателей, не слуга их преходящих и изменчивых вкусов, не соискатель дешевого успеха дешевыми и не всегда опрятными средствами. Его своеобразные, подчас возбуждавшие неудержимый смех, рассказы чужды пошлости и низменного характера. В них нет ничего банального, подражательного, избитого. Чуткий художник, он не изображал лиц и положений, смешных лишь с внешней стороны, по форме, а не по существу. Поэтому в его рассказах нет действующих лиц чужой национальности, с их неправильным и комическим выговором русских слов, с особенностями их произношения, с их жаргоном, — нет немцев, чухон, евреев, армян, — нет, одним словом, попытки вызвать грубою насмешкою над человеком другого племени смех, которого потом нередко стыдится человек развитый и который ничего светлого не вносит в нравственное на-

строение и понимание человека неразвитого. Нет сомнения, что при таланте Горбунова, при его умении овладевать вниманием аудитории, такие изображения могли бы ему очень удаваться. При несомненном понижении уровня вкусов общества за последние годы, этим изображениям всегда обеспечен успех, а при средствах Горбунова он был бы громадный. Но он ни разу им не соблазнился, и если «немец» два раза и мелькает у него в рассказах («Воздушный шар» и «Блонден»), то лишь для того, чтобы двумя-тремя штрихами обрисовать отношение к нему *русского* человека.

Господствующий тон произведений Горбунова есть юмор, без оскорбительной насмешки и без ядовитой иронии. Когда он попробовал однажды писать в лично-насмешливом и ироническом роде — это ему совершенно не удалось («Записная книжка»). Лишь роль, взгляды и иногда целое мировоззрение действующих лиц служат содержанием его рассказов, но никогда не личность, в осмеянии ее бытовых или племенных особенностей. Поэтому в том, что он повествует и что он так неподражаемо рассказывал — полное отсутствие анекдотичности. Улыбку и раздумье, видимый смех и подчас невидимую скорбь возбуждает в нем, а через него и в слушателях не *смешной случай*, не искусственное сплетение комических положений и неожиданных обстоятельств, а, если можно так выразиться, *кусок жизни*, выхваченный из действительности или верного ее подобия и показанный с милым и безобидным юмором, который искрится и бьет через край. Этот юмор в устах Горбунова возбуждал иногда смех до слез, до невозможности в течение некоторого времени слушать продолжение рассказа. Но когда последний бывал окончен, когда действующие лица, благодаря своей яркой образности, резко запечатлелись в памяти слушателей, засев в нее прочно и надолго, — когда возникал сам собою итог рассказанного, то подводимая в нем картина русской жизни вызывала нередко в глубине души слушателей и, благодаря удивительному таланту Горбунова почти что очевидцев — далеко не радостные звуки. В лице Горбунова, юморист, передававший с особым искусством и правдивостью бытовые черты из книги скорбей

и радостей народной жизни, умел наводить на серьезные вопросы всякого, кому дорого нравственное развитие народа, кому народ интересен, а не забавен только, как предмет смехотворных застольных анекдотов.

И с точки зрения *мастерства*, т. е. формы и способа исполнения, Горбунов был истинный художник. Трудно видеть в нем импровизатора, готового наскоро, умелыми руками набросать оригинальный рассказ, сцену, бытовую картинку. На всех его произведениях и на всем, что он передавал устно, лежит печать продуманности. Она являлась необходимою — для рассказов с историческим оттенком, для получения которого требовалось предварительное и внимательное изучение исторических материалов, для сочинения на старом русском языке, где одно неудачное и несовременное выражение портило бы целостность общего впечатления, звучало бы резким диссонансом. Но и кроме того, Горбунов вообще стремился сжать свои произведения до крайних размеров, устранив из них все излишнее и ненужное. А это требовало обдумыванья и неоднократных, хотя бы только и мысленных, переделок и перекроек. Он действовал как бы по программе другого большого художника — Федотова, который говаривал: «В деле искусства надо дать себе *настояться;* художник-наблюдатель — то же, что бутыль с наливкой: вино есть, ягоды есть — нужно только уметь разливать во-время . . .» Так и он, без сомнения, «настаивался», и лишь выработав вполне и всесторонне то, чем хотел поделиться с публикой, пускал это в обращение. Однажды, в 1878 году, в Москве, Горбунов изложил мне фрагменты будущего рассказа из деятельности несуществующего в России общественно-политического учреждения, — рассказа, полного самого захватывающего интереса, — объясняя, что *все это* надо еще отделать и кое-что переработать. Лет через десять, на просьбу дать возможность выслушать этот рассказ, он отвечал: «Да все не готово — не клеится что-то! . . хочется посерьезнее сделать . . .» — и неизвестно, не осталось ли это произведение лишь «im Werden», как говорят немцы. Он не считал возможным остановиться на отдельных отрывках, связав их намеками

или искусственными нитями, и признавал себя в праве пустить в обращение свое произведение только тогда, когда оно было обработано до той ясности, с которою оно возникло в его душе. Оттого-то он и произвел сравнительно довольно немного.

«En fait d'art, — говорит Жорж Занд, — il n'y a qu'une règle, qu'une loi: montrer et émouvoir».[1] Но для того, чтобы успешно и целесообразно *показывать* и *трогать*, необходимо устранить все, что затемняет образ или целую картину, созданные художником, что мешает их «показать» столь выпукло и ярко, чтобы они произвели определенное и цельное душевное движение в слушателе или созерцателе. Это устранение излишнего — l'élimination du superflu, по удачному выражению одного выдающегося русского живописца, — усматривается во всем, созданном Горбуновым. Он был до крайности сжат и краток, держал на привязи чужое внимание и умел заставить его, ничем не развлекаясь, почти сразу направиться на самый жизненный нерв своего рассказа, не связанного никакою предвзятою формою, никакими условными правилами. Слушатель захватывался им с первых же слов и следил за ним с неослабевающим интересом. Так именно советует Лессинг поступать художнику: «Не впадай в непростительную ошибку,— не оставляй нас ни на минуту равнодушными, интересуй нас и делай затем с правилами искусства — маленькими и механическими — что хочешь!»

Вследствие этого, у Горбунова выработались особые приемы повествования. В большинстве случаев, он не делал никакого вступления; в редких случаях, когда оно было неизбежно, он ограничивался двумя-тремя словами. Рассказчик спешил стереться и отойти в сторону, предоставив самой жизни, которую он изображал, говорить за себя, очевидно находя, что вступление излишне там, где с первых слов действующих лиц пред слушателем, мало-мальски знакомым с русскою действительностью, сами собою возникают живая обстановка и условия, в которых про-

[1] В деле искусства есть только одно правило, один закон: показывать и трогать.

исходит действие. « — Скоро полетит? — Не можем, сударь, знать. С самых вечерен надувают; раздуть, говорят, невозможно. — А чем это, братцы, его надувают? — Должно, кислотой какой. . . без кислоты тут ничего не сделаешь . . .» — так начинается один из лучших рассказов Горбунова, и картина рисуется сама собою, без всякого предварения слушателя . . . — «Вы обвиняетесь в том, что в гостинице «Ягодка» вымазали горчицею лицо трактирному служителю . . . — Бушевали мы — это точно . . .» — начинает Горбунов, и обстановка восстает невольно пред слушателем. Он видит мирового судью и людей, которые «бушевали», и даже самый характер их «бушеванья» ясен из первых же слов судьи. — «Наслышаны мы об вас, милостивый государь, — начинает, бывало, Горбунов вкрадчивым голосом, — что, например, ежели что у мирового — сейчас вы можете человека оправить . . .» — и не нужно говорить, что дело происходит в кабинете адвоката и притом специалиста по практике у мировых судей . . . Иногда рассказ начинался пением чувствительного романса о «кинареечке», и фигура перезрелой замоскворецкой барышни с картавым голосом тотчас рисовалась перед слушателем и предвещала общий тон будущего рассказа; иногда сиплый голос, напевающий с ожесточением: «Спрятался месяц за тучку» — изобличал сам собою молодого гуляку, размаху широкой натуры которого положен предел каким-нибудь неизбежным, но тем не менее неприятным обстоятельством . . .

Горбунов любил рассказывать стоя. Только в качестве генерала Дитятина, о которым речь будет ниже, он обыкновенно сидел. Став в естественную, непринужденную позу, он, если это было в частном собрании, брался за спинку стула, откидывал со лба нависавшую прядь волос и глядел перед собою в пространство слегка прищуренными, живыми глазами, взор которых по ходу и смыслу рассказа становился с удивительною легкостью то посоловелым, то комически-томным, то лукавым, то испуганным. Живая, непередаваемая игра физиономии Горбунова, — выражение его губ, то оттопыренных, то растянувшихся в сладкую или ехидную улыбку, то старчески отвислых, то презри-

*

тельно сжатых, — его, редкий вообще, жест с растопыренными пальцами или выразительный удар могучего кулака в грудь, наконец удивительно-тонкие оттенки его небогатого самого по себе голоса, — его шопот, всхлипыванья, взволнованная скороговорка, выразительные паузы — все это населяло его рассказы массою лиц, обрисованных яркими, типичными чертами, различных по темпераменту, развитию, настроению и одинаковыми по своей реальности, по своей тесной связи со своеобразными сторонами русской жизни и природы. Подобно началу рассказа, и конец бывал прост и естествен. Многие рассказы кончались эпически, вдруг, неожиданно обрываясь, когда все, что составляло их внутренний смысл, уже было сказано. Дальнейшее их продолжение являлось бы лишь развитием последствий того или другого положения, представлять себе которые скупой на слова Горбунов предоставлял самому слушателю.

II

Передать, хотя бы в общих чертах, *содержание* рассказов Горбунова — очень трудно. Не говоря уже о богатстве и разнообразии этого содержания, оно так тесно и органически связано с формою и с особенностями выполнения ее Горбуновым, что излагать своими словами это живое воспроизведение русской действительности, блещущее юмором и талантом, было бы задачею, смелость которой равнялась бы ее бесплодности. Горбунова нужно было слышать, его следует читать серьезно и вдумчиво; говорить же о его произведениях возможно лишь наметив главные их мотивы и освещая их небольшими отрывками, изложенными подлинными словами автора.

Русская жизнь и русский человек представлены им в самых разнородных сочетаниях, всегда однако не только правдоподобных, но поражающих своею верностью во всех отношениях. Горбунов вообще скуп на описания и не любит рисовать картин. Его интересует сам человек, а не фон, на котором он вырисовывается, и житейская обстановка, среди которой он действует. Тем не менее у него нашли себе яркое изображение: унылое

однообразие великорусского села с неизбежным «заведением»; тоскливая тишина и незаметно ползущая жизнь уездного города общего средне-русского типа, с обычным гостиным двором, как две капли схожим по архитектуре, вывескам и даже по запаху со всеми другими гостиными дворами других уездных же городов; московское «захолустье», где фонари освещают лишь свой собственный столб и ночной сторож протяжно кричит: «посма-а-атривай!», хотя именно посматривать-то и некому; постоялый двор в посаде при монастыре, где «теперича клоп со всего свету собрался, потому богомольцев-то какая сила!». Но, набросав такое изображение, Горбунов спешит перейти к людям, столь близким ему и понятным русским людям, «средним» и «молодшим», как говорилось в старину, вращающимся среди обычных мотивов и элементов своей несложной, хотя подчас и очень своеобразной жизни. Их поверья и обычаи, их доброта и их слабости, проявления их душевной теплоты, а подчас и нравственного падения, их отношение к власти, к суду, к церкви и науке,— будни и праздники, скорби и трагедии их существования, сменяя друг друга и переплетаясь между собой, проходят в пестрой картине пред каждым, кто перечтет и припомнит рассказы Горбунова.

Любовь к этому русскому человеку, несмотря на трезвый взгляд на его слабости и недостатки, теплится и сквозит в большинстве того, что повествует Горбунов. Не закрывая глаз на неприглядные стороны родной жизни, резко оттеняя те внутренние диссонансы и «безобразия», которыми иногда проявляет себя русский человек, Горбунов не забывает про тяжелые исторические и бытовые условия, оставившие, даже и отойдя в область прошедшего, свой след на нравственном складе и многих сторонах «поведения» этого человека. Крепостное право, до-реформенное бессудье на ряду с стремительностью и непосредственностью начальственной расправы, тяжкая, обрывающая все личные связи, многолетняя военная служба и мрак невежества, не только не рассееваемый, но иногда любовно оберегаемый, мелькают в рассказах Горбунова, внося темные тоны в их в общем светлую и веселящую взор ткань.

«Вся-то жизнь наша — слезы, — говорит, в «Медведе», лежащий на печи старик, — родимся мы в слезах и помрем в слезах. . . И сколько я этих слез на своем веку видел, и сказать нельзя! Бывало хоть в некрутчину: и мать-то воет, и отец-то воет, а у жены у некрутиковой из глаз словно смола горячая капает . . .» Эта «некрутчина», наводившая ужас на разрушаемую ею семью, вызывала ее иногда на крайнее напряжение сил, выражавшееся в найме «охотника»; и среди рассказов Горбунова был один, героем которого являлся такой охотник, гуляющий насчет нанявших и всячески безвозбранно над ними надмывающийся. В порывистых жестах его, в окриках на нанятого им музыканта: «делай! делай!», в его пьяных воплях и слезах слышалось глубокое, безысходное отчаяние загубившего себя человека. Отголоски этой же некрутчины звучат и в словах кухарки на «Постоялом дворе» — о муже, которого «угнали на Кавказ, так что и слухов об ём нет . . . должно к австриякам попал», — и в простодушных рассказах Прохора, в «Лесу», об отведенном им «для порядку» к становому беглом солдате, которого он не испугался, потому что «на войне ежели, вестимо убьет, а в лесу он ничего, потому отощает, в лесу ему есть нечего . . . ягоды, — да ягодой, или корешком каким ни на есть, сыт не будешь, ну и отощал человек, силу, значит, забрать не может, опять же и ружья этого при ём нет».

Слезы «некрутиковой жены» невольно напоминают горькое, пришибленное положение, которое часто выпадает в удел простой русской женщине в крестьянской среде, а подчас и в той, где владычествует, не препятствуя своему нраву, «господин купец». За комическою растерянностью и смешными по своей трусливой узкости житейскими взглядами обывательниц захолустья, описываемых Горбуновым, видится их непрестанный трепет пред домашним произволом, неожиданность и беспричинность проявлений которого нагоняют невольный страх постоянного ожидания какой-нибудь домашней бури. Стоит вдуматься в источник этих взглядов, и трагическая действительность сотрет их веселые краски. Не даром одна из жительниц захолустья признает, что сын был прав, когда «убёг» с молодою супругою из родитель-

ского дому, так как «не втерпеж жить, потому что не всякая *может* по здешнему безобразию, надо дело говорить; и прежде у нас в доме карамболь был, а теперь хоть святых вон неси,— продолжает она, — сам-то лютей волка стал, день-деньской ходит, не знает, на ком злость сорвать»... «За что же я должна за старика итти?» спрашивает молодая девушка отца. «Не твое дело!.. Значит, так нужно для моих делов, — отвечает отец, — что я задумал, никто этого знать не может. А ваше дело: что я приказываю — кончено. Не мерзавец я в своей жизни и чувствую свою деятельность. Учить вам меня нечего». Этот гнет заглушает мало-по-малу естественные чувства и логику, и из уст запуганных существ раздаются сентенции неожиданного свойства. Мать, понимавшая сына, который «убёг» с женою, говорит однако последней: «другая бы хорошая баба на твоем месте в ногах досыта наваляласъ, а ты фыркаешь»... В ответ на слезы дочери, выдаваемой за старика, слышится материнское удивление: «Что ты, бог с тобой, —за майора за военного выходить да скучно? Да другая на твоем месте так бы нос вздернула да хвост растопырила!» Тяжкие картины семейной обстановки даже и во сне давят на мысль. У одной из выводимых Горбуновым купчих «вся душенька выболела от страшного сна: будто бы стою я, матушка, на горе, а муж-то, Иван-то Петрович, пьяный-распьяный внизу стоит, да на меня эдак пальцем грозит»... Печальная судьба русской «бабы», этой — по выражению Некрасова — «вековечной печальницы», выступает эпизодически у Горбунова. Тяжело ей бывает с пьяным и драчливым мужем. «Другого такого мужика, пожалуй, и на свете нет, — говорят про зажиточного мужика, — уж на что баба, и та от него во всю жизнь худого слова не слыхала, а баба наша, известно, на побои рожденная: там какая она ни будь, а уж все ей влетит, либо с сердцов, либо с пьяну...» Не менее тяжело и в бесприютном сиротстве и вдовстве. «— Это что такое?» —кричит на собравшихся для облавы на медведя крестьян приехавший из Петербурга богатый охотник, заметив среди них бабу с ребенком на руках. — Бабеночка, сударь, наша... — Что ж она с ребенком в лес пойдет? — Муж, сударь, у ней замерз, так, значит

кормится, в чужих людях живет... — Ничего, сударь, мы привычные», — робко говорит бабенка.

Начатый великим Петром «смелый посев просвещенья», воспетый Пушкиным, шел медленно, с остановками, захватывая лишь высшие классы общества, причем имелись в виду преимущественно служебные цели. Некоторая систематическая забота о народном образовании появляется у нас лишь после крымской войны, но и до сих пор мы, по достигнутым в этом отношении результатам, находимся почти на вершине известной выставочной пирамиды, изображавшей грамотность в европейских странах. Время ранней молодости Горбунова, из которой он вынес многие впечатления на всю свою творческую деятельность, совпало с господствовавшей в нашем бюрократическом строе недоброжелательностью к «ученым» и «сочинителям», как презрительно называли окончивших курс в университете. Скупости в просвещении масс соответствовали, особливо подальше от столиц, за немногими светлыми исключениями, самые приемы преподавания и слабое развитие педагогической литературы, чрезвычайно затруднявшее попытки к самообразованию. Не даром вспоминал Горбунов урок «диктовки» из древней истории и учебник математики Войтяховского, бывший в частом употреблении еще в сороковых годах. «Начнем, — говорит учитель, — историю мидян. Пишите: история... история... ми-дян, мидян. Написали? Точка. Подчеркнуть! — Начало истории мидян... Написали? Точка. Подчеркнуть. — Ну, теперь: история мидян темна... те-мна и — написали? и — непонятна. Точка. Конец истории... истории... мидян. Точка. Подчеркнуть!» — Не лучше, в своем роде, были и задачи Войтяховского о ценности вещей в чемодане «нововъезжей французской мадамы», и о «смешении вещей в короне сиракузского царя Иерона». Благодаря этому, в среде, описываемой Горбуновым, просвещение «обретается не в авантаже», с трудом просачиваясь между враждебными ему взглядами, суевериями, наивными заветами старины и неохотою утруждать себя учением дальше самых элементарных сведений и более чем сомнительного правописания. «Вот, все прочитал, — заявляет управляющий из

крепостных, Никита Николаев, закрывая книгу Эккартсгаузена «Ключ к таинствам натуры», — а в голову забрать ничего не могу — не обучен; если бы меня с малолетства обучали, я бы до всего дошел». — «Вы господам служили, — отвечает ему жена, — а господину зачем ваша наука? Науки вашей ему не нужно. Вот хотя бы по вашей, по лакейской части, ученья вам совсем не нужно. Опять же покойница барыня, царство ей небесное, терпеть не могла, кто книжки читает. . .»

Не любят чтения книжек и в том Замоскворечье, нравы которого описывал Горбунов. Там полагают, что если «все в книжку глядеть», так можно «зачитаться» как Дёмушка («Смотрины»), стать «чудным» как Егорушка, или начать прохожим кланяться в ноги, как старичок, называемый, несмотря на свои седые волосы, Володею, у которого от книжки и от долгого сиденья в долговом отделении «растопилось сердце» и «помутился разум» («Самодур»). Не даром «наш лекарь сказывал», что даже блины — вред для тех, «кто ежели мозгами часто шевелит, значит по книгам доходит или выдумывает». Если в той среде, откуда берет свой материал Горбунов, неграмотность не составляет беды или не грозит особыми стеснениями в жизни, то с другой стороны безграмотность, как всякое полуобразование, с уверенностью в себе и самодовольствием выставляет себя на показ. Достаточно припомнить московские вывески, остановившие на себе внимание Горбунова и постепенно вытесняемые из столицы в провинцию. «Кофейная справомъ входа для купцовъ и дворянъ», существовавшая в Грузинах, в Москве, в пятидесятых годах, уступила место уездным: «въ новь открытой белой харчевнѣ Русскій пiръ» и трактиру «Константинъ Нополь»; — московской вывеске: «Съ дозволенія правительства медицинской конторы засѣданія господъ врачей въ семъ залѣ отворяютъ кровь заграничнымъ инструментомъ пьявочную, баночную и жильную, прическа невѣстъ бандо, стрижка волосъ, завивка и бритье и прочія принадлежности мужского туалета, по желанію на домъ по соглашенію экзаменованный фельдшерный мастеръ Ефимъ Филипповъ и дергаетъ зубы» — соответствует: «С-Петербургской колоніально-бакалейный магазинъ с продажѣю всехъ пред-

метовъ химической лабораторіи и прочиго», «Постоялый дворъ и при немъ лавка с продажею хомутовъ, кнутовъ, веревокъ и прочихъ съѣстныхъ припасовъ», «Magazin mod e roЬ Moscu» и т. п. Не лучше и объявления, в роде: «с разрѣшенія начальства, въ непродолжительном времени певцы *братья* Мальчугины, изъ коихъ одна сестра будут иметь честь», и т. д.

Медленным распространением образования и даже грамотности объясняется взгляд горбуновских действующих лиц на науку и на природу. С презрением относятся они к первой, с ужасом — к естественным явлениям последней. «Хозяйка наша в баню поехала и сейчас спрашивает: зачем народ собирается? а кучер-то, дурак, и ляпни: затмения небесного дожидаются . . . сырой-то женщине! . . — так та и покатилась: домой под руки потащили» . . . «Зашел он в трактир,— рассказывает у Горбунова замоскворецкий деятель — и стал эти свои слова говорить. Теперь, говорит, земля вертится, а Иван-то Ильич как свиснет его в ухо! . . Разве мы, говорит, на вертушке живем? . . .» Не одним людям страшны явления природы. Опасны они и для лесовиков, которые очень боятся, например, грозы, гоняющей их по лесу и бьющей «молоньею, которая как зубом перекусит, потому стрела у ей очень тонкая». Хотя «дворянин один, в Калуге», и отрицает существование лешего, «но много он знает — дворянин-то», когда «кого хошь спроси» леший есть, да только показывается не всякому, а «кого ежели очень любит», и вид притом имеет совершенно определенный: «одна ноздря у него, а спины нет . . .» Этим он отличается от людоедов-одноглазых, «по чьему закону *все* можно», которых излюбленные Замоскворечьем странники за окиян-рекою *видели*, причем этому и «описание есть в книжках . . .» Впрочем, «все можно» не одним людоедам, — но, почему-то, и англичанам, которые весь пост едят говядину — потому, что «по их вере все возможно», ибо они «веруют в петуха», о чем с полною уверенностью заявляет в московском захолустье дворник дома, хозяйка которого, со вздохом и усилиями истребляя блины на масляной, на заявление внука, что он сбился со счета, сколько съел, говорит: «грех батюшка считать-то, — кушай так, во славу божию». Зато жизнь

в этом захолустье полна вещими снами и слышимыми в ночи «трубными звуками», — зато жительницы его, отправившись слушать провозглашение «анафемы», всхлипывая от жалости и умиления, рассказывают потом, что видели, под потрясающие возгласы церковного баса, и ее, *самую анафему*, с седенькой бородкой и трясущеюся головою в «бралиантах».

Больная человеческая природа тоже вызывает к себе в этом мире особое отношение. «Как здоровье, матушка?» — спрашивает одна богомольная старушка другую. — «О-о-ох! голубка — местами! местами болит, местами подживает!» Сверх такого общего недомогания чаще всего одолевает человека белая горячка, — у простого человека «сердце чешется», а у купеческой вдовы по ночам под сердце подкатывает — «словно бы этакое забвенье чувств, и вдруг эдак . . . знаете . . . даже удивительно! и так, знаете, вздрогнешь . . .» Если случится утопленник — его откачивают, и чем шибче, тем лучше, лишь бы при этом не разговариватъ, «не пужать его»; если грозит повальная болезнь, от нее защищаются крестами, сделанными мелом над косяками окон и дверей. Иногда действуют по правилу similia similibus curantur.[1] «Да что̀ доктора, — говорит один охотник, помятый медведем, — да что ж эти доктора! Для господ они, может, хороши, а нам они ни к чему . . . Нашу натуру они не знают, порошки ихние на мужика не действуют. Жена меня лечила. Медведем же и лечила, салом его, значит, медвежьим прикладывала. Отощал я в те поры оченно, на еду не тянуло. Глазом пищу-то берешь, а нутро-то не принимает. Ну ничего — выправился».

Однако «выправиться» приходится не всегда, особливо если дело идет о соленой рыбе, съеденной без предосторожностей, не предусмотренных, впрочем, никакими врачами . . . «Маленько и поели-то ее, — и отчего бы это, кажись? Оно точно — начальство не велит ее сырую есть, да разве удержишься, если эпекит пришел. Конечно — спервоначалу надо бы ее порохом вытереть хорошенько, а не то в щелок окунуть — тогда ничего. . .» Иногда, впрочем, душевное и телесное недомоганье является

---

[1] Подобное излечивается подобным.

вполне естественным, предвиденным и, так сказать, узаконенным последствием свято соблюдаемого обычая. — «Блины изволили кушать? — Да я крещенный человек, аль нет? Эх ты—образование!...» В виду этого, «кушать блины» становится своего рода священною обязанностью, которая выполняется в таких размерах и с таким рвением, что «инда в глазах мутится» — и так как это продолжается целую неделю, то «на последних-то днях одурь возьмет,—постом-то не скоро на истинный путь попадешь», ибо «после хорошей масляницы человек не вдруг очувствоваться может, и лик исказится, и все...» Понятно, после этого, почему старожил московского захолустья, с восторгом вспоминая, как «в старину, бывало, идешь по улице и чувствуешь, что она, матушка (масляница), на дворе: воздух совсем другой, так тебя и обдает, так и обхватывает», замечает: «а вот посмотрю я на *господ*—какие они к блинам робкие: штуки четыре съест и сейчас отстанет...» — «Кишка не выдерживает!» — авторитетно замечает собеседник. Сверх исключительных способов лечения от недугов, помощи ищут преимущественно в наговаривании, нашептывании на корочку и в советах какого-нибудь Филиппа Ионовича, который «от сорока-восьми недугов знает лечить — только черепа подымать не может...», причем, надо думать, что его лекарство действует успешнее, чем средство, употребленное против тараканов, которых «и морили, сударь, и морозили, —и из С.-Петербурга был какой-то, мазью смазывал, но, между прочим, куры все передохли, а тараканы остались».

Едва ли нужно напоминать рассказы Горбунова из купеческого быта, изображающие гульбу на ярмарке в Нижнем, различные семейные сцены и т. п. Все это чрезвычайно характерно, выпукло, но, представляя разработку тех же типических особенностей этого быта, которые так ярко очерчены в комедиях А. Н. Островского, не превосходит последние ни по мастерству, ни по богатству оттенков и языку. Более оригинальны картины из жизни выводимых Горбуновым мещан, фабричных и вообще городского населения. В них так и брызжет юмор, тонкая наблюдательность и уменье несколькими штрихами обрисовать целое положение. Поразительно жизненны были также в устных рас-

сказах Горбунова особо излюбленные им лица духовного звания. Но чиновничий быт и так называемая интеллигенция затрогивалась им мало и мельком, обыкновенно с довольно явною струйкою насмешки. В этом отношении особенно выдержан рассказ «Медвежья охота», где забава скучающих бар переплетается со спором мужиков из-за обложенного одними из них и перешедшего на землю других зверя. Пред слушателем — ряд типичных лиц, начиная с мужичка-охотника, который заряжает ружье, перевязанное около курка веревкою, выдергивая паклю для пыжа из шапки, и кончая франтоватым молодым человеком, со стеклышком в глазу, из Петербурга, облеченным в черкесский костюм, с кинжалом и разными затейливыми принадлежностями. Охота идет неудачно, несмотря на суетню загонщиков и отборную брань приезжего полковника, — что, повидимому, особенно огорчает господина в черкесском костюме. Все едут обратно. Черкес, при въезде в деревню, убивает в упор петуха, говоря с озлоблением: «Тебе этого, что ль, хотелось?» — Очень характерна, например, и столичная штатская генеральша тепличного воспитания, впервые приехавшая в уездный город. Исправник показывает ей телеграмму о горящем лесе, угрожающем железно-дорожной станции, и с отчаянием восклицает: «А с чем я поеду? две трубы только, и то одна без рукава!» — «Как без рукава?» — с недоумением спрашивает генеральша. — «То есть, попросту сказать: без кишки». Но тепличная дама и этого не понимает, и с еще большим недоумением взглядывает в глаза исправнику...

III

Область личных отношений и различных бытовых явлений частной жизни, несмотря на все свое разнообразие, не могла, однако, дать исключительное содержание рассказам Горбунова. Изображаемые им люди выходят, а иногда, помимо своей воли, выводятся из узких рамок личной жизни — семейной или одинокой — в круговорот жизни общественной. Сходясь в деловых общественных собраниях, собираясь для публичных празднований, отыскивая развлечения, русский человек имеет случай

проявлять свою общительность, свои взгляды на общие интересы и задачи и все своеобразие своей природы, поставленной в непосредственное соприкосновение с теми или другими сочетаниями людей. Все это не могло, конечно, ускользнуть от наблюдательности Горбунова. Обратил он и особое, вполне заслуженное, внимание на отношение изображаемого им русского человека ко *власти* вообще и к *суду* в особенности. Сложившиеся веками, под влиянием условий и причин, имеющих корни в нашем историческом прошлом, взгляды народа на власть и ее представителей, на неизбежные свойства их и наконец на то, как надо к ним относиться, имеют оригинальную форму и особенный, соответственный той или другой среде колорит. Изучение этих взглядов могло бы иметь своим последствием вывод целого ряда ходячих в народе житейских неписанных правил о том, как понимать власть и какого «поведения» надлежит с нею придерживаться. Если отбросить подчас комическую сторону этих правил, их явное несоответствие разумному соотношению различных элементов гражданского строя и их, так сказать, фаталистическую непреложность, то в них можно увидеть целое *правосозерцание*, над которым нельзя не задуматься.

Ближайшая власть, с которою приходится иметь дело народу, — полицейская. Ее представители и агенты составляют почти неизбежный элемент его общественной жизни. Водворение порядка, ближайшая помощь и защита, предварительное разбирательство всяких житейских столкновений — все это в руках местной полиции. «До бога высоко — до царя далеко», — говорит народная пословица, — и в то время когда носитель верховной власти живет в сознании простого народа как недосягаемый и всемогущий представитель правды и справедливости, которые лишь *вопреки его воле* не осуществляются в обыденной жизни исключительно и постоянно, — главный обиход отношений народа к государству, не считая воинской повинности, замыкается в тесную деятельность ближайших к нему чинов полиции и органов суда. Посредствующие звенья, иерархические ступени, на которых стоят облеченные властью лица, их разнообразные функции, права и обязанности — все это представляется народу

в неясных и по большей части неверных очертаниях, все тонет в одном и общем туманном понятии о *начальстве*. Близок и понятен городовой, околоточный, становой, мировой судья и, быть может, земский начальник, сменивший, но не заменивший последнего; с ними — и особливо с первым — стоит народ лицом к лицу, они осуществляют пред ним волю той неопределенной, но осязательной силы, называемой «начальством», критиковать которую бесполезно, не повиноваться которой в конце концов невозможно. Правда, строгое разделение властей, к которому одно время стремилось наше законодательство, постепенное смягчение нравов, медленное, но все-таки чувствуемое развитие просвещения и связанного с ними правосознания — понемногу начинают создавать более правильное понимание значения, круга и законных способов деятельности ближайших к народу представителей власти. Но это — приобретение, и притом довольно еще шаткое, недавнего времени, а повествовательная деятельность Горбунова берет свое начало еще из тех годов, когда знаменитый и в своем роде популярный квартальный надзиратель, соединявший в своих руках все местные проявления судебной и административной власти, был альфой и омегой общественной жизни обыкновенного обывателя. Как «deus ex machina», являлся он разрешителем всяких необычных положений и непривычных вопросов, возникавших в жизни... Когда злополучный портной уже собирается садиться в шар вместе с «немцем», происходит следующий краткий разговор: «Ты что за человек? — Портной... — Какой портной? — Портной от Гусева, с Покровки, — предупредительно поясняет один из присутствующих, — купцы его лететь наняли... — Лететь!.. Гриненко, сведи его в часть! — Помилуйте!.. — Я те полечу!.. Гриненко... Извольте видеть! Лететь!.. Гриненко, возьми...» — И окружающие, еще недавно сочувствовавшие портному, сразу становятся на сторону того, кто так энергично проявил свою власть, уже в самом факте его вмешательства усматривая, без долгих рассуждений, доказательство неправильности и предосудительности действий портного, получивших заслуженное осуждение. «Полетел, голубчик!»—«Да за этакие дела...» «Народ-то уж оченно избаловал-

ся, придумывает, что чудней!..» — слышится в толпе, — и на вопрос прохожего — не вора ли это повели, и что такое он украл — ему отвечают: «Нет, сударь ... он, изволите видеть ... бедный он человек ... и купцы его наняли, чтобы, значит, сейчас в шару лететь, — ну, а *квартальному это обидно* показалось ...» — «Потому — беспорядок», прибавляет один из присутствующих. «И как это возможно без начальства лететь?!» — безапелляционно и укоризненно заключает другой ... и правосозерцание — в силу которого все, что делается не с разрешения начальства, есть беспорядок, составляющий притом личную обиду для представителя этого начальства — возникает пред слушателем как основание целой системы взаимных отношений.

Эти отношения были особенно сложны в то время, когда квартальный — или, как его называли в некоторых местах, «комиссар» — обязан был разбирать и маловажные дела, идущие ныне судебным порядком. Являясь и судьею и защитником, он, подобно римскому претору, тут же творил свое неписанное право, понятное уму и сердцу обывателя. В ряде сцен Горбунова проходит он пред нами, начиная с раннего утра, проводимого им в канцелярии, когда трещит голова и требуется «селедка с яблоками», и когда просителю купцу, встреченному лаконическими словами: «Что за человек?» — говорится ласково: «Прошу вас садиться ... в чем ваше дело?» — после того как тот высказал не на словах, а на деле теплое участие к домашнему обиходу квартального, — и кончая ужином в купеческом доме, где бутерброд с густым слоем свежей икры запивается тенерифом братьев Змиевых. День «комиссара» наполнен трудом на пользу обществу. Ему часто приходится принимать на себя высокие обязанности примирителя. « — Иван Семеныч, да помирись ты с этой анафемой; ведь тебе же хуже будет, если она направит дело в управу благочиния, — говорит он. — Обидно это мне очень, обидно мириться-то, ведь я по первой гильдии. — Ну, дай ты ей пятнадцать целковых ... — Ну, так и быть, получи! Только нельзя ли ее хоть дня на три в часть посадить. — Уж сделаем, что̀ можно». Приемы примирения очень просты, хотя и неожиданны. — «Позвольте узнать, в каком положении мое дело? —

спрашивает, подходя к столу, средних лет женщина. — Вы Анна Клюева? вдова сенатского копииста?—Да-с. — Тэк-с! А вы давно кляузами изволите заниматься?—Помилуйте, какие же это кляузы, когда он на паперти меня прибил... — А свидетели у вас есть? А доктор вас свидетельствовал? — Помилуйте... — Вы нас, матушка, помилуйте! И без вас у нас дела много. Вы женщина бедная, возьмите *пять* рублей и ступайте с богом. А то мы вас сейчас должны будем отправить к частному доктору для освидетельствования нанесенных вам побоев, тот раздевать вас будет... Что̀ хорошего, вы — дама». Просительница начинает всхлипывать. « — А как тот, с своей стороны, озлится, да приведет свидетелей, которые под присягой покажут, что его в этот день не только в церкви, а и в Москве не было, так вас за облыжное-то показание... — Помилуйте, прерывает просительница. — Позвольте, дайте мне говорить... Вы не бывали на Ваганьковском кладбище? — Мой муж там схоронен. — Стало быть, мимо острога проезжали. Неприятно ведь вам будет в остроге сидеть. — Я правду говорю! Неужели за правду... — Полноте, возьмите *пять* рублей. Василий Иванович, возьмите с г-жи Клюевой подписку, что она дело прекращает миром. Вам напишут, а вы подпишите. — Извольте, я подпишу, только пяти рублей не возьму... Бог с ним! — Ну, как хотите!» Выступает он и в роли защитника угнетенных, с применением тех упрощенных приемов, в целесообразность и воспитательное значение которых до сих пор не хотят, по упорству, верить некоторые теоретики, пропитанные кабинетными идеями. «— Батюшка, ваше благородие, защити ты меня, отец родной! — голосит, валяясь в ногах у него, старуха, — все пропил... — Кто пропил? — грозно вскрикивает он. — Сын, батюшка, родной сын... Защити ты меня... — Этот ы? — обращается квартальный к молодому, щеголевато одетому мастеровому. — Я! — отвечает нахально мастеровой. — Ты кто такой? — Цеховой кислощейного цеха. — То-то у тебя и рожа-то кислая!.. Ты знаешь божью заповедь: «Чти отца твоего и матерь твою...» — Бац! Цеховой летит в стену. — Ты знаешь, что твоя мать носила тебя в своей утробе сорок недель? — Зн... —

Бац! — Ваше благородие... — Ступай с богом! На первый раз с тебя довольно. Василий Иванович, возьмите с него *подписку*, что впредь он будет оказывать матери сыновнее почтение». Являлся он, наконец и в роли блюстителя народного здравия и охранителя чужих имущественных прав. «— Что это ты, братец, — говорит он купцу, — весь квартал заразил. Мне и самому тошно, — отвечает тот, — да что ж делать-то! Три года не выкачивали. Капуста, милый человек, действует! Заходи ужо — портфеинцу по рюмочке выпьем». — «Шуба соболья!» выкрикивает при описи имущества несостоятельного должника охранитель. Писарь записывает. «Что ты, в первый раз, что ли, на описи-то? — говорит тихо комиссар, — пиши: меховая». — «Ложек серебряных...» — возглашает охранитель... Писарь записывает. «Да металлических! чорт тебя возьми! металлических... я такого дурака еще не видывал!»

Быстрота и самоуверенная беззастенчивость распоряжений, примеры которых приводит Горбунов, не давая обывателю ни времени, ни привычки к критической оценке и к любознательности о том, где тот закон, на который они опираются, держала вместе с тем человека не только в спасительном, но даже и суеверном страхе. Особенно сильно наводил его, в дореформенное время, становой как исследователь всяких происшествий, могущих таить в себе следы преступления. Возможность огульного обвинения или, во всяком случае, заподозрения неслась пред становым приставом, как ветер пред грозою, совсем пригибая к земле привыкшие жить в трепете души. «Вот когда становой приедет!» — говорят около трупа убитого молнией мальчика. «Что ж, становой!... становой ничего...» — «Становой-то ничего?!» — «Мужички почтенные, — становой ежели приедет — мы ничего не знаем...» «А что, его потрошить будут?» — «Само собою: *не по закону помер*, потрошить». «Становой! становой!» — слышатся крики — и окружающие обращаются к ни в чем неповинному парню и, чувствуя, что необходим виновный, говорят ему: «Петрунька! голубчик, не погуби! прими все на себя!» — и, не ожидая ответа, спешат навстречу становому с заявлением: «Ваше благородие! Петруньки это

дело, мы ни в чем не причинны...» Когда в «Утопленнике» вытащившие труп, при звуках колокола, ударившего в далеком монастыре к заутрени, крестятся и говорят: «Упокой, господи, душу раба твоего, — отмаялся ты на сем свете, голубчик!» — наступившую благоговейную тишину прерывает заявление: «Что ж, ребята, теперь ступай к становому, — объявить надо, — так и так». — «Затаскают нас, братцы, тапереча». — «Да, не помилуют». — «Я сидел раз в остроге-то, за подозрение. Главная причина, братцы, говори все одно, не путайся. Месяца два меня допрашивали. Сейчас приведут тебя, становой скажет: «Вот, братец, человека вы утопили, — сказывай, как дело было?»— Ничего, мол, ваше благородие, этого я не знаю, — а что собственно услыхамши мы крик и тапереча, как человек ежели тонет, — отвязали мы, значит, лодку... А насчет того, что откачивали — молчи, потому скажет: как ты смел до его дотронуться? Какое ты полное право имеешь?..— Я, мол, как свеча горю пред вашим благородием, прикажите хоть огни подо мною поджигать — я ничего не знаю. «Я, скажет, братец, верно знаю, что это *ваше дело*». Говори одно: — как вашей милости угодно будет, я этому делу не причинен».

Очевидно, что говорящие так смотрели на представителей местной власти, как на стихийную силу, против которой одно средство спасения — все отрицать, терпеливо и упорно. Резонов она не принимает и налетает с предвзятым и твердым решением. Бесполезно опровергать его, это пустая трата слов,— все равно не поверят, да и слушать не станут. Надо запираться во всем — вот и все. Система запирательства, выработанная веками бессудья (недаром и о раскладывании огней говорится в бессознательном переживании судебных ужасов XVII и даже XVIII столетий) — эта система приходит в голову простому человеку, едва лишь ему довелось быть случайным свидетелем смерти от несчастного случая или даже пытаться спасти утопленника. Возможность того, что «затаскают» и «в острог влетишь» — слишком реальна и основана на горьком опыте. Но вместе с тем, стараясь увернуться от осуществления этой возможности, изображаемый Горбуновым простой русский человек далек

от желания не только разбирать, но даже и объяснять себе основания и поводы действий представителей местной власти. Должно быть, все, что̀ она предпринимает, так и надо, — так неизбежно и до такой степени само собою разумеется, что даже и говорить об этом не стоит. «Пожалуй — в острог влетишь», — говорит продрогший парень, вытащивший на берег утопленника. — «Хитрого нет!» — отзывается другой. — «За что?» — спрашивает третий. «А за то». — «За что — за то?» — «Там уже опосля выйдет разрешение», — заключает успокоительно первый . . . Этому благодушному примирению с неизбежным и ненуждающимся в каком-либо обосновании «разрешением» часто соответствует представление о каких-то особых правах, составляющих принадлежность всякого сколько-нибудь «значительного» человека. Хотя брань на вороту не виснет, по пословице, и мужики, собравшиеся для медвежьей охоты, благодушно замечают: «шибче полковника никому так не изругаться, так обложит — лучше требовать нельзя. . .» но и их благодушию есть предел. — «Возил я нынче купца петербургского, трактирщика, — рассказывает крестьянин-ямщик, — уж очень ругается . . . Так ругается — нет никакой возможности! Предъясняет, что в Петербурге он очень значительный. Я, говорит, при своем капитале кого хошь в острог посажу». — «А вы и верите?» — «Да как же не верить? Может, *права* такие имеет. Мы этого не знаем. Петербург от нас далеко . . .» Вот почему в былые годы исполнение требований властного человека, даже и не вытекающих никоим образом из его должности или положения, считалось мирским делом, повинностью, несомою всеми за одного и одним за всех, во избежание разных неприятностей. Старый слепой дед, лежащий на печи, услышав стук старосты в окно, переговоры вполголоса и крикливое возражение девушки, призываемой для особой услуги к наехавшему чиновнику: «Да что это, в самом деле, точно других девок на селе нет? третьего дня к одному посылали, вчерась к другому требовали, а нынче, накось, и к третьему иди! не пойду я!» — говорит ей наставительно: «Полно, полно, Матреша, — послужи миру-то . . .»

Рядом с этим, готовность обращаться к полицейской власти по всякому случаю — часто живописуется в рассказах Горбунова. Русский человек любит видеть вмешательство полиции, призывает ее и относится к ней с сочувствием не как участник, но как зритель, играя, в составе толпы, иногда роль хора античных трагедий. «— Нет, вы про затмение докажите! Вы только народ в сумнение приводите, — говорит кто-то из толпы астроному-добровольцу, собравшемуся смотреть в одном из замоскворецких переулков на солнечное затмение — и, не дожидаясь ответа, при общем сочувствии, кричит: — Городовой! городовой! — Вот он тебе покажет затмение! — одобрительно говорят в толпе. Да! наш городовой никого не помилует. — Что это за народ собравши? — Да вот пьяный какой-то выскочил из трактира, наставил трубочку на солнышко, — говорит — затмение будет... — Да где ж городовой-то? — Чай пить пошел. — Надо бы в часть вести. — Сведут, уж это беспременно. — За такие дела не похвалят...» Самим говорящим неясно — в чем состоит дело, за которое *похвалить нельзя*, и за что *не помилует городовой*, но ясно и непреложно одно: необходим городовой. Он разрешит натянутое положение и успокоит напряжение нервов. Не даром к нему даже обращаются с вопросами о том, «как понимать эту самую «фру-фру», обозначенную в театральной афише». Вот и он! — уверенный в себе и солидарный с толпою во взглядах на свои задачи. Он сразу становится на высоту своего официального положения, и первое его слово, обращенное к жадно ждущей его толпе — «Осади назад!» Но толпа дорожит даровым зрелищем, где она и зритель и действующее лицо вместе, она лезет, напирает, спешит «излить мольбы, признанья, пени»... и ее страстный говор постоянно прерывается окриками: «Не наваливайте! — которые...» — и «Осадите назад!» — «Сейчас выручит!» — радостно говорят среди окружающих, — «Иван Павлыч, ты — наш телохранитель, выручи...» обращаются к нему. И он выручает, сам, вероятно не зная — *кого* и из *чего*. Услышав выражение: «Вы тогда поймете, когда в диске будет», — он говорит: «Почтенный, вы за это ответите!» — «За что?» — «А вот за это слово ваше нехорошее!» — «Сейчас затмится». —

«Может, и затмится, а вы, господин, пожалуйте в участок. Этого дела так оставить нельзя».—«Как возможно»,—убежденно замечают в толпе . . .

IV

Судебная реформа внесла новые начала в нашу народную жизнь. Она пробудила в обществе силы, не находившие себе дотоле достойного применения, она послужила нравственною школой народу и с такою систематическою настойчивостью стала вызывать в обществе стремление к истинному правосудию и уважение к человеческому достоинству, что составленное Горбуновым шуточное филологическое исследование о *розгословии*, *брадоиздрании*, *власоисхищении и прочем* [1] — стало казаться безвозвратно отошедшим в область прошлого. Знаменитый «комиссар» потерял, как говорит Горбунов в своих воспоминаниях, свой престиж. Он не имел уже прежнего значения в купеческих домах, ни на похоронах, ни на свадьбе. Уже его не подводил хозяин под руку к закуске, с упрашиванием выкушать на доброе здоровье, а предлагал ему просто, мимоходом: — «Ермил Николаевич, ты бы водки выпил. Настойка там есть. . .» Мировой судья сделался, через месяц после своего появления на свет, популярным учреждением, и попросту стал называться *мировым.* Место произвола понемногу, уверенною стопою, стала стараться заступать законность, а гласное разбирательство представило обширное поле для наблюдений над жизнью, так сказать, захваченною врасплох и раскрываемою без искусственного освещения, умолчаний и прикрас. Рядом с этим суд присяжных, еще не обратившийся в предмет различных обвинительных литературных упражнений, сделал народ в качестве представителей общественной совести не пассивным участником и не праздным зрителем, а окончатель-

---

[1] «Слова, вместе с выражаемыми ими действиями, вышедшие из употребления в новой и свободной России после 10 февраля 1861 года» — из давней записки. Сообщено И. Ф. Горбуновым. «Русская Старина», 1891 г. № 10.

ным разрешителем судебной драмы. Заседания этого суда в первое время были полны захватывающего интереса и не столько с юридической точки зрения, сколько со стороны бытовой. Жизнь приливала к стенам суда шумными волнами, и эти волны выбрасывали на берег — в лице свидетелей, подсудимых, потерпевших, а иногда даже и участников суда, обвинителей, защитников и самых присяжных — таких разнородных и разновидных представителей всех слоев общества и всех условий бытовой обстановки, что романист, художник и исследователь народной жизни, с не меньшим правом, чем юрист, могли считать залу суда местом для плодотворных наблюдений и изучений. Ниже мы будем говорить об отношении Горбунова к новому суду, но здесь не можем не указать, что в его рассказах суду этому было отведено видное место. Горбунов умел уловить все его особенности, выхватить из него ряд живых и содержательных сцен, с чрезвычайною наблюдательностью изобразив те комические положения, которые создавались столкновением между теоретическими предписаниями закона, имеющего в виду отвлеченную личность, и живым лицом, приносившим в суд все особенности своих бытовых и правовых воззрений. — «Не угодно ли вам дать ваше заключение, в качестве эксперта, о достоинстве шампанского, в продаже которого под известною и пользующеюся доверием чужою иностранною маркою обвиняется подсудимый?» — обращается председатель к «сведущему человеку», благообразному старому негоцианту, вызванному в суд, как опытный знаток в винах. «Сведущий человек» истово берет бокал с только что откупоренным шампанским, прикладывается к нему губами, вытирает рот фулярным платком, смотрит вино на свет и молчит. «Ваше заключение?» — «Чего-с?» — «Ваше заключение?» — «То есть — это о чем же?» — «Соответствует ли испробованное вами шампанское по своим качествам вину той марки, под названием которой оно пущено в продажу подсудимым?» — Негоциант снова пробует вино, вытирает рот и молчит. — «Какое же ваше заключение?» — «Мое-с?» — «Ну да! конечно ваше», — нетерпеливо говорит председатель. Сведущий человек переступает с ноги на ногу,

задумывается, потупляется и вдруг, подняв голову, решительно говорит: «Покупатель выпьет!..»

В рассказах Горбунова судебное заседание оживало со всеми своими действующими лицами, — с публикою и свидетелями. Жеманная барышня, картавящая, говорящая скороговоркою и прерывающая вопросы защитника восклицанием: «ах! что вы!»; — пришепетывающая и захлебывающаяся от волнения старушка; — говорливый приказчик; — испуганный свидетель «из простых», никак не умеющий выбраться из рокового круга слов: «значит», «то есть», «выходит» и т. д., и целый ряд прямо выхваченных из жизни лиц, очерченных кратко, но чрезвычайно метко, — населяли те придуманные Горбуновым заседания, вымышленность которых исчезала за их яркою житейскою правдоподобностью. Особенно удачен был его большой рассказ о суде по очень важному делу. Усердный посетитель судебных заседаний, убежденный и, как он сам выражался, «радостный» поклонник нового суда, Горбунов умел подметить и некоторые его, извинительные в большинстве случаев, слабые стороны. От него не ускользнули кое-какой излишек торжественности в обстановке, непонятная простым зрителям условность иных судебных действий, приподнятый тон и высокий слог, которыми вооружились «для пущей важности» в первое время некоторые, весьма, впрочем, почтенные председатели, — запутанность юридических определений преступных действий, вызванных привитием к корявому стволу устарелого Уложения молодых черенков Судебных Уставов, за которою подчас исчезали действительные житейские черты преступления, и, наконец, излюбленные и далеко не всегда оправдываемые обстоятельствами дела ссылки на *невменяемость*... С тонким юмором указывая на это, Горбунов был, однако, далек во всех своих судебных рассказах от недоброжелательной насмешки над судом. Он понимал, что новые формы, внезапно возникшие среди старого бытового и общественного строя, могли естественно создавать, особливо в первое время, неловкие и неожиданные положения, ошибки и затруднения, способные вызвать улыбку и смех, но не злорадство, ибо за ними чувствовалась чистота

и высота наполнявшего их принципиального содержания. Слушание процесса по очень важному делу откладывается довольно долго, за невозможностью розыскать главного свидетеля — цехового Прокофьева. Но вот он найден — и вместе с ним, надо полагать, найден ключ к разрешению всех могущих возникнуть по делу сомнений. Назначен день слушания. Публика с раннего утра наполняет здание суда, терпеливо ожидая интереснейших разоблачений. Председатель, чувствуя себя главным руководителем давно ожидаемого процесса, решается «стать на высоту положения» и с особою торжественностью открывает заседание. Молодой секретарь, быть может впервые выступающий публично, читает обвинительный акт, смущаясь, торопясь, глотая слова и не соблюдая пауз. Слова следуют одно за другим без перерывов, с неумелыми передышками, сливаясь в однотонном и быстром чтении, из которого лишь по временам вырываются, нарушая его общее гипнотизирующее и усыпляющее влияние, «страшные слова» в роде: *оказалось*, *показал*, *не признавая*, *на основании*, *предусмотрено*, *предается* и т. п. Обвиняемых двое, молодые люди, мужчина и женщина. Председатель, многозначительно обращаясь к первому из них, говорит: «Подсудимый — студент технологических гаук Сидоров, признаете ли вы себя виновным в том, что 30 февраля (sic!) сего года, на Лиговке, имели, с обдуманным заранее намерением и умыслом, продолжительный разговор о предметах, суду неизвестных?» «Нет, не признаю!» — мрачно отвечает тот. Председатель, с еще большею многозначительностью: — «Подсудимая, — окончившая курс кулинарных предметов Иванова, признаете ли себя виновною в том, что в то самое время, когда Сидоров имел упомянутый разговор, вы, тоже с умыслом, находились на Гороховой, с целью покупки себе шерстяных чулок?» — Подсудимая, срываясь с места, стремительно отвечает: «Да! признаю, но я была *в состоянии аффекта...*» (иногда Горбунов делал вариант, и подсудимая у него отвечала, после некоторого размышления: «В факте — да!»). Председатель торжественно и вместе любезно: «Садитесь!» Начинается привод к присяге свидетелей, неподражаемо изображавшийся Горбуно-

вым. Лицо, называемое председателем «святым отцом» и неожиданно для себя застигнутое обязанностью сделать свидетелям внушение, говорит довольно сбивчиво с внезапными повышениями голоса и сильно напирая на о, и кончает заявлением, что не *токмо* закон гражданский, но *даже* и небесный суд наказывают за ложное показание. Свидетели присягают каждый по-своему. Дворник размашистым жестом с силою ударяет себя в плечи, лоб и грудь; франт поношенного вида и неопределенных занятий со снисходительною улыбочкою небрежно болтает пальцами под подбородком; городовой, бляха № 999, смотрит все время на председателя, даже и прикладываясь, и потому чуть не попадает мимо... Наступает пауза, свидетели мнутся с ноги на ногу, а затем председатель, обращаясь к судебному приставу, говорит взволнованным голосом: «Удалите свидетелей!», многозначительно прибавляя: «останется цеховой Прокофьев»... Прокофьев стоит посреди залы. На нем старый сюртук, застегнутый на одну уцелевшую пуговицу, и очень короткие брюки, с оттопыренными буффами на коленях. Признаков белья не имеется. Все обращаются в слух. — «Господин Прокофьев, доложите суду в связном и последовательном рассказе все, что вам известно по настоящему делу... или, быть может, вы предпочтете *подвергнуть себя* перекрестному допросу?» — Напряжение общего внимания достигает крайнего предела. Прокофьев обводит сидящих глазами, перебирает привычно-трясущимися руками борты засаленного и порыжелого сюртука и вдруг плаксивым голосом заявляет: «Ваше сиятельство... я человек пьяный...»

Интересуясь всеми выдающимися процессами, Горбунов по-своему отзывался на них, заключая иногда тонкую иронию в юмор выхваченного из жизни рассказа. Многим памятно наделавшее столько шуму дело Мироновича, обвинявшегося в задушении Сарры Беккер. В кулачке несчастной девочки, при открытии этого темного злодеяния оказался зажатым клок волос, очевидно принадлежавший тому, с кем ей пришлось бороться за свою жизнь. Волосы были бережно вынуты, сложены на бумаге и положены на подоконник, но когда, по окончании про-

токола осмотра трупа и места совершения преступления, причем в комнату входили и выходили из нее разные люди, хватились волос, — их уже не оказалось, а с ними исчезла весьма важная улика, которую надо было потом возмещать рядом более или менее остроумных предположений и смелых догадок. Как известно, дело разбиралось два раза, чрезвычайно занимая и даже волнуя общество, разделившееся по вопросу о виновности Мироновича на лагери. В первый раз Миронович был обвинен, во второй — оправдан. Дело прошло, оставив неразъясненным вопрос о совершителе и о мотивах загадочного преступления и лишь представив во всем неприглядном своем блеске образ *психопатки*, самое название которого, впервые заявленное учеными экспертами во всеуслышание на суде, приобрело себе с тех пор право гражданства в нашем житейском обиходе. Вскоре после этого Горбунов стал рассказывать о приказчике, который, побывав с товарищем в Зоологическом саду и сделав «честь-честью» все, что *полагается*, т. е. поклонившись Михайлу Ивановичу (медведю), предоставив яблочко обезьянам, покормив слона булочкою и *подразнив* льва, отправился на Крестовский остров и на дороге вздумал выпить бутылку «попутного». В погребке, после предложения посетителям прейскуранта, «по которому им пить невозможно», их соблазняют рассказом о том, что недавно «фундамент перекладàли» и в нем нашли замуравленными три бутылки, которым, поэтому, должно быть не менее 80 лет. Когда откупоривают одну из этих дорогих — потому что редкостных — бутылок, из нее вылетает муха. «Как же это ты, такой-сякой,—говорит Иван Федоров, товарищ рассказчика,— уверяешь, что вину 80 лет, когда в ём живая муха?!» — «Что же, — отвечает сиделец, — муха завсегда в спирту жить может». — «Ну, *натурально*, — продолжает рассказчик, — Иван Федоров ему сейчас в ухо... Поднялся это крик, пришел городовой, привел околоточного, бутылку взяли, составили акт, нас записали, *муху к делу припечатали*... Теперь не миновать под арест. Мировой засудит! Одна надежда: коли ежели эта муха пропадет — оправдают!!»

Понятно, что мировое судебное разбирательство, непосредственно касающееся явлений повседневной народной жизни, должно было давать Горбунову краски и мотивы для самых разнообразных рассказов. Нет возможности не только перечислить, но даже и припомнить все его повествования о происходящем в камерах мировых судей и у тех мелких ходатаев, которые преимущественно принимают на себя защиту у последних. Своеобразный взгляд на свое положение и обязанности, на отношение к правам других и к условиям житейского поведения у действуюших лиц этих рассказов тесно связан со страхом ответственности и в особенности огласки. Безобразные размахи широкой натуры как-то странно переплетаются тут с этим страхом и уживаются вместе. При всей пестроте этой картины, в ней чувствуются верные действительности краски, не исчезнувшие под внешним лоском поверхностной и наносной культуры. В силу этих особенностей, напр., два приказчика из Апраксина двора, не отрицая того, что они *бушевали* в трактире «Ягодка», разбили зеркало и вымазали горчицею лицо трактирному служителю, — тем не менее решительно не признают себя ни в чем виновными потому, что «за все за это заплочено и мальчишке дадено, что следует, а ежели и смазали маленько — беды тут большой нет, вот ежели бы скипидаром смазали, опять же за это и деньги заплочены». По тем же основаниям и хозяин пекарни, где найдена масса всякой нечистоты и тараканов и где подмастерья спят в повалку на столах, на которых делают хлебы, отказывается понять, за *что* его хочет присудить к штрафу мировой судья, так как «где человек, там и тварь всякая водится, и не должон же он своим рабочим *диваны* покупать», а когда судья ему не внемлет, то замечает сокрушенно: «теперича я, значит, за кажинным тараканом с палкой ходить должон!?» Иногда дело не доходит до отрицания вины, но предъявляются резоны, в силу которых накавание по всей справедливости должно быть смягчено. Подсудимый, признавая себя виновным в том, что два раза смазал кого-то в драке, возникшей в «Орфеуме» вследствие замечания какого-то «не то господина, не то писаря» относительно «необразования»

кутящей компании, на что один из нее — «как свиснет его: вот, говорит, какое наше образование!» — узнает от защитника, что придется сидеть в тюрьме недели три, и удивленно спрашивает: «все равно как простой человек? с арестантами?» прибавляя затем: «а ежели я купец, например, гильдию плачу?» — и услышав, что «вдобавок в газетах обозначат», справляется: — «а ежели, например, пожертвовать на богадельню или куды?»

Таким обвиняемым нередко соответствуют и надлежащие защитники их невинности. Горбунов, понимая необходимость защиты в уголовных делах, знал, что присяжная адвокатура сослужила русскому судебному делу большую службу, способствуя развитию правопонимания в обществе и во многих случаях бескорыстно содействуя суду в отыскании истины. Но он нашел для себя богатый материал в деятельности представителей низших слоев адвокатуры, уцелевших отчасти из контингента дореформенных ходатаев, строивших свой успех часто на незнании закона теми, кто к ним обращался. На этом поприще состязания корысти и невежества им выведено несколько ярких фигур. «Прежде проще было, — жалуется попавший «к мировому» буян, — я у квартального раза два судился: дашь, бывало, письмоводителю и кончено, а теперича и дороже стало, и сраму больше; — сейчас, вот, был тоже у одного адвоката — три синеньких отдал за разговор. Я, говорит, твое дело выслушаю, только ты мне, говорит, за это пятнадцать рублей и деньги сейчас. Ну, отдал, рассказал все как следует... Уповай, говорит, на бога! — и ничего больше. Уповай, говорит, и шабаш!» Это — *до-судебная* помощь. Но и помощь *на суде* может оказаться не лучше. — «Г. мировой судья! — восклицает защитник сотворивших «смазь» горчицею, — чистосердечное раскаяние, принесенное в суде, на основании нового законоположения, ослабляет... закон разрешает по внутреннему убеждению...» — «Позвольте! — прерывает судья, — вы в каком виде?» — «Чего-с?» — Судья повторяет вопрос, на который следует наивно-вопросительный ответ: «В каком-с?» — «Я вас штрафую тремя рублями. Извольте выйти вон». — «Скоро, справедливо и милостиво!» — заплетающимся языком

и силясь гордо взглянуть посоловелыми глазами, восклицал Горбунов, делая вид, что захлопывает толстую книжку Судебных Уставов... Не даром, поэтому, обыватель, подлежащий явке к мировому, не всегда благосклонно относится к вопросу о вознаграждении за будущую защиту. — «Ищу адвоката, — говорит купец, допустивший по отношению к бедной девушке-переводчице «безобразие бабушки» и собственное «малодушие», — был у одного, да не понравился: чем, говорю, прикажете вас вознаграждать? — встал, эдак, выпрямился: мне кажется, говорит, что опосля изобретения денежных знаков ваш вопрос совершенно лишний...»

V

В области общественной службы, публичных развлечений и общественных торжеств творчество Горбунова и его способность подметить, в юмористической форме, выдающиеся внутренние моменты — находили себе обильную пищу. Почти во всех этих его рассказах и сценах из-за отдельного, яркого и жизненно-правдивого эпизода выступает проницательное и прочувствованное изображение *отношения* русского человека к различным сторонам и вопросам жизни, — того отношения, которое присуще именно русскому человеку, составляя оригинальное проявление свойств его природы и условий его культурного развития. В ряду таких сцен одно из первых мест занимало, в словесном изложении Горбунова, фантастическое заседание уездного земского собрания, в котором разрешается вопрос о назначении дополнительного содержания от земства одному из должностных лиц, приходящему по своей деятельности в частое соприкосновение с земскими делами и повинностями. На вопрос председателя собрания о том, принимает ли оно предложение о прибавке, встает ряд гласных, которые произносят речи и делают заявления. Ораторы обрисованы Горбуновым с неподражаемым и незабываемым мастерством. К сожалению, рассказ этот не напечатан и передать его в подробности не представляется возможным. Представитель крупных землевладельцев спрашивает небрежным тоном, как о

вещи, ясной сама по себе: «Это по той же *прерогативе*, как было сделано в Казани?» — и получив успокоительный ответ: «Да, по той же», говорит кратко: — «Я согласен!» Гласный из купцов переспрашивает, какая сумма, и узнав, что 100 рублей в год, заявляет: «Что ж, коли ежели действительно им в том надобность, то можно без сумления, потому при нашем капитале это дело возможное». — Третий гласный, говорящий на ȏ и витиевато, испросив разрешение «слово отрыгнуть», начинает словами: «О чем речь? О прибавке! — Кому? — Господину NN. — За что? — За труды! — Однако же уповательно. . .» — и неожиданно предъявляет требование об ассигновании и ему, и его сослуживцам по пастве такой же суммы, поясняя это тем, что без их участия многие существенные события в жизни обывателя обойтись не могут. — «Да ведь это не относится к настоящему делу», — останавливает его председатель. — «То есть по-о-звольте, господин председатель, — возражает гласный, — как же это не относится, когда я имею семь душ детей женского пола, которые все требуют пищевого довольства!?» — «Все-таки не относится», — упорствует председатель. — «Прошу занести в протокол», — обиженно говорит гласный, над горьким и зависимым материальным положением которого невольно заставляет призадуматься Горбунов, умевший в его комическое по форме заявление вложить нотку, идущую из настрадавшегося сердца. — «Господин председатель, — встает, играя золотым pince-nez, случайный гость собрания, приезжий гласный, изысканно-одетый и брезгливо осматривающийся кругом молодой господин из Петербурга, — позвольте э-э-э. . . мне. . . э-э-э слово». . .» — и начинается бессвязная, тягучая, наполненная нечленораздельными звуками и легким мычанием речь, с неожиданными модуляциями голоса, то повышаемого, то доходящего до многозначительного шопота, в которой, повторяя с недоумевающим и как бы обиженным видом название должности, занимаемой «воспособляемым» чиновником, петербургский франт силится выжать из себя какой-то вопрос или упрек собранию. «Да что вы заладили одно и то же! — нервно восклицает один из гласных, ожесточенный «канителью» оратора и

сверканием его крутящегося около пальца pince-nez, — вы скажите — ассигновать или отказать?!» — «Господин председатель, — презрительно оглядываясь, говорит оратор, — я просил бы — э-э-э — пригласить... э-э-э... господ... э-э-э — не перебивать течение моих мыслей... Я продолжаю. Я говорю...» — и, наконец, после долгих потуг и повторений одного и того же названия должности, он разрешается заявлением, что сто рублей — столь малая сумма, что едва ли чиновник, о котором идет речь, захочет ее взять... Но едва произнесено им это предположение, как гласный от крестьян, преодолев навеянную речами дремоту и внезапно оживившись, восклицает с твердою и почти радостною уверенностью и одушевлением: «Он возьмет! Он *все* возьмет!..»

Верхом совершенства в смысле тонкой наблюдательности и яркости изображения является рассказ Горбунова о заседании «общего собрания общества прикосновения к чужой собственности», — в котором юмористическая форма прикрывает содержание, выхваченное из действительной жизни. Тот, кому по личному горькому опыту или по хроникам уголовного суда знакомы недостатки нашего недавнего акционерного законодательства, частые злоупотребления голосами подставных акционеров и тщетная борьба действительных владельцев акций с произвольными действиями правлений, поддерживаемых искусственно созданным большинством, найдет, что Горбунов в своем вымысле вовсе не далек от проявлений действительности, одно время столь частых, что они чуть не обратились в общее правило с редкими из него исключениями. Открывая заседание, председатель имеет честь предложить обсуждению «милостивых государей» *первый* главный вопрос об увеличении содержания трем директорам, *второй* — о сложении с кассира невольных прочетов, *третий* — о предании забвению, в виду стесненного семейного положения, неблаговидного поступка одного члена правления, *четвертый* — о назначении пенсии супруге лишенного всех особых прав состояния кассира и *пятый* — о расширении прав правления по личным позаимствованиям из кассы. Совершенно неожиданно раздается чье-то: «ого!» Но председа-

тель твердо сидит в своем седле, поддерживаемый безгласным и безличным большинством. — «Что это «ого»? — прошу взять назад это «ого!», я не могу допустить никакого «ого!», — восклицает он. Выступает более красноречивый оратор. «Прошу слова, — говорит он. — Как ежели директор, хранитель нашего портфеля, обязанный, например, содействовать... и все прочее... а мы, значит, с полным уважением... и ежели теперича директор, можно сказать, лицо... Я к тому говорю: по нашим коммерческим оборотам, когда, например, затрещал Скопинский банк...» — «Вы задерживаете прения и ставите их на отвлеченную почву, — прерывает председатель, — нельзя ли вам просто выразиться, так сказать, реально: да или нет...» — «Когда, например, разнесли скопинский банк, ограбили вдов и сирот... может и теперь сиротские-то слезы не обсохли...» — «Все это верно, но эти слезы — область поэзии. Правлению нет никакого дела до сиротских слез. Позвольте вам повторить мое предложение стать на реальную почву». — «Мы не знаем этой вашей почвы, а грабить не приказано». — «Стало быть, мы грабили?» — обиженно спрашивает председатель и обращается, от лица правления, с протестом к общему собранию, которое ревет: «Вон! Вон его!» Является, однако, миротворец и, обращаясь к «милостивым государям», вкрадчиво говорит: — «Я позволил бы себе так понять это столкновение: почтеннейший член не совсем уяснил себе предложение председателя, не понял, так сказать...» — «Как не понять! Я говорил насчет грабежу...» Начинается шум, баллотируется выражение порицания оратору, слышатся воззвания к ревизионной комиссии... «В Милютиных лавках устрицы ест ваша ревизионная комиссия», — кричит кто-то в толпе. — Пошумев в интересах правления, общее собрание переходит, по требованию одного из присутствующих, к ознакомлению с *неблаговидным поступком* одного из членов правления. — «С юридической точки зрения, — объясняет председатель, — поступок этот... наша юстиция очень резко разграничивает деяния, совершенные...» — «Стацил, вот тебе и *естюция*...» — слышится голос. — «...совершенные по злой воле... Принимая во внимание семейное положение...» —

«Ну стащил, это верно!» — «В терминологии нашей юстиции нет слова: стащил...» — «Ну можно нежнее сказать — украл...» — Заседание кончается баллотировкою вопроса об увеличении содержания директорам. — «Отдай им сундук с деньгами, а они туда тебе, заместо их, бронзовых векселей наворотят... Чудесно!..» — восклицает прежний протестант. — «Бронзовые векселя, как вы изволили выразиться, — перебивает председатель, — нисколько не отягощают кассу... Позвольте мне докончить!.. Позвольте вас остановить!.. Вопрос исчерпан, ставлю его на баллотировку!»

Не раз изображал Горбунов и общественные обеденные собрания по разным поводам. Проявления развившейся у нас за последние годы мании к юбилейным обедам нашли себе в нем остроумного изобразителя, со всеми своими комическими сторонами, — с юбиляром, узнающим впервые и с изумлением из обращенных к нему речей о своих необыкновенных заслугах пред ведомством, государством и даже человечеством и не знающим хорошенько, тонко ли смеются над ним или грубо ему льстят, — с вынужденным его ответом, причем «виновник торжества» обыкновенно «не находит слов...» и признает этот, далеко не безопасный для его желудка, день «лучшим в своей жизни», — и с тем, наконец, психологическим моментом, когда вино развязывает язык и туманит голову, когда все начинают говорить вместе, забывая иногда цель собрания и выбалтывая истинные чувства, скрытые дотоле под юбилейною условностью речи, — одним словом, когда становится возможным конец одного из таких юбилейных рассказов Горбунова, в котором одновременно, с одного конца стола, из-под облака нависшего над ним сизого табачного дыма, слышится нестройное «ура», а с другой несется сиплое: «бей его!..»

Между торжественными обедами и чествованиями, описываемыми Горбуновым, видное место по мастерству рассказа занимал обед, будто бы даваемый в Москве «нашим заатлантическим друзьям». Во время дипломатических осложнений 1863 года, когда западная Европа стала грозить России вмешательством в «старый спор славян между собою», рассчитывая по-

влиять на нее совокупным воздействием великих и даже малых держав, несколько судов русского флота, под командою С. С. Лесовского, зашли в Нью-Иорк и другие главные порты С.-А.С. Штатов, и были там, в память сочувственного отношения русского правительства к северянам в их тяжелой и священной борьбе за уничтожение невольничества, восторженно приняты. Чрез некоторое время, в 1866 году, пред Кронштадтом появился броненосец нового тогда типа, носивший индейское название «Миантономо», под командою капитана Фокса, пришедший «отдавать визит». Американцы сделались сразу популярными, и чествование их подчас принимало гомерические размеры. Из Петербурга они уехали в Москву, и там им пришлось узнать, что кроме обыкновенных, знакомых им морей, в «сердце России» существует еще особенное «разливанное море», при плавании по которому настоящее море, несмотря на свое грозное величие, начинает становиться лишь «по колена». Об одном из пиршеств на берегу такого моря и рассказывал Горбунов. — Съезжающиеся гости, осведомляясь, кто будет говорить речи, не могут дождаться начала обеда и смягчают томительность ожидания предварительной пробою вин. «А не попробовать ли хересу?» — спрашивают одни. — «Что ж, попробуйте, — отвечают другие, — вы пробуйте, а мы под вас подражать будем...» В средине обеда начинаются речи «заатлантических друзей». В этих речах Горбунов превосходил самого себя. Он не знал по-английски — а между тем речи, и довольно длинные, говорились им именно на этом языке. В них, кроме обращения к слушателям, не было почти ни одного *слова* английского — но были все английские *звуки* — и притом связанные между собою и переданные сообразно темпераменту говорящих. — Ladies and gentlemen! — начинал свою речь капитан Фокс и говорил серьезным тоном, со сдержанною энергиею, с паузами, вводными предложениями и с поднятием голоса в конце, при предложении тоста.—Ladies and gentlemen!—срывался с своего места молодой лейтенант американского флота, и его быстрая, живая, веселая речь лилась неудержимо, пересыпанная вопросами себе, ответами на них, радостными восклицаниями и оканчиваемая бур-

ным финалом, который *должен* был вызывать рукоплескания собравшихся на пир, причем большинство из них не понимало конечно, что именно говорит этот гость с типичною американскою бородкою, но чувствовало, что говорит он от полноты души и что сам он — «милый человек...» А между тем предварительная проба, в связи с тем, что полагалось по обеденному питейному обиходу, производила свое действие и вызывала прилив особой любви к новым друзьям, которые так задушевно заявляют что-то, должно быть, очень хорошее. В таком настроении все кажется возможным и достижимым, все реальные очертания действительности сливаются и смешиваются, а затем и самая действительность, в виде ясного сознания места и времени, исчезает. Поэтому в ответ гостям слышится восторженное воззвание: «Господа американе! — как теперича мы друзья, — коли будет приказание — при нашем капитале — мост через Антлантический океан — в три дня! — в лучшем виде! Господа американе — ура!» Поэтому, после еще нескольких тостов, встает, несмотря на оживленное противодействие соседей, силящихся удержать его за фалды сюртука, один из участников обеда и с опасностью потерять равновесие, протягивая бокал Фоксу, вскрикивает: — «Выпьем п-п-патриотический т-т-тост от русского сердца...» — и на ответное движение гостя, неожиданно заявляет: — «За здоровье... за здоровье преосвященного, ура!..»

В сценах, имеющих предметом народные развлечения, особое непосредственное отношение простого народа и отдельных, близких ему по кругозору, личностей, у Горбунова изображается выпукло и чрезвычайно колоритно. Стоит припомнит его «Блондена» или «Травиату». Действующим лицам этих сцен «хоть что хошь представляй», — и за местами они не гонятся, избирая «которые попроще» и «выше чего быть невозможно», но пусть только будет именно то, «что в афише обозначено, на чести, без подвоху...» Поэтому и Сарра Бернар аттестуется так: «насчет телесного сложения, говорят, не совсем, а что игра — на совесть!» Содержание представляемого зрители уже сами себе уяснят по-своему и даже, где нужно, дополнят.

Вследствие этого им *кажется*, что они слышат, как немец, «как есть настоящий и человек, надо полагать, степенный», которого должен нести на спине по канату знаменитый акробат, говорит ему: «Батюшка, господин Блонден, — пусти душу на покаяние!» — на что тот отвечает: «Нет, Карла Иваныч, сиди, а то уроню, — нам публику обманывать не приказано: вишь, квартальный стоит!» Поэтому, видя, что «тальянские эти самые актеры действуют, сидят, примерно, за столом и закусывают», такие зрители *слышат*, как те поют, что им «жить очень превосходно, так что лучше требовать нельзя». И все дальнейшие разговоры переводятся ими на язык и понятия своей среды, причем благодаря удивительной русской способности понимания сущности дела или предмета по мимолетным и разрозненным его признакам, остов содержания происходящего пред ними, хотя бы и на чуждом языке, схватывается ими верно. Оказывается, что г-жа Патти подносит г-ну Канцеляри стаканчик красненького, со словами: «Выкушайте, милостивый государь», и, услышав от него признание в любви, говорит ему: «Извольте итти, куда вам требуется, а я сяду и подумаю об своей жизни, потому наше дело женское, без оглядки нам невозможно»; оказывается, затем, что, выйдя с отцом героя, пришедшим, «имени, отчества ее не зная», просить «турнуть запутавшегося парнишку», в сад, ибо «на вольном воздухе разговаривать гораздо превосходнее», она обещает исполнить его желание, заявляя, что сама «баловства терпеть не может...» Отсюда становится понятным, почему один из зрителей, на вопрос другого: «к чему клонит?», уверенно отвечает: «парнишка пришел прощенья в своем невежестве просить: «я ни в чем не причинен, все дело тятенька напутал», причем, вместе с тем, становится несомненным, что Патти «между прочим, померереть должна», вследствие чего она «попела еще с полчасика, да богу душу и отдала...» Пытливый взор слушателей и без понимания ими чуждого языка умеет наслаждаться сценическим движением и посвоему объяснять себе его внутренний смысл. «А какая у них игра, — предлагается вопрос о Сарре Бернар, — куплеты поют, или что?» — «Игра разговорная. Очень, говорят, чув-

ствительно делает. Такие поступки производит — на удивление!.. Ты то возьми: раз по двенадцати в представление переодевается...»

VI

«Руси есть веселие пити», сказано было на заре исторического существования русского народа. Среди многих неприглядных сторон жизни простого русского человека, в его тяжелой, не всегда умелой и часто неблагодарной борьбе с суровою природою, при отсутствии, до шестидесятых годов, какой-либо заботы о его просвещении и о доставлении ему здоровых развлечений, при развращающем влиянии фабрики и окружающих ее соблазнов, — «зелено-вино» сделалось для него не только главным развлечением, но и утешением, потому что доставляет забвение. И так как, чем дольше не чувствуется серая и гнетущая действительность, тем легче становится на душе, то русский человек привык набрасываться на это забвение без чувства меры, мирясь с его неизбежными результатами... Не вкусовых ощущений, даже не скоро переходящего веселого настроения (да и всегда ли веселого?) привык искать он в вине, а того особого, приподнятого отношения к окружающему, благодаря которому мимолетное ощущение принимает вид чего-то реального и прочного, а горе-злосчастие отходит на отдаленный, едва видный план... «А добрый сон пришел — и узник зрит себя царем...» — говорится в «Русских женщинах» Некрасова. «А добрый хмель пришел» — можно бы сказать, пародируя эти слова и прибавив к ним краткую характеристику искусственно счастливого самоощущения пьяного. По верному, подтверждаемому научными исследованиями, замечанию Ровинского, в сущности русский человек пьет менее иностранца, да только пьет он редко и на тощий желудок, потому и пьянеет скорее и напивается гораздо чаще против иностранца. Много духовной силы надо, чтоб устоять пред могущественным хмелем, говорит он. Потому-то и поет народная песня: «пей, забудешь горе», и старинная лубочная картина, изображающая хмель, имеет подпись: «Аз есмь хмель высокая голова, боле

всех плодов земных, — силен и богат, а добра у себя никакого не имею; ноги мои тонки, а утроба прожорлива, — руки же обдержат всю землю». Вероятно вследствие этого свойства нашего родного опьянения — в большинстве случаев, за исключением крайнего безобразия, русский человек относится к пьяному не с брезгливым и тревожным отвращением, как это делается на Западе, а с участием, часто с сочувствием и иногда даже с некоторого рода завистью. Не даром Некрасов, хорошо знавший наши бытовые особенности, в предсмертные свои годы, когда становилось очевидным, что поэма его «Кому на Руси жить хорошо» не будет окончена, на недоумевающие вопросы «кому же живется весело, вольготно на Руси?» — отвечал своим глухим, разбитым голосом: — «Пьяному!» Нельзя, однако, обобщать причину пьянства безусловно, и приходится признать, что, поднимаясь от низших слоев населения вверх, в круг большего развития и образования, пьянство постепенно, за исключением случаев проявления болезни, переходит из области слабости и несчастия в область чувственных излишеств и порока.

Горбунов, — искренний изобразитель родной жизни, — не мог не отвести пьяному видного места в своих рассказах, между которыми, однако, нет ни одного, где пьяный был бы центральною фигурой, дающею содержание и окраску всему рассказу... Горбунов слишком любил русского человека, чтобы глумиться над этою слабостью и указывать как на общее явление на те почти патологические случаи, когда она одна наполняет все его бытие. Но он не закрывал глаза на действительность — и потому *пьяный* проходит во множестве его рассказов, то оставляя целостное впечатление, то лишь мелькая, как неизбежная житейская принадлежность общего фона картины. «Один полетит — или с человеком?» — спрашивают из толпы, в чудесном рассказе его «Воздушный шар». — «Нет! с человеком... Немец полетит — и с им портной...» — «Пьяный?!» — «Нет, тверёзый», и т. д. Кто слышал этот рассказ в превосходном исполнении Горбунова, конечно, помнит, что слово «пьяный (пьянай!?)» он произносил с оттенком особого восхищения

в голосе спрашивающего. Торжество «хмеля-высокой головы» в русской деревне видится в ярких сценах разных мест большого рассказа «Из деревни». — «Подобно мы, теперича,— говорит мужик, — как бы, например, пчелы к колодке, так и мы к кабаку: — оне со сластью, а мы за сластью»... Сласть эта покупается не в одном кабаке, но и в трактирах, харчевнях, откуда несутся несвязные речи, слышатся крики, где спорят и поют, целуются и дерутся... — «Не я пью — горе мое пьет... Горе мое горецкое!» — декламирует с пафосом хохлатый, с расстегнутым воротом, босой мужик, стоя на пороге белой харчевни.— «Какое твое горе?» — «Горе? Хуже быть невозможно: погорел! По той причине, *были все выпимши*... Вишь ты! Но только, между прочим...»

Вот она! — та горящая деревня, такими грустными и резкими чертами описанная Чеховым в его «Мужиках». Но Горбунов знает, что хмельной человек далеко не *весь* русский человек, и что за его подчас зверовидной от опьянения оболочкой есть стороны трогательные и глубокие. — «Я к тому, главная причина, — понимать моей души никто не может, какая есть она у меня душа. Вот что!» — бормочет пьяный мужик. — «В кабаке вся ваша душа-то мужицкая!» — резко замечает толстая лавочница. — «Напрасно, матушка, Прасковья Петровна! Ты, голубушка, за нашей душой в кабак не ходи, вот я тебе что скажу! В кабаке мы только блажим, а душа наша у нас в грудях заросла... не доберешься ты даже...»—Но кабак завладел им сильно... Дай бог, чтобы общественным начинаниям, вызванным к жизни казенною винною продажею, удалось хоть отчасти изгладить последствия векового влияния кабака и дать народу здоровые развлечения и ответы на запросы его «заросшей» души! — «Хозяин твой теперича, — утешает фабричный Слезкин плачущую бабу, указывая на кабак, — так будем говорить... окромя эвтого места ему негде быть...», и, когда муж ее при этих словах выходит из кабака, прибавляет: «Вишь ты! уж это значит так точно!»

Рядами проходят у Горбунова пьяные люди разного звания: крестьяне и мещане, купцы, певчие, причетники, актеры и вся-

кие «запойные люди». Всеми ими признается, что быть пьяным не только не зазорно, но и вполне в порядке вещей; всем им хмель отшибает сознание... «Были мы у кума на именинах в Прокшине, — рассказывает Демка в «Утопленнике», — ну, *известно*, — напились. И так я этого хмелю в голову засыпал — себя не помню. Кума прибил, тетке Степаниде шаль изорвал. Просто — сейчас умереть — лютей волка сделался. И с чего бы кажись — окромя настойки ничего не пили. Кум-то: что ж ты, говорит, мою хлеб-соль ешь, а сам... да как хлясь меня в ухо, хлясь в другое! И так мне пьяному-то это обидно показалось!..» Выскочив в окно и побежав во тьме и под дождем «ровно очумелый, не зная куда», Демка попадает в реку; от неожиданной холодной ванны хмель проходит, и утопающий кричит так, что «давай теперича тысячу рублев — так не крикнешь: два года опосля глотка болела». Его вытаскивают и приводят к куму, где он опять «этой настойки выпил три стаканчика — согрелся»... «К концу-то ужина я уже дьякона не вижу, а только вижу руку наливающую, — повествует «на ярмарке» купец, — да и думаю: рука его здесь, а сам-то где отец дьякон? Как домой попал, не помню...»

Поэтому привычное пьянство если и не составляет добродетели, то, во всяком случае, является обстоятельством, извиняющим многое, кладущим предел известным требованиям и создающим своеобразное положение в обществе. Как у Островского молодой человек, на вопрос о своем звании, отвечает спокойно и не смущаясь: «Я, сударыня, *праздналюбец*», — так и у Горбунова, сосредоточивший на себе внимание публики и судебной власти свидетель говорит многозначительно: «Я человек пьяный!», — характеризуя этим не свое состояние в данный момент, а свое, так сказать, личное общественное положение, властно освобождающее от всяких расспросов, не достигающих цели. Такое положение и такое состояние служат в его глазах, да и в глазах окружающих, достаточным объяснением его слов и поступков. Во мнении большинства состояние опьянения не есть ненормальное и постыдное явление, идущее в разрез с обычным строем жизни человека, напротив, оно есть как бы

законное и естественное проявление этой жизни. Когда наступают неизбежные последствия хронических состояний опьянения и кто-нибудь из пьяного человека обращается уже в «человека пьяного», о нем говорят с известною нежностью, что он «ослабел», и его слабость, особливо если он «смирен во хмелю», считается вполне понятным укладом жизни, почти столь же естественным, как и разные другие. Под влиянием такого благодушного отношения окружающих развивается и у пьяного человека, и по отношению к нему особая, своеобразная логика. Горбунов рисует сцены и разговоры в Белом зале московского трактира Барсова, великим постом, между антрепренерами провинциальных театров и ищущими ангажемента актерами. «Первый любовник», садясь к столику, требует от полового дать ему *по обыкновению* графинчик доброго, русского, белого, простого... *очищенного вина* и пирог в гривенник; за другим столиком антрепренер, выслушав укоризненное указание «трагика» на то, что в содержимом им театре актер, игравший Гамлета, в знаменитой сцене с матерью, вышел с папироскою в зубах, отвечает коротко и вразумительно: «Ну, что ж — *пьяный был!*»... Невольно вспоминается при этом слышанный нами от покойного А. Д. Градовского рассказ о господине, который, в жаркий летний день, войдя на речной пароход, придерживаясь за поручни, стал сильно терять равновесие и, устремив мутный взор на свободное место на корме, стремительно двинулся к нему, толкая встречных, наступая на ноги сидящим и опираясь на них руками. Когда публика стала роптать, он, усевшись наконец на намеченном месте, снял фуражку с красным околышем, вытер лысину, улыбнулся доброю и виноватою улыбкою и сказал: — «Извините... я, когда надо ехать на пароходе... всегда... немножко... *потому — не стоит!*» — В виду всего этого понятно изумление окружающих при виде певчего-октавы, не пьющего водки во время закуски в купеческом доме. «Это даже удивительно, — говорят ему, — такой видный человек и не пьет». — «Прежде был подвержен, — отвечает октава, — в больнице раз со второго этажа в окошко выскочил: доктор не приказал...»

Особенно резким образом проявляется привычное служение хмелю на почве самодурства, развитого сознанием своей денежной силы. Много раз, — преимущественно в сложных бытовых сценах, происходящих «На ярмарке», или же в разных перипетиях «Женитьбы», Горбунов обращался к купеческому самодурству, принимающему, подобно хамелеону, то покрытые легким лоском образованности, более утонченные, но грубые в существе и даже жестокие формы, — то к откровенному и поразительному в своем непризнании никаких условий места и времени. Таков, например, у него образ купеческого сынка Дмитрия Даниловича, посланного отцом в чужие края по машинной части, в сопровождении переводчика, и настряпавшего таких бед, натворившего таких чудес, что даже в газетах распечатали... «Приехали они, матушка ты моя, в какой-то город немецкий, а там для короля ихнего, али прынец он, что ли, какой, — феверики приготовили. У Дмитрия-то Даниловича в голове должно быть было: — зажигай, говорит, скорей! А там и говорят: погодите, почтенный, пока прынец приедет. Я, говорит, московский купец, за все плачу. Те, голубушка, загляделись, а он цыгарку туда, в феверку-то и сунул, — так все и занялось! *Сам*-то уж просьбу подал, чтобы по этапу его оттуда сюда предоставили...»

Выводимые Горбуновым типы и разновидности пьяных людей так же разнообразны, как и изображаемые им явления и сцены русской жизни. Перечислить их нет возможности. Длинною и пестрою вереницею проходят они пред слушателем и будут проходить пред читателем, начиная с купеческого племянника, привозящего к почти незнакомым людям на рыбную ловлю «троичку ледерцу», прося окунуть бутылки «на полчасика в родничек: живо озябнут!..», и кончая трагическою фигурою спившегося с кругу старого московского студента, восклицающего: «Чем я занимаюсь? — Пью! да, пью! Утром пью, и днем пью, и ночью пью!» и, отдавшись затем воспоминаниям о славном прошлом своего университета и московской сцены, о Грановском, Крылове, Садовском, горько плачущего от сознания, что «промотал свои идеалы!».

В изображении пьяных Горбунов был неподражаем. Не говоря уже об удивительном разнообразии в игре лица, интонациях голоса и в особенности в выражении глаз, свойственных различному темпераменту и степени опьянения того или другого лица, он умел почти неуловимыми чертами нарисовать пред слушателями картину постепенного перехода в настроении пьянеющего от условной сдержанности к разговорчивости и полной откровенности, с потерею, подчас, сознания окружающей действительности. В этом отношении особенно выделялся его рассказ, в котором переплетались Wahrheit und Dichtung, рассказ о том, как, охотясь с Некрасовым и очень озябши, они заходят отогреться в село к старичку-священнику, живущему в домике-особняке, и угощают его чаем с обильно подливаемым ромом, причем хозяин, очень сдержанный в разговоре сначала, постепенно хмелеет и начинает развертывать пред гостями повесть своих отношений к предпоставленным лицам и учреждениям. По мере развития рассказа окружающая действительность уходит из его сознания, и он, вместо двух охотников, видит пред собою кого-то, кому можно поведать *все*: и то, как на требование «даров», с указанием на то, что у него хорошие куры, он отвечал многозначительно: «в какое время — и какие куры!», и то, как жена его «смотрит эдак косвенно. . .» Но вот хмель уступает, сквозь облако самозабвения проглядывают лица чуждых гостей, — и старик, еще заплетающимся языком, говорит: «только, по-о-жалуйста это м-между нами!».

Не одна водка сокрушает слабого человека. Не менее сильно выбивают его из седла вина «собственного розлива», кашинская мадера и шипучее, так называемая «купеческая погибель», особливо когда оно фигурирует под названием красных, золотых и других головок и значится в нарочито заманчивых прейскурантах под фантастическими этикетами в роде поражающего приятелей, прикосновенных к «делу о мухе», шампанского «свадебное — пли!», с примечанием: «пробка с пружиною, — просят опасаться взрыва». Пьющие эти вина сами сознают их вредные, одурманивающие свойства, но пьют по привычке и «для восторга-с!». . . Рассказывая о книжке, где обозначено, какого

звания Сарра Бернар, по каким землям ездила и какое вино кушает, один из собеседников замечает: «Нашего, должно быть, не употребляют, потому от нашего одна меланхолия, а игры настоящей быть не может...» — «Этот херес помягче будет,— говорит чиновник приказчику, — а третьего дня, верите ли, всю внутренность сожгло. — Мудреного нет, — отвечает ласково приказчик: — не та бутылка попалась, спирту, должно быть, перепущено. — Уж я не знаю там что, только поутру руки трясутся, а тут привели двоих арестантов... — Ну, так, теперича верно. Это — который херес для подрядчика следует, вам отпустили. Херес он дивный, только к нему надо приспособиться. — Да, этот много мягче... сравнения нет».

VII

Таковы, в существенных чертах, картины быта излюбленной Горбуновым среды. Нельзя сказать, чтобы они были особенно утешительны. Возбуждая в отдельных случаях смех, от которого трудно удержаться, они в общем, в связи одна с другою, вызывают вовсе не веселое настроение. За яркими вспышками юмора рассказчика слышится и чувствуется печальное раздумье, — и переход от смеха к грусти совершается в душе читателя или слушателя невольно и сам собою. «Как это смешно!» — восклицает он в первые минуты. «Как это верно, как глубоко захвачено!» — говорит он себе затем... «Но что же это, однако, такое? зачем же *это* так?» — спрашивает он себя нередко, вдумавшись в смысл рассказа, когда на фоне изображенной талантливым художником картины начинают вырисовываться те свойства нашей жизни, которые характеризуются знаменитыми «авось!», «ничего!», «сойдет!», «наплевать!» и укладываются в употребленный князем В. Ф. Одоевским термин «рукавоспустие», — когда из глубины картины выступает наше обычное безволие, отсутствие характера и взаимно чередующиеся хвастливое самомнение и смирение, граничащее с приниженностью, — когда под шуточками над окружающими и над самими собою сквозит поверхностное от-

ношение к жизни, не принимаемой «в серьез», и отсутствие не только вчерашнего, но даже и завтрашнего дня.

Было бы, однако, несправедливо указывать только на эту сторону рассказов Горбунова. И в грустном выводе из совокупности рисуемых им сцен есть элемент, в некоторой степени примиряющий со многим в них. Это — доброта, несомненная, трогательная доброта и незлобивость русского человека. Она составляет, в разных своих проявлениях, *положительную* сторону этих рассказов. Широко разлиты в них черты, указывающие на гостеприимство, безрасчетливое и радушное, одинаково присущее всем описываемым Горбуновым слоям. Накормить и отогреть чужого человека в нужде, не критикуя его и не резонируя над причинами этой нужды, не только удовольствие, но и непререкаемый долг для русского человека; если достаток позволяет, то это удовольствие усиливается еще и возможностью «поднести». Рядом с этим свойством, ставящим человеческие и сочувственные отношения между людьми выше материальных соображений, идет любовь к детям и заботливость о сиротах. Везде, где у Горбунова является среди взрослых ребенок, отношение к нему всегда шутливо-нежное, причем в грубые формы облекается ласка и подчас трогательная заботливость. Некоторые горбуновские сцены, в которых участвуют дети, могут, по сжатости и теплоте, стать на ряду с чудесным разговором Митрича во «Власти тьмы» с Анюткою о «детосеке». Доброе отношение к «ребяткам» до такой степени представляется русскому человеку естественным, что он приписывает его даже и тому, кого вообще он осуждает. «В старину в нашей стороне, — говорит Потап в «Утопленнике», — тоже разбойник жил. И грабил как... страсть! проезду не было. Дедушка-покойник сказывал, — он еще махонький в те поры был: — бывало, говорит, соберет маленьких ребятишек к себе, в лес — и ничего, не трогает; не то, чтобы, к примеру, бил, или что, ничего... Ходи, говорит, ребята завсегда». Весь дальнейший разговор Потапа с мальчиком Микиткою, а также длинная беседа Дементия с малолетними Стёпкою и Серёгою на «Постоялом дворе» преисполнены душевной теплоты, несмотря

на то, что на последних так и сыплются названия «чертенка», «дурашки» и «паршивого»... «И где такой вор парень родился, — говорит с нежностью Потап, тщательно укрывая засыпающего мальчика армяком, — в каком полку он служить будет, на какой народ воевать пойдет?» — «Сироты теперича много, — говорит старик-купец в холерный год, — столько теперича этой сироты — и куда пойдет она, кто ее вспоит-вскормит, оденет-обует... и должно, значит, чувствовать сиротское дело; — сам куска не ешь — сироте отдай, потому она, сирота, ни в чем неповинная...» И на почве этих рассуждений вырастает решимость набрать в дом сирот и создается затем целое убежище с училищем для них...

Любит русский человек природу и с чуткою наблюдательностью относится к ней. В ряде рассказов Горбунова упоминается об этой любви, о тихом восторге пред «божьим творением». Река и в особенности лес и «пустыня», воспетая еще в «Асафе Царевиче», манят к себе «разного звания» людей, населяя, лишь только ночь раскинет над ними свое покрывало, их фантазию таинственными образами. «В лесу чтобы мне ночью, — говорит Калина Митрич в превосходном очерке «Безответный», — первое это мое удовольствие! Выду я в лес, когда почка развернется, да и стою. Тихо! Дух такой здоровый!.. Мать ты моя родная, как я лес люблю!..» На ряду с любовным отношением к природе идет, конечно не без наивно-жестоких исключений, любовь к животным. Верный правде в своих рассказах, Горбунов вставлял в свои картины жизни московского захолустья следующий эпизод. Знойный полдень. Все спит во дворе замоскорецкого дома, — куры, лошади, собаки, люди, — даже подсолнечники в палисаднике — и те как будто спят. Дремлющий у ворот и широко зевающий дворник спрашивает проходящих: — Вы маляры будете? — и, получив утвердительный ответ, говорит: — А можете вы нашему кобелю... брюхо скипидаром смазать? — *А где он?* — отвечают ему, «ничтоже сумняся», маляры. Дворник зовет злополучную собаку, сладко спавшую на самом припеке. — Держите! — говорят маляры. — Что-о! завертелся! — восклицает восхищенный дворник, — не

любишь!?! — Очень *вами* благодарны! прощайте...», и снова все погружается в дремоту... Но это — исключение, а вообще доброе отношение к «животине» преобладает. Особенно ярко проявляется любовь и даже восторженное отношение — к птице. «Это такой соловей, — отвечает на предложение продать соловья «горький человек», проторговавшийся и несколько лет томившийся в «яме» (т. е. долговом отделении) купец Дятлев, — что, кажется, умереть мне легче, чем его лишиться. Вчера он, батюшка, как пошел это вечером орудовать, думаю — не в царстве ли я небесном? Вот это какой соловей! Птицу, сударь, ее любить надо, надо понимать ее. Скворец у меня говорил все одно как человек и любил меня, как отца родного... Будил меня. Утром, бывало, сядет на подушку: — вставай, Петрович, вставай, Петрович!» Эту горячую любовь к певчей птице русский человек не только чувствует сам, но всю силу ее признает и за другими. «Дочь у меня родами мучилась, письмо написала: тятенька, помоги! — продолжает одушевившийся при рассказе о птицах старик, — всю ночь я проплакал, утром встал, взял его, голубчика, закрыл клетку платком, да и понес в Охотный ряд. Несу, а у самого слезы так в три ручья и текут, а он оттуда, из клетки-то: — куда ты меня несешь, куда ты меня несешь! — да таково жалобно»... Бедному старику, севшему на тумбочку и «ревущему как малый ребенок», не приходится, однако, расстаться со своим, быть может, единственным в жизни утешением. Кто-то, узнав в чем дело, покупает у него скворца за две синеньких и, отдав деньги, говорит: «Неси его с богом домой!..»

Любовь к пению птиц может быть рассматриваема как одно из проявлений любви русского человека к пению вообще. Он поет на работе, — поет в одиночестве, — под звуки «дубинушки» общими усилиями поднимает и опускает тяжести; он «в томлении», как выражается Горбунов, и, постепенно одушевляясь, слушает песню и сопровождающую ее музыку... «Делай! ух! — кричит купец Наконечников певцу-гитаристу. — На̀ зелененькую! на̀ всю!.. Подсиним! Катай! катай! Старайся! от нас забыт не будешь»... Особенно трогает слушателей церковное

пение. Оно возвышает душу и наводит раздумье на самые забубенные головы. У Горбунова есть превосходное, богатое типическими чертами, изображение пения хора «прокофьевских певчих» в купеческом доме, в присутствии сына — широкой натуры, который привык «чертить», и его матери, худой, высокой старухи в темном платье и черном платке, с выговором на *о*. «Певчие разместились по порядку: басы позади, тенора на правом крыле, альты на левом, дисканты впереди. Прокофьев, седой, почтенный, строгой наружности старик, вынул камертон, куснул его зубами, подставил к уху... еще раз... погладил по голове гладко выстриженного маленького мальчика-дисканта, нагнулся к его уху и промычал ему нотку, затем оборотился к басам: соль-си-ре-си... — потом громогласно сказал : «Покаяния отверзи ми двери». — Хор шевельнул нотами и запел очень стройно. Изредка слышалось только дребезжание старческого голоса самого регента, но оно тотчас же покрывалось басами. Кончили. Басы откашлялись, тенора поправили волосы, альты завертели нотами, регент закусил камертон, опять послышалось: ля-до-ми — и торжественный концерт Бортнянского «Кто взыдет на гору господню» огласил не только залу, но и улицу, и ближайшие переулки. Мальчишки с улицы прислонились к окнам и приплюснули к стеклам свои носы. Сильно подействовала на душу «матушки» пропетая песнь. Она обтерла рукой увлажнившиеся слезами глаза и посмотрела на сына. Сын глубоко вздохнул и, покачав головой, сказал: — Да!

Конечно, и в любви к пению не обходится без крайностей. Между ценителями церковного пения есть особые любители, для которых главное — сила голоса поющего, и для них, по свидетельству Горбунова, свадьба не в свадьбу, если не будет «пущена октава». — «Ты уж, Николай Иванович, приготовься, — упрашивают «октаву», — то возьми во внимание: одна дочь, опять же и родство большое... Голубчик, грохни». — «У Егорья на вполье, — отвечает октава, — на прошлой неделе венчали, худенькая такая невеста, на половине апостола сморщилась, а как хватил я: «жену свою сице да любит», так она

так на шафера и облокотилась...» — «Нет, наша выдержит! Наша даже до пушек охотница... Вот когда в царский день палят... А уж ты действуй во всю, сколько тебе господь бог голосу послал».

Выдается в рассказах Горбунова русский человек своею отвагою, к сожалению, по большей части, совершенно бесцельною, своим равнодушием к элементарным условиям безопасности, своим, чуждым страха или рисовки, простым отношением к несчастию и к смерти. Блистая находчивостью, легкостью усвоения и остроумием, его богато одаренная натура, так часто не имеющая правильного и свободного выхода для своих способностей, сквозит как луч света среди сгущенной тьмы невежества и нищеты или нездоровых сумерек фабрично-городской «образованности». У Горбунова то-и-дело попадаются «словечки», очевидно прямо выхваченные из жизни, и образные выражения, сделавшиеся ходячими. Таков, напр., «мужчина седой наружности». Есть и много проявлений тонкой народной иронии по отношению к стеснительным для него порядкам. Так, напр., старуха стряпуха в «Медвежьей охоте» говорит: «Медведь не по пачпорту ведь ходит, — вольный зверь, где захочет, там и ляжет». Наконец, иногда мелькает в этих рассказах чистый огонек твердой и трогательной веры. «Эх, господин честной, — говорит один из вытащивших труп утопленника и задумавшийся над возможностью «влететь в острог», — хлопот нам твое тело белое наделало». — «Ничего! — отвечает другой — богу *там* за нас помолит».

Пытаясь в кратком и далеко не полном очерке дать хоть некоторое понятие о внутреннем смысле произведений Горбунова, нельзя, в заключение, не отметить его тонких психологических наблюдений и уменья в вызывающие улыбку образы вложить указания на тяжелые, а подчас и трагические стороны жизни. В первом отношении стоит припомнить хотя бы изображение заразительности страха и свойственного всякому робеющему желания убедить других в отсутствии опасности и

в *их* спокойствии почерпнуть поддержку против сжимающего сердце ощущения. Ямщик Никита, везущий купца, приближается к месту, где «шалят», и по разным приметам чует недоброе... «Душу бы нам здесь не оставить...», — говорит он купцу, поддаваясь первому приливу боязни. — «Что ты, дурак, меня пугаешь, — отвечает купец и, едва ли сам себе веря, прибавляет успокоительно: — кому наша душа нужна?» — «Садись, сударь, со мной на козлы, не так жутко будет», — говорит ямщик. Купец, уже подпавший заразе страха, беспрекословно исполняет это предложение, а сам «ровно бы вот лист трясется». Теперь уж ямщик начинает его ободрять. «Чего же так, ваша милость, — замечает он, — робеть нам нечего, коли ежели что, нас двое!..» — «А у самого-то у меня, братец ты мой, — передает он впоследствии, — дух захватило, руки отымаются...»

Изучение психических настроений и процессов с отдельного человека перешло, как известно, в последнее время на случайную совокупность людей — *толпу* и на сплоченную историческими, этнографическими и территориальными условиями массу — *нацию*. Последователи уголовно-антропологической школы — Тард (Les crimes des foules) и Сигеле (La foule criminelle), а также Густав Лебон (La psychologie des foules), Обри (La contagion du meurtre) и др. — стараются определить те общие начала, к которым может быть сведена психология толпы, и изучить влияние психологических факторов на представления и настроение толпы, определяющие, в конце концов, ее собирательную волю и ее совокупные действия. Альфред Фуллье, в недавних своих оригинальных трудах, пробует исследовать душу целого народа и подметить внутренние процессы, происходящие в ней. Западная литература представляет произведения, по которым, шаг за шагом, можно проследить образование и развитие душевных движений толпы. Стоит указать на полные захватывающего интереса сцены с участием толпы в «Ткачах» Гергарда Гауптмана. И в нашей литературе мы имеем не одно изображение постепенного наслоения впечатлений, на почве которых создается настроение

*

толпы, часто складывающееся в слепую и порывистую волю, «бессмысленную и беспощадную», по выражению Пушкина. Первое, бесспорно, место между ними принадлежит удивительному рассказу графа Л. Н. Толстого об убийстве, в 1812 году, Верещагина в Москве. Эта же тема затронута и у Горбунова в его «Забытом доме», где один из представителей возжаждавшей жертвы толпы, оборванный мастеровой с воспаленными глазами, кричит: «Мы сейчас пойдем на трех горах сражаться... все кабаки уничтожим, все!.. нет, погоди! Купецкий сын вздумал бушевать — сейчас граф разделюцию ему сделал... я те, говорит, побушую! ребята, говорит, возьмите! Сейчас наши мещане растеребили! Потроху не осталось!.. Отец его стоял в воротах — плакал... Ничего не поделаешь — приказано! Бей, говорит, в мою голову!..» Толпа часто выступает в рассказе Горбунова то в виде целого, охваченного одним чувством, мыслью, стремлением, как, напр., в «Московском захолустье», где происходит так называемый холерный бунт, то в виде выхваченных из нее мнений, замечаний и восклицаний, ярко рисующих преобладающие в ней и быстро сменяющиеся настроения противоположного характера. Таковы, напр., «Медвежья охота», «Воздушный шар» и др. В последнем рассказе с большим искусством намечается переход толпы от спокойного *созерцания* происходящего («Шар, сударь, надувают... с самых вечерен надувают и никак его раздуть невозможно! — А чем его надувают? — Кислотой! — Да! — без кислоты тут не обойдешься!») — к живейшему *участию* в нем, когда оказывается, что вместе с немцем полетит портной, который «завертелся — ну, и летит», потому что «от хорошей жизни не полетишь». Хотя один из пьяных купцов, нанявших его, и уверяет, что «если он оттёда упадет», то он, наниматель, «его не позабудет», но толпа начинает чувствовать сожаление и сочувствие к тому, чья судьба уж такая, чтобы «ему, значит, лететь». И это сочувствие растет, захватывает окружающих. Раздаются добродушные предостережения на случай, «ежели этот пузырь ваш лопнет», обращения к чувствам портного — «пустой ты человек, выходит: мать старуха плачет, а ты летишь...», просьбы

«кланяться *там*!» и советы — «милый, ты бы подпоясался, тебе легче будет. . .» — «Сажают, сажают! . .» — в восхищении говорят в толпе. Еще минута — шар плавно подымется, и, быть может, радостное, сочувственное ура огласит воздух. . . Но вдруг — грозный вопрос: «Ты что за человек?» и резолюция: «Я те полечу! Гриненко, возьми его. . .» Настроение сразу меняется и толпа разделяет чувство квартального, которому «это обидно показалось». . .

Мы уже говорили, как в заявлении священника в «Земском собрании» о том, что у него семь душ детей женского пола, требующих пищевого довольства, Горбунов приподымает уголок завесы над картиною нужды человека, поставленного своим общественным положением между случайным и неопределенным заработком и обязанностью служить возвышенным потребностям человеческого духа. Этот прием, подсказанный ему его теплым сердцем, повторяется у него нередко. В чрезвычайно живом и полном юмора рассказе повествуется о молодом купце из строгой и благочестивой семьи, получившем на выставке известной картины «Нана», принадлежащей к особому роду откровенного искусства, совет прочитать одноименный роман Зола, где «все обстоятельства обозначены во всю, и слова на их счет такие, что и пропечатать на нашем языке невозможно, а надо по-французски». «И сказали мне, — говорит купец, — что в Казанской улице живет с матерью девица и французским языком орудовать может. К ней. Бледная, худая, волосы подрезаны в скобку; мать тоже старуха старая, слепая. . . Видно, что дня три не ели. . . Грусть на меня напала! Вот, думаю, обделил господь. Можете говорю, перевести на наш язык французскую книжку? Посмотрела. Извольте, говорит. Что это будет стоить? Семьдесят пять рублей. Это, говорю, мы не в силах. . . За пятнадцать рубликов нельзя ли? Она так глаза и вытаращила, а глаза такие добрые, чудесные. . . инда мне совестно стало. Вы, говорю, не обижайтесь: мы этим товаром не торгуем, цен на него не знаем. Я, говорит, с вас беру очень дешево, и то потому, что нам с мамашей есть нечего, а по щекам слезы, словно ртуть, скатились. Жалко мне ее стало, чувствую

этакой переворот в душе. Извольте, говорю, только чтоб перевод был сделан на чести, чтобы все слова и обстоятельства... Покончили. Зашел как-то через неделю наведаться, смотрю — сидит, строчит. Матери не в зачет рубль дал на кофий. Покончила она все это дело, да, не дождамшись меня, на Калашникову пристань и приперла. Вошла в калитку-то, собаки как зальются — чужого народу к нам не ходит... А бабушку в это время в экипаж усаживали, в баню везти, бобковой мазью оттирать... Что за человек? Зачем? К кому? По какому случаю?.. Все дело-то и обозначилось».

Какая драма чувствуется за этим простым, повидимому, эпизодом! Какая жестокая действительность, разрушающая здоровье и грубо оскорбляющая душу, видится в этом подыскивании девушкою «с добрыми глазами» русских выражений для передачи слов, которыми «все обстоятельства обозначены во всю», и в этом рубле «на кофий»! Как невольно останавливается мысль — не на злополучном купчике, которого стала пилить бабушка, бросившая в огонь и книжку, и тетрадку, терзать дядя и «точить» приглашенные для наставления благочестивые старцы, из которых «один-то еще ничего — пьет. а другой, окромя кровоочистительных капель, ничего не трогает», — а на одной из картин скорбной жизни столичного образованного пролетариата. И когда представишь себе эту девушку на глухом дворе старозаветного молчаливого дома, окруженную лающими собаками, пред чинящею допрос бабушкою, пред кучером и прислугою, довольными неожиданным зрелищем, — когда представишь себе формы и выражения этого допроса, становится вовсе не смешно... Нет! не становится смешно... Не меньшая драма слышится в отдельных эпизодах «Женитьбы» и в простом, но характерном рассказе лихача о том, как бедная девушка, которую он возил на тройке, когда ее в первый раз путем обольщения, а быть может и насильственно, окунули в житейскую грязь, с его *легкой руки* «жить пошла»... Ямщик-лихач стоит как живой, со всеми ухватками своей профессии, — кажется, что морозный бодрящий воздух веет в лицо и что гармонично позвякивают бубен-

чики его гостеприимной тройки, — но когда рассказ кончен прозаическою просьбою «на чаек», — рисуется нечто иное, и разбитая жизнь, втоптанная в разврат среди бездушной столичной суеты, взывает к сердцу слушателя...

VIII

Особняком от созданных Горбуновым типов и фигур стоит знаменитый отставной *генерал Дитятин*, всеми своими корнями сидящий в том общественном строе, который сложился на Руси в последние десятилетия пред крымским погромом и был пересоздан, а отчасти и вовсе разрушен реформами Александра II. Горбунову пришла счастливая мысль дать живое изображение человека этого времени, окаменевшего в своем миросозерцании, прочно установившегося в своих, наполовину бессознательных, взглядах и чувствах, окруженного со всех сторон изменившеюся действительностью, на шум и брызги которой ему невольно приходится отзываться по-своему. Задача изображения такой личности должна была в своем фактическом осуществлении стать, — и стала, — неисчерпаемою. «Довлеет дневи злоба его», и каждый новый момент общественной жизни, каждое внешнее или внутреннее ее событие, каждый всплывший на поверхность чем-либо замечательный человек стали давать материал для выражения своеобразных суждений оригинальной личности, задуманной Горбуновым. Постепенно создался образ, разработанный с особою любовью, с тончайшею наблюдательностью и необыкновенною *находчивостью* тем, кто стоял за ним, почти органически с ним сливаясь... Мало-по-малу, *генерал Дитятин* сделался неизбежным посетителем всех кружков и собраний, в которых Горбунов чувствовал себя хорошо и свободно. Решительные резолюции и отрывистые характеристики генерала, его тон презрительный по отношению к настоящему и подчас возбужденный или восхищенный по отношению к прошедшему, — его добродушный, отзывавшийся приближением «второго детства», смех, его довольно разнообразная начитанность, с неожиданными из нее выводами, его

тусклый взор и отвисшая нижняя губа, его добрая, беспомощная улыбка и глухой старческий голос, — наконец, его всегдашняя готовность отвечать «ничтоже сумняся» на почтительные вопросы собеседников — остались, без сомнения, в памяти всех, кто расставался с разговорившимся генералом, сожалея, что беседе настал конец.

Создалась, по отрывистым ответам Дитятина, и его биография. Он сам не знал хорошенько года своего рождения, то относя его к восшествию на престол Павла Петровича в 1796 году, то вспоминая о своем участии в штурме Праги, при Суворове, в 1774 г. Наивное самообольщение, побуждавшее его «пристегнуться» к Суворову, отнюдь не следовало, однако, понимать, как выражение сочувствия взглядам великого полководца на военное дело и на отношение к солдатам. Он, напротив, всецело стоял на точке зрения одного из очень высокопоставленных мирных героев войны, находившего, что «война *портит* солдат, *пачкает* мундиры и *разрушает* строй». Солдат, по мнению Дитятина, существует, так сказать: «an und für sich», и создан не для пагубного беспорядка войны, а для караульной службы, для вытяжки, маршировки и для необходимого их условия — муштровки. Неизбежные при этом, по его мнению, зуботычины, были гораздо нужнее, чем выдуманная «мальчишками» грамотность и другие нововведения, которыми «увлекся» военный министр Милютин, по адресу которого Дитятин не скупился на краткие, но выразительные эпитеты. Эти нововведения, а особливо общая воинская повинность, приводили его сначала в негодование, а потом в мрачное уныние, не лишенное, впрочем, надежды, что «*там*, наконец, образумятся». Последним из военных администраторов, на котором со снисходительною благосклонностью считал он возможным остановиться, был тот министр, который к некоторым реформам в русском военном строе, осуществленным впоследствии, относился скептически, «сумлеваясь штоп...» и признавая их за «фим» (т. е. миф). Было, впрочем, время, когда Дитятин преодолел свое отвращение ко «всему этому разврату» и даже предложил свои услуги для службы в новых военных судах. В непринятии этих услуг он

видел величайшую несправедливость, но вообще не любил распространяться о причинах отказа, ограничиваясь лишь словом «. . .мерзавцы!», неизвестно к кому относившимся и произносимым с непередаваемым брезгливым презрением. Изредка, впрочем, он решался быть в этом отношении вполне откровенным и с неподдельным изумлением сопоставлял последовавший отказ с блистательно выдержанным экзаменом, во время которого, на предложение рассказать «о системе и мере наказаний по Миттермайеру», — он ответил: «Да! как же, помню, был у нас в полку, в моей молодости, капитан Миттермайер, — система у него была, как и у всех, а мера. . . да меры он не соблюдал, а всыпал столько, сколько душе угодно, — как же, помню!»

Дитятин не был чужд и литературе. Он охотно цитировал Ломоносова и Державина; любил декламировать «красоты» из сочинений Дмитриева и снисходительно ссылался на басни Крылова. К Пушкину его отношение было двоякое. Долгое время он находил его «легкомысленным юношею», который злоупотреблял добротою и «непонятною слабостью» графа Бенкендорфа, не зажавшего ему рот. Но будучи, как всегда, желанным гостем в собраниях пишущей братии Дитятин поддался общему восторженному отношению к Пушкину в Москве, при открытии памятника поэту в 1880 г., и после торжественного обеда неожиданно высказал свои симпатии к нему. Он сделал это, впрочем, с оговорками, строго осудив многие его произведения, но припомнив, однако, с похвалою некоторые воинственные его стихотворения и указав слушателям, что даже фамилия «Пушкин» звучит приятно для уха старого служаки.

И к Тургеневу отнесся он довольно благосклонно. Когда, в 1880 году, знаменитому русскому писателю давали литературный обед в Петербурге, Дитятин сказал, к общему удовольствию, речь, полную ценных указаний на свое понимание истории и истинного положения нашей литературы. «Милостивые государи, — сказал он, — вы собрались сюда чествовать отставного коллежского секретаря Ивана Тургенева. Я против этого ничего не имею! По приглашению господ директоров, я явился сюда не приготовленным встретить здесь такое собрание рос-

сийского ума и образованности...» Выразив, затем, желание говорить, Дитятин нашел, однако, что это сделать очень трудно, как «по разнице взглядов и по своему официальному положению», так и по присущей людям его эпохи осторожности, ибо «их учили больше *осматриваться*, чем *всматриваться*, больше *думать*, чем *говорить*; одним словом, учили тому, чѐму, милостивые государи, к сожалению, уже не учат теперь». Бросая затем ретроспективный взгляд на нашу литературу 30-х и 40-х годов, оратор сказал, между прочим: «В начале 30-х годов, выражаясь реторическим языком, среди безоблачного неба, тайный советник Дмитриев внезапно был обруган семинаристом Каченовским. Подняли шум... Критик скрылся... Далее, генерал-лейтенант, автор патриотической истории 12-го года, Михайловский-Данилевский был обруган. Были приняты меры... Критик испытал на себе быстроту фельдъегерской тройки... Стало тихо. Но на почве, усеянной, удобренной мыслителями 30-х годов, показались всходы. Эти всходы заколосились, и первый тучный колос, сорвавшийся со стебля в 40-х годах, были «Записки Охотника», принадлежащие перу чествуемого вами литератора, отставного коллежского секретаря Ивана Тургенева. В простоте сердца, я взял эту книгу, думая найти в ней записки какого-либо военного охотника. Оказалось, что под поэтической оболочкой скрываются такие мысли, о которых я не решился не доложить графу Закревскому. Граф сказал: «Я знаю». Я в разговоре упомянул об этом князю Сергею Михайловичу Голицыну. Он сказал: «Это дело администрации, а не мое». Я сообщил митрополиту Филарету. Он мне отвечал, что это — «веяние времени». Я увидел что-то странное. Я понял, что мое дело проиграно, и посторонился. Теперь я, мм. гг., стою в стороне, пропуская мимо себя нестройные ряды идей, мнений, постоянно сбивающиеся с ноги, и всем говорю: «хорошо!». Но мне уже никто не отвечает, а только взводные кивают с усмешкой головой. Я кончил и пью за здоровье отставного коллежского секретаря Ивана Тургенева...»

Доживая свой век в отставке, Дитятин следил за мимо бегущею жизнью и о каждом ее явлении составлял себе совер-

шенно определенное мнение. В этом отношении он был человек самый многосторонний, всегда стоявший с готовою «резолюцией» по вопросам, интересовавшим или волновавшим общество. Он, между прочим, почитал, но не любил Бисмарка, находил, что Мак-Магон «сплоховал» во время своего президентства, о Гамбетте выражался презрительно: «хе! хе! — воздухоплаватель...», строго осуждал назначение министром финансов человека, происходившего из духовного звания; негодовал на Шопенгауэра за «прекращение человеческого рода» и желал лично «вразумить его»... Прочитав в русском переводе сочинения Лассаля, которого он называл «Лапсалем», Дитятин решительно заявил: «*я* на *это* не согласен». То же самое изрек он, ознакомленный кем-то с теориею происхождения видов Дарвина. Уверенность в безусловной справедливости своих взглядов и брюзжание Дитятина не мешали ему, однако, быть приятным и в высшей степени интересным собеседником. Едва раздавался его голос — все присутствующие обращались в слух, причем некоторые спешили вызвать на подробные объяснения старика, который, несмотря на свою нравственную осиротелость среди чуждых ему поколений, обойденный ушедшею вперед жизнью и болезненно переживший крушение воспитавшего его строя, умел оставаться незлобивым, доверчивым и подчас даже веселым.

Строгая выдержанность этого образа представляла собою блестящее доказательство творческой силы Горбунова. Дитятин был живой человек. Он действительно существовал между нами. Скончавшись, вероятно, от старческого маразма, одновременно с Горбуновым, он оставил навсегда пустое место. С чутьем тонкого психолога Горбунов, вкладывая в его уста удивительные по всей архаичности суждения, умел дать почувствовать доброе, в сущности, сердце старика. Есть фотография, изображающая Горбунова в мундире, со сложенными на груди руками, в армейской каске со старомодным орлом, держащим в лапах перуны и венки. Экземпляры этой фотографии очень редки. Известно, между прочим, что на экземпляре, поднесенном одному лицу, есть надпись, сделанная старческим, дрожа-

щим почерком: «J'y suis, j'y reste — фраза, украденная у меня Мак-Магоном. Генерал-майор Дитятин 2-й». При взгляде на этот оригинальный портрет невольно чувствуется, что таков именно, в своей непреклонности и добродушной строгости, и должен был быть незаменимый и незабвенный генерал Дитятин...

IX

Живая наблюдательность Горбунова и его способность всматриваться во внутреннее содержание того или другого явления русской жизни, влагая его в яркое изображение, — не могли ограничиться одним *настоящим*. Как истинный художник, он умел представлять себе и *прошлое* в выпуклых и жизненных образах.[1]

Изучая нашу старую историю, вдумываясь в события и общественный склад XVII, XVIII и первой половины XIX века, он в ряде произведений оставил очерки эпох, строя жизни и господствовавших в то или другое время воззрений на условия общественных отношений. Им захвачены и давно прошедшие — и недалекие сравнительно годы, отрезанные от нас и наших взглядов широкою и благотворною бороздою реформ шестидесятых годов. Поэтому он является автором бытовых сцен на исторической подкладке, причем его необыкновенное

---

[1] И. Ф. Горбунов разыскивал и с любовью собирал различные документы исторического и бытового содержания, освещающие прошлую русскую жизнь. Им между прочим снабжены примечаниями и напечатаны в «Русской Старине»: 1) Журнал путешествия по Германии, Голландии и Италии, веденный князем Борисом Куракиным в 1697—1699 гг. («Р. С.» 1879 г.); 2) Иван Михайлович Булгаков в царствования Анны, Елисаветы и Екатерины II, 1737, 1751 и 1785 гг. Проект прошения с изложением событий в жизни просителя и многолетней жалобы об его имениях. («Р. С.» 1881); 3) Последние дни жизни А. И. Казарского («Р. С.» 1886 г.); 4) Князь А. Б. Куракин в селе Надеждине в конце XVIII века («Р. С.» 1887); 5) Письмо и завещание детям 1802 года самоучки-механика Кулибина («Р. С.» 1872 г.); 6) Смольный монастырь в 1783 году. Известие надзирателя Пахомова в комиссию об учреждении народных училищ («Р. С.» 1878).

уменье усвоить себе особенности и характерные свойства языка в различные периоды русской жизни дает ему возможность воссоздавать прошлое с особенною правдоподобностью. Знаток родной истории чувствуется в оригинальной форме его произведений из области старой письменности, и их шуточное подчас содержание заключает в себе нередко меткие и сжатые указания на целый порядок вещей, отошедший в вечность.

Но и помимо произведений в этом последнем роде в очерках, изложенных преимущественно в виде воспоминаний и дневников («Из московского захолустья», «Мысли на парадном подъезде», «Забытый дом», «Дневник дворецкого» и др.), проходят пред нами в разном освещении, дающем в своей совокупности цельный и — судя по обнародованным за последние тридцать лет материалам — исторически верный образ, такие фигуры, как, например, архимандрит Фотий, граф Закревский и многие другие. Проходят исчезнувшие типы приживалок из захудалых родов («княжна с флюсом и княжна без флюса») и величавых генералов александровского времени, украшенных иностранными орденами «святой Марии Терезии» и «святого Парамерита» (pour le mérite — за заслуги), по объяснению швейцара, дежурящего на парадном подъезде, — проходит ряд людей, живьем взятых из прошлого.

Есть у Горбунова целый исторический рассказ: «Царь Петр Христа славит», с эпиграфом: «они (дьяки) учинили то дуростью своею негораздо и такого не бывало, чтобы его государевых певчих дьяков, которые от него Христа славить ездят, во двор к себе не пущать и за такую их дерзость и бесстрашие быть им в приказех бескорыстно и никаких им почестей и поминков ни у кого ничего ни от каких дел не имать. . .» Вот как отмечает Горбунов раздвоение между Москвою и ее молодым государем, вызванное началом переворота, произведенного этим грозным властелином судьбы», стянувшим «бразды рукой железной». «Тяжелое время переживали москвичи в последний год XVII столетия. Пять месяцев с ужасом натыкались они на стрелецкие трупы, висевшие на стенах Белого и Земляного города и валявшиеся на Красной Площади. . . «Блудозрелищное неистов-

ство» являли собою в глазах благочестивых людей обритые, в венгерских кафтанах, бояре. Кремлевский дворец, двор великого государя московского, был заперт. Святейший патриарх лежал на смертном одре. Великий государь не показывался больше народу, подобно его предкам, во всем блеске и величии «царского сана», в большом царском наряде, в сопровождении родовитых бояр «в золотых ферезях»: в селе Преображенском он стоял в офицерском мундире иноземного покроя во главе своего лейб-регимента, салютуя князю Кесарю...»

Не менее рельефна и полна жизни картина Москвы в 1812 г., накануне ее взятия французами, когда «народ со всех концов тронулся», ряды войск все напирают, напирают, стискиваются, останавливаются, с трудом расступаясь, чтобы дать дорогу «владычице» в дорогой ризе, и священник Маргаритов, увидав в оторопевшей толпе своего прихожанина, протискивается к нему, кропит его святой водой и дрожащим от волнения голосом говорит: «Зрите и мужайтеся, подобает бо всем сим быти, обаче и тогда не кончина...» Таково же и описание Москвы, разоренной после пожара, когда, после ухода французов, слуга, оставленный при покинутом доме, получает наконец возможность написать своему господину: «при сем рабски имею честь вашему превосходительству присовокупить, что по голове меня гладили... только слов я ихних разобрать не мог; при сем взяли часы из угловой гостиной...» Воспоминания об этом «забытом доме» представляют характерные черты смены поколений и их взглядов в старом московском дворянском гнезде. Как в молодом организме вслед за тяжкою болезнью чувствуется прилив свежих сил и особое жизнерадостное настроение, так и в барской Москве патриотический подъем духа, вызванный войною и ее бедствиями, сменяется усиленной жаждой удовольствий и, за отсутствием общественной деятельности, учащенным биением пульса жизни частной. Но и это настроение проходит; раскаты грома и шум отдаленной петербургской бури 14 декабря, холера тридцатого года и разные внешние обстоятельства кладут свой отпечаток на московскую жизнь. Раны, нанесенные войною, забыты одними, отходящими, не испытаны другими,

вновь пришедшими, — а Запад манит к себе разными сторонами своей жизни. Барские дома, несмотря на затруднения, которыми обставлена отлучка за границу, начинают подолгу пустовать, и стены их говорят красноречиво о прошлом лишь неотлучным свидетелям пережитого — старым верным слугам исчезнувшего ныне типа. Для этих слуг настоящее еще полно своеобразных впечатлений и выводов из прошлого. Когда в «забытом доме» молодые господа, равнодушные к покидаемому гнезду, шумно снимаются с якоря, надолго уезжая на «теплые воды» в чужие края, дворецкий Михаил Егорович в тяжелом недоумении трое суток приводит дом в порядок, закрывает мебель и завешивает хмурые лики генералов двенадцатого года. «Платова он закрыл особенно тщательно, промолвив: муха — ведь она дура, она и тебя, батюшку, не пожалеет... Блюхера он оставил открытым».

Переживая, вместе с выводимыми лицами, прошлые времена, Горбунов не мог, конечно, пройти молчанием крепостного права, бросавшего почти на все явления русской жизни свою мрачную тень. В дневнике дворецкого, посвященном изо дня в день описанию, под углом зрения престарелого слуги, распутной и расточительной жизни молодого знатного барина, не умеющего с достоинством носить свое старое имя и соблюдающего лишь внешним и поверхностным образом домашние традиции предков, есть эпизоды, рисующие созданные крепостною зависимостью отношения. Барин недавно достиг совершеннолетия. «По случаю рождения его сиятельства, исполнилось двадцать четыре года, был в нашем доме молебен с водосвятием, — записано в дневнике, — вечером были танцы с девицами, а цыганский табор пел песни, кончили забавляться с солнышком». Но пред барской волею склоняется масса дворовых челядинцев, и по пословице: «где гнев, там и милость», на нее возлагают они свои житейские упования, от нее ждут и гнева, и безропотно принимают его. А как много нелепого произвола и бессознательной, может быть, жестокости и в этом гневе, и в этой милости! Лакея Лаврушку, которого в *субботу* пришлось отпаивать квасом, после того, как он, паря вчетвером барина в Суконных

банях, повалился замертво, в *понедельник* приказано наказать в оранжерее, но должно быть на его строптивый нрав это не действует, и в следующую субботу ему велено «забрить лоб», но он бежит, и когда через пять недель является из бегов, то неожиданно встречает смягчение кары: приказано вновь наказать его в оранжерее и выдать ему паспорт. Поехав к Яру, молодой хозяин «душ» остается там целый день, вследствие чего кучер Глеб отмораживает себе нос, по словам доктора «безвозвратно», почему и в больницу итти не желает. Ему через несколько дней выдается вольная, ибо «без носу — не кучер»... «Был у племянницы своей на Поварской улице, — говорится в дневнике, — услыхал, что господа ее отправляются по весне на теплые воды, а ее отдают замуж за выездного Родиона Михайлова, а ее есть желание, по нелюбви к нему, выкупиться на волю. Плачет. Советовал господам покориться. Против моих слов говорила — лучше утоплюсь. Она девица молодая, красивая, а он кривой. Вся причина в барыне, желает, чтоб ее господского приказания слушались». Чрез неделю в дневнике записано: «Племянница моя и крестная дочь Любовь Ивановна от грозящей ей неминуемой беды быть замужем за Родионом, проглотила три булавки и скончалась в судорогах, в чем священнику на духу и покаялась... Упокой, господи, душу ее в селениях праведных! Вчера целый день плакал. Мать ее, сестру мою Надежду, свезли в больницу: чувствует приближение живота...» В другом месте дневника, отмечая, что умер скоропостижно от угара камердинер покойного графа, Григорий Никитин, старый дворецкий прибавляет: «жену приказано отправить на скотный двор, а малолетних раздать в ученье. Квартальному за хлопоты десять рублей и сукна на брюки...» Ученью подвергаются, впрочем, не одни малолетние. Приходится обучаться по-новому и старому человеку. Одна из владетельниц «забытого дома» просит повара генерала Барканова взять поучить ее старого повара Дмитрия, которому, по мнению генеральских поварят, «по божьему-то в богадельню пора...» «Воля господская — говорит им со вздохом старик, — ихняя воля... велят, и фалетором сядешь; кто ж им может в кушанье потрафить: то им с перцем давай, то зачем

перец кладешь; — заварные левашники уж как я умею: положишь на блюдо-то — воркует, словно живой, а оне кушать не могут. Да все! .. возьмите вы галантир — оттянешь его чище зеркала, причесываться можно, а оне говорят: ты меня как собаку кормишь; такой в себе каприз имеют, что ни один повар на них угодить не может...» Но бывают и добрые дни. На Пасху барин «христосовался со всеми, по три раза, денежное положение роздано, как при покойном графе, — по три рубля; трем семействам дворовых людей объявили вольную, повару Герасиму, камердинеру Владимиру и старой горничной покойной графини — Егоровне. И могут они вольными жить в нашем доме и служить его сиятельству попрежнему. А на повара, — прибавляет в своем дневнике дворецкий, — расставляла зубы Марья Алексеевна, хотела его выменять у графа на садовника Филиппушку: бог не попустил!»

Несмотря однако на полную возможность и даже на тогдашнюю закономерность таких проявлений барской воли, в большинстве случаев, за исключением проявлений крайней жестокости, люди, рожденные в крепостной зависимости, молчаливо мирились с условиями последней, создававшими своего рода «consortium omnis vitae»[1] для помещиков и для тех, кто составлял их «крещеную собственность». Долгие годы преемственного терпения, мягкость и добродушие русской натуры выработали таким образом тип старых слуг, преданность которых господам и верность их интересам кажется ныне почти легендарною. У слуги старого времени радости и скорби семьи, где он жил, были его скорбями и радостями; он ревниво оберегал честь дома и болел сердцем, видя ее умаление. Он не мог не ценить значения вольной, но, несмотря на горькие подчас условия своей жизни, нередко даже гордился своею принадлежностью определенному лицу, с судьбою которого была связана и его судьба. «Я прирожденный камердинер, а не мещанин какой-нибудь», — говорит слуга в «Утре молодого человека», — и всеми силами и уменьем оберегает своего барина от увлечений и мотовства. В разгаре

[1] Содружество на всю жизнь.

спора между крепостным и вольнонаемным лакеями о преимуществах социального положения каждого из них, старик слуга, выходя из себя, кричит: «Это вы — холоп, а я — природный лакей! Моя душа *барская*, а ваша *окладная*, потому вы несчастный мещанин. Я коли какой непорядок на улице сделаю, должны меня к моему барину с будочником представить, а вас на веревке в часть поведут; вы на запятках стоите, а я при моем господине завсегда в комнатах». — «Что вы выражаетесь!?» — восклицает окладная душа. — «Я не выражаюсь, а правду говорю! Вы холоп, а не я!» — отрезывает барская душа.

Как изображение чувств, отношений и миросозерцания такого старого слуги особенно интересен уже упомянутый дневник дворецкого, со своею надписью: «Сия тетрадь принадлежит дому его сиятельства графа Павла Павловича дворовому его человеку Емельяну Дыркову. Приобретена покупкою пятьдесят копеек ассигнациями. Описание жизни в доме его сиятельства. Описывал собственноручно крепостной дворовый его человек своею охотою. Емельян Дырков. 1847 году». В этом дневнике нарисован искусною рукою и сам автор, и его господин, сделавшийся обладателем повидимому огромного состояния и ведущий самую бесшабашную жизнь в доме, где еще недавно все было чинно, истово и строго... Он возвращается на рассвете, встает в четыре часа дня, пропадает по двое суток в цыганском таборе, где сам пляшет, — то чревоугодничает, то обуревается внезапными аппетитами к моченым яблокам и т. п., занимается по целым часам стрельбою из пистолета в оранжерее, пением романсов, игрою на гитаре и «разрисовыванием птицы в клетке», пробует силу, тягаясь на палке с кучерами и разрубая живую собаку, устраивает у себя, несмотря на «выговоры доктора Топорова», оргии, причем «прислуге быть не приказано», — ведет крупную азартную игру и лишь иногда в постели читает *«смешную книжку»*. На службу не ходит, хотя ему и «присылают чин, как он значится по канцелярии». По временам им овладевает внешнее благочестие, он ездит в Лавру, простаивает подолгу на молитве, читает «четьминею», служит у себя молебны с знаменитыми и дорогими певчими и принимает

многочисленное духовенство и знатных особ. Но эти промежутки становятся все реже и реже, — в доме появляются темные личности, — наконец надвигается, при угрозе со стороны родных взятием в опеку и подачею «на высочайшее имя, чтобы на Кавказ», — материальное разорение и наступает трагическая развязка уголовного характера.

Болит от всего этого сердце старого, искренно-верующего и доброго слуги. Сначала он отмечает лишь факты, в их красноречивой неприглядности, но потом начинает выражать тревогу. «Больших денег стоит графу эта цыганка»; «при такой расточительной жизни граф может разориться»; «великий был шум у нас сегодня в доме, — слава богу, что граф не был в игру замешан, — великое будет несчастие, коли граф себя не сократит», отмечает он разновременно в дневнике. Чаще и чаще рисуются ему в воспоминаниях и сновидениях прежние времена домашнего порядка и общего почета его господам. «Тошно жить становится, — пишет он, — господи! Как вспомнишь, что наш за дом был! Пожалуй, что ниже предводителя и господ-то у нас не бывало! Никто к нам из знакомых не ездит, и подобный наш дом стал обыкновенному дому, если не хуже... Помяни, господи, во царствии твоем раба твоего графа Павла и рабу твою графиню Софию. Большие господа были!» Но он продолжает строго надзирать за барским добром и, презирая в душе новых гостей барина — цыган, игроков и людей подозрительной профессии, тем не менее тщательно записывает, на сколько персон был сервирован стол и что было подано. Здоровье его, однако, слабеет, и несмотря на оставшийся после покойного графа лекарственный порошок *кремартактор*, принимаемый им с большою для себя пользою, он начинает чувствовать «отягчение ног». Записав виденный им сон, в котором Любушка — умершая от проглоченных булавок девушка — приходила к нему в кисейном платье, с золотым венцом на голове и двумя херувимами в руках, — спрашивает он себя: «не зовет ли это она меня к себе?» Несмотря на ликующий вокруг него грех, вера его тверда. Как трогательно частое обращение старика от картин житейской грязи и злобы к величавым словам молитв и

*

песнопений! «Ей, господи царю, даруй ми зрети моя прегрешения! — Боже, милостив буди мне грешному! — О, дивное чудо! Невидимых содетель за человеколюбие плотию пострада!» — пишет он в разных, особо тягостных для него по содержанию, местах дневника. За то какою наивною гордостью звучит в начале дневника запись, когда случилось так, что на один день в доме повеяло былою торжественностью. По настоянию теток, молодой граф дает бал «при полном освещении всего дома, с ужином на шестьдесят человек, при прислуге в новых ливреях и хоре музыкантов за тюлевою занавесью в малой гостиной». Старому слуге, при виде барина, танцующего с княжною, думается, не «намечают ли ему княжну в невесты?» «Все в руце божьей» —восклицает он в уповании на новые побеги родословного дерева и восхищаясь разговором генерал-губернатора с генеральшею, заменяющею хозяйку, причем они «друг другу против сказанных слов выговаривали», замечает: «Знатные люди! высокого чину! Подумаешь, до какой высокой степени бог может вознести человека!»

Как характерен, наконец, для изображения воззрений и способа действий тогдашней административной юстиции эпизод с оскорбленным купцом! «Вчерашнего числа, — записано в дневнике, — граф в театре одному купцу дал плюху. Хочет судиться. Потребовали графа к военному губернатору, но он не поехал, по болезни, а отправил с теткою просьбу к губернатору: просит от купца защиты». Дальнейшие распоряжения напоминают знаменитый совет комендантши Белогорской крепости в «Капитанской дочке»: графа сажают на Ивановскую гауптвахту, а купца забирают в Тверскую часть. «Купца заставили помириться, — говорит затем дневник, — приходил квартальный, отбирал от графа подписку, что он впредь *драться не будет* и *купца прощает*. Дано три рубля». Трагический эпизод, на котором прерывается дневник, имеет уже прямое отношение к уголовной юстиции сороковых годов. С самого начала записей Емельяна Дыркова в эпическую ткань его описания вплетается, как красная нить, некая Вера Афанасьевна и ее отец, имеющий какую-то прикосновенность к театру. Они,

повидимому, уже довольно давно знакомы с графом, который ужинает с отцом до рассвета и играет с дочерью на фортепиано. Мало-по-малу отец Веры Афанасьевны, сначала благодарящий за то, что им не гнушаются, делается persona grata в доме. Его принимают в постели, пьют с ним чай, он читает «Апостол» во время молебна и сопровождает графа в Лавру, куда тот едет прямо с гауптвахты, после того как «простил купца», — его «допускают» на балу сидеть с музыкантами, причем он тайно уносит с собою ананас. Подарки ему идут crescendo. Сначала лягавый кобель, потом пенковая трубка, которая «была с покойным графом под Бородиным, а ему подарена фельдмаршалом», наконец, к еще большему сокрушению старого слуги, графская соболья бекешь и шляпа... В дневнике оказываются вырванными более половины страниц, относящихся к целому лету, так что продолжение его начинается с переноса «...а она склонности к нему не имеет и как по замечанию хочет себя соблюсти и выговаривала на счет жизни и что в карты играет, а он на коленках плакал и божился цыганский дух из дому вывести и образок покойной графини целовал, а она его по голове гладила и как бы сама прослезилась»... Все, однако, как видно, остается попрежнему, только отец Веры Афанасьевны забирает все бо̀льшую силу. К концерту, в котором его дочь будет играть, модный портной шьет ему, за счет графа, новый коричневый фрак со светлыми пуговицами и белый жилет; приехав пьяный на лихаче и не будучи допущен, в отсутствие графа, в его кабинет, он буянит и требует денег на извозчика. «Обругал нас всех, прирожденных дворовых графских слуг, холуями, — записано в дневнике, — а Владимира налаживался бить, но только тот присутствия духа не потерял и сказал: «тронь!» После концерта все поехали к Яру, а оттуда приехали в дом в два часа ночи. Веру Афанасьевну граф и его приятель Линев ввели на лестницу под руки, — она хохотала и била, как бы в шутку, Линева веером, — говорила, что у нее голова кружится, что она пьяная, и действительно, как мною замечено, глаза у нее помутились. Приказано в шампанское налить мараскину. Граф стоял на коленях и целовал у нее руки, а она — то расхохо-

чется, то заплачет. Все спрашивала — где отец? А Герасиму приказано возить его, пьяного, по всей Москве и из саней не выпускать. На руках снесли в желтую гостиную и заперлись. Как ударили к заутрени, вырвалась из гостиной развращенная, металась по всему дому, кричала и кусала руки. Граф был в бесчувствии. Бросилась в переднюю, хотела бежать на улицу: прислуга не допустила. Линев с кучерами завернул ее в салоп и велел кучеру Трофиму везти домой, а тот пьяный, не понявши дела, свез ее в Екатерининскую больницу». — Это происходит во вторник, — в воскресенье «об случае в нашем доме говорит вся Москва», а в понедельник «Вера Афанасьевна скончалась в Екатерининской больнице и, как полагают, от каких-то порошков». — Через неделю дневник обрывается окончательно следующею записью: «Графа свезли на гауптвахту. Завтра весь дом пригонят к присяге. Упокой, господи, раба твоего графа Павла и рабу твою Софию, — сестру мою рабу Надежду, и дочь ее Любовь, и меня грешного с ними совокупи! Глаза бы на свет не глядели...» Рассказывая об участи «Веры Афанасьевны», дневник не только передает правдоподобное и вполне возможное по условиям места и времени «описание жизни в доме его сиятельства», но действительное событие, рисующее собою, между прочим, и высоту наших дореформенных судебных порядков. Это разбиравшееся в Москве, в конце сороковых годов, ужасное дело о семнадцатилетней фигурантке московских театров Аршининой, проданной своим отцом, театральным музыкантом, знатному человеку, который напоил ее возбуждающим раствором и привел тем в состояние полового бешенства, коим воспользовались кроме него и другие негодяи, окружавшие его. Несчастная девушка возвращена домой лишь на третий день, с разрушительным местным воспалением и омертвением и в состоянии полного сумасшествия, из которого не выходила до самой своей страдальческой кончины. Московские судьи того времени нашли справедливым и непостыдным ограничиться отдачею главного виновника в солдаты или военные писцы с выслугою и без потери прав и присуждением отца жертвы за *потворство разврату дочери* к трехмесячному лишению свободы...

Составление исторических рассказов имеет одну особенность, отмеченную еще Монтескье. Авторам их приходится вплетать в свой труд *вымышленные* факты, основанные однако на фактах *верных*, или естественно из них вытекающие. Выходя за пределы простой и бесцветной хроники событий и исследуя их общую связь, причины и последствия, автору, желающему в живых образах и красках представить, *как именно* произошло или совершалось то или другое и как проявлял себя тот или другой деятель, приходится воссоздать это путем фантазии и психологического анализа человеческой природы и *однородных* отношений. Быть может, действительность была и несколько иная; быть может, на пути психического развития описываемой личности были существенные отклонения от теоретически намеченного автором, но если настоящие, не подлежащие спору, факты и сведения таковы, что дают *право* на сделанные выводы, которые, в конечном результате, приводят к тому же, что было и в действительности, то у произведения нельзя отнимать названия *исторического*, ибо оно правдоподобно передает смысл и значение былого... Даже строгий историк не всегда может вытравить из себя художника и оградить свое *исследование* от *воссоздания*. Достаточно припомнить Маколея и Костомарова и в особенности Шерра в его «Menschliche Tragikomödie», или Карлейля в его «Истории французской революции». Не даром Эдмонд Гонкур говорит: «L'histoire est un roman qui a été, — le roman c'est l'histoire qui aurait pu être».[1]

Мы видели у Горбунова изображение домашнего строя, имеющее полную житейскую достоверность и опирающееся в существенной свой части, в последовательном заключительном аккорде, на факт, занесенный на темную страницу исторической хроники нашего суда. Но есть у него и явно вымышленный рассказ, который тем не менее имеет историческую правдоподобность, благодаря яркому и верному воплощению существовавших личностей, в котором чувствуется долгое и внимательно-

[1] История — это роман, который был, а роман — это история, которая могла бы быть.

ное изучение действительных и непререкаемых исторических данных. Это — сказание «о некотором зайце». В нем как живой, со своим особым, полумистическим, деланным слогом, встает архимандрит Фотий, зловещий лицемер, то раболепно, то назойливо вопиявший к «мечу светскому» и умевший ловко приспособиться к жестокости официального смиренномудрия начала двадцатых годов; несколькими словами тонко очерчено отражение влияния Фотия на министре духовных дел и исповеданий князе А. Н. Голицыне и на местных «правительствах», поставленных между невольною боязнью доносов юрьевского архимандрита и страхом перед мрачными фигурами графа Аракчеева и его любовницы — крестьянки Настасьи Минкиной, о которой тогдашний министр внутренних дел Кампенгаузен писал временщику: «Дозвольте, мой милостивец, чтоб я вас мог с чистого сердца поздравить с наступающей именинницей вашей!» — «Вчера, в четверток, после малого повечерия, — пишет Фотий князю Голицыну, — в тонцем сне пребывал и присные мои дали покой очима своима и веждома своима дремание. И се глас нечеловечь, а собаки некоторые лаяли и визжали и ко святым вратам бросались, а всадники на конях трубили в трубы и хлопали бичами. Я выслал служку вопросить — какие ради нужды монастырь окружили? Некий человек, подобием мифологический центавр, ответствовал — якобы заяц в монастыре скрывается. А у меня заяц в монастыре давно пребывал, под камнем жил (писано бо есть: «камень прибежище заяцем») и кормил я его руками своими и того зайца центавры из монастыря изгнали и псам на растерзание отдали, а некоторая пестрая псица старцу Досифею рясу, подаренную Анною, изорвала. Защити, друг великий!» — Князь Голицын очевидно боится быть невнимательным к просьбе своего «друга», который, в случае надобности, сумеет, конечно, обратиться и в ядовитого недруга. Он спешит написать новгородскому губернатору и, довольно двусмысленно отвечая Фотию, что он «очень грустит, что нарушили *безмолвие* последнего, необходимое *для спасения души*», тут же подделывается под его тон, находя, что «враг темный и оскверненный всегда с нами и за

нами и несть, яже укрыться от него...» Новгородский губернатор оказывается, однако, человеком довольно наивным, хотя и исполнительным. По собранным им *лично* сведениям, заяц затравлен дворовыми Аракчеева «по приказанию Анастасии Феодоровны, для ее стола и сдан повару Порфирию». Эти же дворовые застрелили трех *частных* гусей дьякона Островидова и изжарили крестьянскую овцу, делая все это именем Анастасии Феодоровны... Дело начинает принимать скверный оборот, ибо таким образом обнаруживается, что «враг темный и оскверненный» — не кто иной, как наложница всемогущего временщика, даже заочно называемая не иначе, как только по имени и отчеству... Но находчивый и еще более исполнительный капитан-исправник в два-три хода разыгрывает запутанную партию, чреватую последствиями. «Получив словесное повеление вашего превосходительства, — рапортует он губернатору о расследовании затравленного зайца, — оный заяц по *негласным* сведениям и *присяжным* показаниям оказался не монастырским, монастырский же, по поймании оного, будет доставлен отцу архимандриту. Касательно гусей, то отец дьякон от оных отказался и признал таковых *перелетными*, а люди, распространявшие тревожные слухи, заключены в тюремный замок».

Дело покончено — и в том, *как* оно покончено, нет ничего неправдоподобного. Если вдуматься, то за дьяконом, вынужденным признать своих гусей перелетными, и за «влетевшими в острог» владельцами овцы нарисуется целая картина раболепной суматохи и всякого насилия, предпринятого для «замазанья» дела. И картина эта едва ли даже преувеличена. Стоит вспомнить хотя бы приводимые Ровинским, в его речи к судебным следователям в 1860 году, примеры того, как производились следствия во время его молодости, т. е. уже в сороковых и пятидесятых годах. Эти крестьяне, высланные в Москву из Рязанской губернии *по этапу* для отобрания от них подписки, что они представят *украденные у них* тулуп и поддевку для оценки, забытой при возвращении вещей; эти купцы, жалующиеся на кражу у них четырех боченков сельдей и попадающие, совершенно неожиданно, сами под следствие о том,

откуда они сельдей взяли и имеют ли право торговать ими; этот мещанин, томящийся в остроге по обвинению в *праздной езде* по улицам, — конечно мало чем уступят дьякону с гусями и крестьянам с овцою...

Видев лично и пережив ту тьму, которую сменил свет преобразований Александра II, Горбунов с душевной радостью рисует признаки обновления, совершавшегося у него на глазах. Не раз в своих позднейших произведениях с глубокою благодарностью обращается он к памяти Освободителя. Но движение вперед и изменение сложившегося строя не может, несмотря на свою желательность и историческую неизбежность, не иметь и теневых сторон. Городская жизнь, чрезвычайно развивавшаяся в последние годы, с ее фабриками, отхожими промыслами и нездоровыми приманками — действует на деревню в своем роде опустошительно, внося разложение в ее нравственные бытовые устои. Горбунов, со свойственной ему правдивостью, отмечает это влияние. «С.-Петербург от нас далеко, говорит у него «в дороге» крестьянин-извозчик; — которые вот с нашей стороны живут там в половых, или по мастерству по какому, — придет в деревню и сейчас себя так означает, что с нашим мужицким разговором и не подступишься. Куцую штуку наденет, спинжак, что ли, по-ихнему и так он понимает, что в спинжаке в этом вся сила... Беда эти санкт-петербургские спинжаки. Другой горечь, а доказывает!» — «Не по закону ты жить стал», — говорит старуха записавшемуся в мещане. — «Тетушка Матрена, — отвечает тот, — надень спинжак-то, и ты по-другому заживешь. В деревне за сохою ничего не обучишься, соха — она соха и есть. Простой кто ежели человек...» «Что ж ты соху-то позоришь? — прерывает его старый крестьянин, — соху-то нам бог в руки дал!» — «Матушка, Фекла Семеновна, один ведь раз живем, — восклицает купец, привыкший «чертить», — один раз живем!.. Помрем — все останется... Ведь не в лаптях ходим, голубушка, есть на что!..» «Что ты про лапти говоришь, — отвечает богатая старуха-купчиха, — я сама в лаптях хаживала. Ты лапти не кори». — «Я не к тому.» — «То-то не к тому! Покойник сертук-ат надел, когда весь свой

полный капитал скопировал, да и то, бывало, говорит: неловко, Семеновна, давай опять поддевку надену — поддевка-то, говорит, нас с тобой выкормила...»

X

Не одна разговорная великорусская речь, в ее видоизменениях сообразно общественному положению изображаемых лиц, была искусным орудием в умелых руках Горбунова. Знаток бытовой истории древней Руси, он превосходно владел языком различных периодов XVII и XVIII веков. Этим языком писал он письма к приятелям, на нем излагал многие свои рассказы и представлял оценку разных событий, бытовых явлений или официальных порядков. Но не в одном выработанном внимательным изучением источников языке состояла художественная особенность Горбунова. Он умел всем своим умственным складом переселяться в эпоху, соответствующую языку, понимать и улавливать ее особенности и говорить о том или другом современном нам явлении, оставаясь в пределах миросозерцания той эпохи и общественной среды, к которой принадлежал пишущий или говорящий. Он пренебрегал нетрудною, при известном знании языка, задачею — изобразить мысли и взгляды *нынешнего* человека словами и оборотами старинного языка; у него за безупречною точностью этого языка всегда слышался и современный языку человек, в том виде, в каком нам представляют его историко-бытовые исследования Соловьева, Забелина, Костомарова, Пыпина, Тихонравова и др. Поэтому, когда какая-нибудь грамота или письмо Горбунова переносят читателя в давно-прошедшее время, яркими чертами рисуя тогдашнюю действительность, перед ним встают: воевода на далекой границе русского царства, посланный за западный «рубеж» боярин, подъячие, приказные, подсудимые, московские «запойные и заблудные» люди, — и, наконец, сам «верховой (т. е. придворный) скоморох Ивашка Федоров», как любил называть себя И. Ф. Горбунов.

Замечательным доказательством глубокого искусства, с

каким владел старым русским языком Горбунов, служит, между прочим, указание Т. И. Филиппова на то, что составленное им описание поездки русского боярина в Эмс ввело даже книжных археологов в недоумение, так что ученый знаток старины П. И. Савваитов счел это описание за копию с подлинного статейного списка XVII века и удивлялся, что уже и в то время за границею существовала рулетка. Точно также ввел многих компетентных лиц в заблуждение относительно своей подлинности, благодаря своему выдержанному языку, и составленный Горбуновым указ царя Алексея Михайловича о немцах и еретиках.

Ряд шуточных приветствий и наставлений, написанных Горбуновым на церковно-славянском языке, показывает, что и с ним он был знаком основательно и мог бы, пожалуй, не уступить в этом знании Костомарову, оставившему много превосходных писем на этом языке, образчиком которых может служить недавно опубликованное письмо к Н. П. Барсукову от «недостойного и паче всех человек грешнейшего старца Николая еже на реце Неве суща», от 24 ноября 1862 г. Вот, например, «статьи, како увещевати глаголемого лампописта», — т. е. москвича, излюбившего приготовляемый в лучших московских трактирах особый напиток из пива, сахара, лимона и поджареного хлеба, называемый *Лампопо* (пополам). «Рци ми, о лампописте, коея ради вины к душепагубному и умопомрачающему напою — алемански же речется лампопо — пристал еси? Не веси ли, о лампописте, егда ти сущу в пьянственном пребывании вси беси великого града Москвы, со слободы и посады, ликоствуют и гласом радования восклицают: се, книжник лампопистом содеяся и сыном отца нашего Вельзевула учинися; руками плещут, очима помизают. Оле, твоего безумия лампописте! Не имаши тайного зрения и не разумееваеши, яко в белых ризах, окрест тя стоящие, не слузи гостинника Тестова, а беси ярославские, от них же главоболезненные напои приемлеши; не веси, нерадения твоего ради, яко дым, исходящий из сосуда — дыхания Вельзевуловы суть».

Мы говорили уже о том, как интересовала Горбунова су-

дебная реформа. Видевши во всей красе простоту и стремительность старого административного суда в московских захолустьях, отправляемого полицейским комиссаром, он описал свои впечатления по поводу воспоминаний о редкой раскольничьей рукописи, будто бы озаглавленной «о некотором комиссаре, како стяжал, и о купце», в которой яко бы говорится: «не бог сотвори комиссара, но бес начерта его на песце и вложи в него душу злонравную, исполненную всякие скверны, во еже прицеплятися и обирати всякую душу христианскую». Немногим лучшие впечатления вынес он и из знакомства с общими судами и теми паразитами, которые ютились около них, благодаря формальным узам, опутывавшим преисполненное всякого рода затяжек и отсрочек судопроизводство, не имевшее дело с живым человеком, а лишь с ворохом бумаг. В рассказах его мелькают яркие фигуры «иверских» юристов-дельцов и ведомых лжесвидетелей, заседавших в Охотном ряду в трактире «Шумла», где «ведалось ими и оберегалось всякое московских людей воровство, и поклепы, и волокита». Любящая народ душа Горбунова почуяла всю важность судебного преобразования не только в смысле водворения правосудия, но и в смысле поднятия народной нравственности. Он стал посещать суды, живо интересуясь не одним исходом дел, но и самым их процессуальным движением, вникая во все его особенности. Ему чрезвычайно был дорог в особенности суд присяжных. Исход и самое возбуждение таких дел, как напр. дело властного миллионера Овсянникова, обвинявшегося в поджоге мельницы, или дело опиравшейся на обширные связи игуменьи Митрофании, немыслимые при старых судебных порядках и связанных формальною рутиною деятелях, радовали его несказанно и служили материалом для разнообразнейших вариантов в его рассказах в дружеском кругу.

Живая мысль его переносилась в далекое прошлое и рисовала суд присяжных в рамках и условиях этого прошлого.

Результатом этого явился в 1878 году указ тогдашнему председателю петербургского окружного суда «*от государя, царя и великого князя окольничему нашему, Анатолию Федоровичу*».

«Били нам челом всяких чинов люди, — говорилось в указе, — емлют де с них в разбойном приказе подъячие деньги не малые, волочат и убытчат без рассудку. И нам бы, великому государю, их пожаловати — велети для сыску татинных и разбойных и убивственных дел быти человеку доброму, кому б в таких делех можно было верить. И мы, великий государь, всяких чинов людей пожаловали, велели тебе, Анатолию, сидети в разбойном приказе безотступно и всякие татинные и разбойные дела ведати. И кому грешною мерою учинится смерть, или который человек удавится или, вина опився, сгорит, или кто меж собою подерется хмельным делом и убьет, и про то сыскивать подлинно, — и которые людей волочат и убытчат, и тех людей ведати и оберегати и расправу промеж всякими людьми чинити безволокитно — и в поклепных искех, и в подмете, и в бою и в грабежу, и кто крадет, и разбивает, и до смерти людей убивает, и в какой сваре зубом ухватит и нос отъяст, — и женский пол и девич, которые, по насердке, на всяких чинов людей б... сказывают для своей бездельной корысти потому ж сыскивати накрепко всякими сыски. И кто в городе корчму держит и татинною рухлядью промышляет, и мнишецкого чину и гостиной сотни запойных людей и чаровниц и которые девки в скоморошестве оголяются, глазами помизающе, скверного ради смешения — сыскивати подлинно. А какова вора или татя или убийцу изымают и приведут и видоков ставить к кресту к целованию. А учнут видоки показывать подлинно и у него дворы и животы описывати и сажати в тюрьму до указу. И будет воровство его и в каких причинах он бывал сыщется до пряма, выняв из тюрьмы, судити в разбойном приказе при всенародном множестве, а в помочь ему ставити подьячего доброго, который бы вины его очищал. Да для сиденья ж в разбойном приказе пожаловали мы, великий государь, велели выбирать судей по двенадцати человек да по два из лучших, средних и молодчих людей, добрых, небражников, которые б были душою прямы и всем людям любы. И тех людей приведчи к крестному целованию, а доводчику велети воровы вины честь. А как доводчик вины его прочтет и тебе, Анатолию, ставити его с видоки

на очи и допрашивати на́крепко. А как подьячий учнет воровы вины очищать и против того подъячего потому ж говорить. А слушав ваших речей, выборные судьи пойдут в другую палату, за приставы, чтоб сговору какого промеж их с народом не было. А пришед в палату судят сопча боевой час и больши, чего вор доведется. И будет вышедчи скажут, что за вором вина есть и тебе судити по уложению. А будет учинишь ты не по уложению, а тот вор или тать или убойца или корчемник ударит челом в нашу царскую думу, что учинил ты не по уложению и того вора судить вдругорядь иными судьи. А тебе, Анатолию, будет учинил ты не по уложению с простоты — вины нет; а будет учинил ты по на́сердке на того вора, или татя, или убойцу, или корчемника — наша царская опала с записью в разрядной книге».

К этому же рода удивительным — по правдивости языка, по стилю и по краскам — документам относится написанная в семидесятых годах, во время возникновения в Петербурге обширного дела о скопческой ереси, челобитная самого Горбунова, будто бы вызванного в качестве свидетеля по подобному же делу в конце XVII века (когда и самой скопческой ереси еще не существовало) с рассказом о том, как и о чем он был допрашиваем. К сожалению многие существенные ее части, заключающие тонкую сатиру на одностороннюю оценку доказательств в подобных делах, неудобны для печати. Приходится ограничиться лишь небольшими выписками из этой жалобы Ивашки Федорова, который «бьет царю челом», и повествует, что «изыман я приставы и волочен пеш до губные избы и великие от того их волочения мне, сироте твоему, чинены убытки: однорядку вишневую, твое государево жалованье, изодрали всю без остатка и однорядочка к светлому дню у меня нет. И губной староста, да подьячий учали меня бить и за волосья таскать и истерзав довольно стали говорить распросные речи с пристрастием: «на Москве живучи, Ивашка, ты лихих людей знавал ли и за пьянством с ними ходил ли? и будет ты лихих каких людей знавал и еретичество их ведал, с Гурием на б...ню ходил ли? и ходючи с ним и т. д.». Следующие за тем вопросы поразительны по своей неожиданности, художественны в своей непосредствен-

ной наивности и в то же время вполне соответствуют сущности преступления, в котором обвиняется впавший в ересь Гурий. Допрос оканчивается требованием сказать: «и он, Гурий, убоину ел ли и смердящую бесовскую богоненавистную табаку пил ли? Да он же, Гурий, на Москве живучи, ежедень скрывался — и то тебе, кто скрывал и норовил ему, ведомо ль?» — Но усердие тогдашнего следователя, несмотря на энергические и чувствительные аргументы, предшествовавшие допросу Ивашки, не исторгает ничего полезного для дела по существу, ибо «я, сирота твой, памятуючи страшный суд, против тех распросных речей сказал прямо вправду: на Москве живучи в верховых скоморохах — лихих людей не знал; всяких заблудных, и зерщиков, и скоморохов, и мнишецкого чина и гостиной сотни запойных людей знал довольно — и за пьянством с ними ходил и *составные затейные слова* говаривал,а кто Гурия легчил, то мне неведомо, а он, Гурий, человек смирный». . .

Если приведенная выше грамота соответствовала идеальному для своего времени судопроизводству, то челобитная эта соответствовала печальной действительности, когда свидетель мало чем отличался от подсудимого. Стоит припомнить Котошихина, житие Аввакума и т. п. Вообще трудно жилось русскому человеку в XVII веке. С востока и запада враждебно окружали его иноземцы, возбуждая его крайнее недоверие, — чуждые ему по вере, по образу жизни, по языку, всегда могущие то угрожать силою, то действовать хитростью и коварством. Против всех надо было быть настороже. Но, зорко следя за ними издалека, не мешало узнать и поближе, что они за люди и каким обычаем живут. И вот из-под пера Горбунова выливается сначала письмо из Эмса, а потом, в 1885 г., донесение царского воеводы о битве на Кушке. «В нынешнем 377 году, — так начинается письмо, — прислана мне твоя, великого государя, грамота. Написано: ехать тебе, Ивану, в разные города немецкого государства и смотреть тех городов люди и нам, великому государю, отписывать. . . и ехав землями немецкого государства не грабить, не пьянствовать и с немцы разговорные слова говорить и ответ держать примерившись, с вымышлением,

боясь нашея опалы и жестокого истязания безо всякие пощады. А буде который начальный немецкий человек спросит — какие ради нужды послан? говорить: послан для его великих государевых дел. А даров ему не давать. А прилучится который немчин прошать будет, и тому дать кормы небольшие да деньгами на пиво, по три алтына на человека». Наш XVII век в своей речи и воззрениях так и глядит со всех строк письма! Оказывается, что «город Емца не велик, а стал он в горах, а в нем вода живая, и та вода шипит. . . и у которого человека нутро болит, али утин, али порча, али ина хворь, и дохтуры тоя болезнь своим дохтурством смотрят и ту живую воду велят пить и голым в той воде сидеть. А люди московского государства тоя воды не пьют, а пьют они ренское во множестве и здравы бывают. А ренское вино доброе . . .» Затем идет описание рулетки, столь смутившее Савваитова отпечатком правдивости, положенным на него искусною рукою Горбунова. «Палата построена каменная, — повествует боярин, — большая, а в ней сидит немчин и *выралетку вертит и прыгунца пущает* — беленький, не велик. А круг того немчины народное множество — и иных государств люди, и жиды, и езовиты, и женки, и девки, и старые бабы, и воровские заблудные люди — и кладут тому немчину золотые амбургские и угорские и ефимки, и немчин те деньги емлет и вралетку вертит почасту». Если царскому боярину пришлось увидеть много интересного за границею, то царскому воеводе (генерал-лейтенанту Комарову, разбившему афганцев на Кушке и занявшему город Пенде 18 марта 1885 года) пришлось пережить тревожные минуты, требовавшие стойкости и большой решительности.

Он стоял с «великого государя ратными, пешими и конными людьми на Кушке-реке, и ведомо ему учинилося, что аглинские люди ссылаются с афганским мурзою и говорят воровские развратные речи, наговаривая, чтобы со своими татары съединячась к злому воровству их пристал и против твоих, великого государя, ратных людей, учинил бой, и мурза, предався в неискусен ум, тех речей слушал. . .» Желая кончить дело миролюбиво, воевода ссылается с мурзою, но тот указывает, что ему

велено слушать англичан, причем «королевин английский капитан» (сэр Чарльв Ует) посылает письмо воеводе, который отправляет своего уполномоченного (подполковника Закржевского) говорить с англичанами. «И съедчись говорили. Английские люди говорили: вы-де в Индею идете. А полуполковник с товарищи говорил: мы-де в Индеи будем, когда наш великий государь похочет. А таперьво мы в Индею не идем, — а пришли для береженья новых государевых городов, которые ударили челом великому государю, чтоб быть им со всеми людьми под его высокою рукою. — А будет государь ваш похочет и вы в Индею пойдете ли? — Коли великий государь, его пресветлое царское величество, похочет, и в том будет его воля, и мы в Индею пойдем того ж числа, как указ будет. — А зачем-де вам итти в Индею: у вашего государя земли довольно? — У государя нашего земель много, и в ум не вместится, а в Индею нам итти, чтобы милордам вашим и купцам и прочим королевиным английским людям над московским государством дуровать было негораздо. И как мы будем в Индеи и вам то будет за страх, а московскому государству утешение. — И пив боевой час ренское, разошлись». Вопрос остался открытым, а на утро мурза ударил с татарами на государевых людей, но они бились «крепкостоятельно», так что татары, «видя над собою великого государя ратных людей промысел и жестокий приступ и пожарное разорение — побежали розно, а английские люди, сняв порченки, тож побежали, и город Пинжа от татар и английских людей очистился, а мурза английского королевина капитана за бороду драл: в своей-де земле вам не сидится, пришли к нам заводить смуту». «А город Пинжу (Пенде) я взял для прицепления оного к твоему великодержавному скифтру» — кончает воевода свое донесение, приобретающее, благодаря Горбунову, почти эпический характер по содержанию и по выдержанности языка.

Излишне доказывать верность этого языка и тона, господствующего во всех приведенных произведениях Горбунова. Каждый, читавший различные бумаги конца XVII века, оценит бытовую и стилистическую близость этих произведений к не-

сомненным подлинникам и даже законодательным актам, в роде Уложения царя Алексея Михайловича. Достаточно привести хотя бы находящийся у нас под руками отрывок из следственного дела 1692 года: «да он же Дмитрий Тверитинов, будучи перегибателен не токмо духом, но и телом, и утешно-вежливо говоря и мастеря, совратился в люторову ересь — и других соврати. . .» или часть челобитной ушедшего из турецкого плена стрельца. «И шел я, — говорится в ней, — холоп твой Ивашка, с товарищи своими через многие земли наг и бос, и во всяких землях призывали нас на службу и давали жалованье большое, и мы, холопи твои, христианские веры не покинули, и в иных землях служить не хотели, и шли мы, холопи твои, на твою государскую милость. Милосердый государь, царь и великий князь Михаил Феодорович всея России! пожалуй меня, холопа твоего, с моими товарищи за наши службишки и за полонское нужное терпение своим царским жалованьем, чем тебе праведному и милосердому государю об нас бедных бог известит», причем на оборотной стороне челобитной имеется помета думного дьяка: «751 г. июня в 20 день государь пожаловал тому стрельцу. . . велеть дать корму по 2 алтына, а достальным всем детям боярским по 8 денег, казаком по 7, пашенным крестьянам по 6 денег, для того, что освободились без окупу и отослать под начало к патриарху для исправленья, для того, что у папы принимали сакрамент». Или, наконец, можно привести челобитную царю Алексею Михайловичу от первых русских актеров, подъячего Василия Мешалкина с товарищи, приводимую П. О. Морозовым в его «Истории русского театра»: «По твоему великого государя указу, отослали нас, холопей твоих, в немецкую слободу для изучения комидийного дела к магистру Ягану Готфрету, а твоего великого государя жалованья корму нам, холопем твоим, ничего не учинено, и ныне мы, холопи твои, по вся дни ходя к нему, магистру, и учася у него, платьишком ободрались и сапоженками обносились, а пить, есть нечего, и помираем мы, холопи твои, голодною смертию. Пожалуй нас, холопей своих: вели, государь, нам свое великого государя жалованье на пропитание поденный корм учинить, чтоб нам,

*

холопем твоим, будучи у того комидийного дела, голодною смертию не умереть».

Способность свою переноситься в XVII век, становясь в способах выражения и самом миросозерцании своем человеком этого века, Горбунов применял не только к очерку порядка вещей или событий более или менее значительной важности. Он любил излагать таким образом иногда мелкие происшествия своей жизни и вообще сноситься с приятелями, причем его юмор усугублялся челобитным тоном. Так, в альбом покойного Михаила Ивановича Семевского он записал целый шутливый рассказ о путешествии своем с товарищем своим Бурдиным по Волге и Каме, для совместного участия в спектаклях и чтениях. «Бьет челом, — пишет он, — сирота твой, государев, потешного приказа скоморох Ивашка Федоров. Жалоба мне, государь, того же приказа на скомороха на Федьку Алексеева. В нынешнем году сошел я на струге вниз по Волге реке до Перми великие для своих сиротских промыслишков. . .» Описав как к нему на струг (пароход) вышел у Работок на встречу товарищ и «крест целовал, чтобы ехать вместе и что божьей помощью испромыслим делить на две стороны ровно, а ему чтобы развратные речи не говорить и не ругаться; а мне, Ивашке, едучи с ним, с Федькою, Камою рекою, на берег и в леса не сбежать», — Горбунов жалуется, что «ныне тот Федька, забыв страх божий и крестное целование, умышляет дурно: в расчетах творит хитрость, а себе корысть, ест псину и мертвечину и иное скаредное и пьет почасту; да он же, Федька, рейтарского строя с маеором играет в зернь и от той его игры стал он без порток. Царь-государь! смилуйся, — восклицает он, — пожалуй, чтобы мне от того Федьки не притти в конечное разорение.» — Так, в 1890 году, Горбунов написал послание в Москву, начинающееся словами: «ведомо нам учинилося» и содержащее в себе великолепный и подробный рассказ о том, как в белокаменной, во всех бражных станах и у «немчина Яра» в мясопустную седмицу пьянство приумножается и в каких действиях оно выражается. Рассказ этот, по характеру деяний «бражников», совершенно невозможен для передачи в печати, ибо описывает недвусмысленным

и любящим точность языком XVII столетия те безобразные сцены, которыми сопровождается обычный в некоторых слоях нашего общества и в народе масляничный разгул и «чревонеистовство», доводящее до разбирательства у мировых судей и выражающееся, между прочим, в том, что «в мясопустную седмицу на Москве все убогие дома и бражные тюрьмы полны увечными, избитыми, опившимися и умопомраченными». Послание кончается так: «и как к вам ся наша грамота придет и вы бы заказывали накрепко, чтобы московские люди от горького пьянства отстали и во всю мясопустную седмицу в домех своих сидели и во всяком благочестии пребывали, а кому, по нужде, сидеть не можно и те бы мимо бражных станов не ходили, а случится итти мимо бражных станов, шли бы не озираючись, памятуючи жену Лотову. А которые боярские дети не послушают и по бражным станам ходить будут и тех из бражных станов выбивать силою и сапоженки сымать и платьишко отбирать до указу . . .»

В начале XVIII века, в образный и цельный по своему источнику русский язык, особливо в язык официальный, вторглась масса иностранных слов, замутивших его чистоту и придавших ему новый, странный и очень часто несимпатичный характер. Одним из свойств его сделалась изломанность и деланность, с которыми потом пришлось бороться до XIX века, причем настоящий русский язык постепенно завоевал свои одно время поруганные права и наконец стал снова на высоту, вызвавшую трогательную просьбу Тургенева: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками, в числе которых блистает Пушкин, — обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием: в руках умелых оно способно совершать чудеса. . .»

Еще при Петре, в его распоряжениях, указах и законодательных актах, в его письмах слышится прекрасный старый язык наш. «Не суетный на совести нашей возымели страх», пишет он по поводу духовного регламента. «Не рабствуя лицеприятию, не болезнуя враждою и не пленяясь страстями», — говорит он в другом месте. Письма его, изданные академиком

Бычковым, полны оборотов и выражений конца XVII века, но иностранные слова уже часто внедряются среди них и сплетаются с ними, по временам без всякой нужды, не имея себе оправдания даже и в некоторой бедности старого языка для выражения отвлеченных понятий. «Воюя тайным коварством на истину во образе правды», — пишет Петр в одну из тяжелых минут своей великой и многотрудной жизни — и в то же время увековечивает в одном из указов, вставляемых, по его повелению, в зерцало, такие выражения, как «чинить мины под фортецию правды . . .» Но после Петра наш официальный язык, проникающий все более и более сверху вниз, портится гораздо сильнее, особливо при Анне Иоанновне и в первые года царствования Елисаветы Петровны. В указах говорится о «делах штатского течения», являются названия «парадная бета» (ложе), «каструм долорис» (при похоронах), «драдорная (drap d'or) материя», «синтура (ceinture) фунеральная» и т. п. Можно бы привести множество подобных выражений, указывающих ничем неоправдываемое пренебрежение к родному языку, но это не имеет отношения к предмету настоящего очерка. Мы упоминаем о языке XVIII века лишь для того, чтобы сказать, что и он был знаком Горбунову, хотя им он пользовался гораздо реже. Так история о некотором зайце начинается со следующего вымышленного письма Петра Великого, в котором в точности соблюдена даже орфография государя. «Мингеръ графъ. — Зазаеца благодарствую і тово заеца немешкаоъ на асамблеи съ ели і івашку хмельницкава многажды неленосно тревожили понеже заецъ вельми жыренъ былъ и шпігусомъ зело чіненъ чаели и животу не быть да сілою ідействіемъ івашки іпредстательствомъ отца нашего всешутейшаго Кvра живы сущі и ѳ здравіи пребываемъ і отомъ подлино вамъ отъ пісываю». Даря М. И. Семевскому редкий литографированный портрет цесаревича Константина Павловича с подписью: «Константинъ первой, императоръ Всероссійскій», бывший в продаже лишь самое короткое время и затем из нее изъятый после оглашения отречения великого князя от престола, Горбунов пишет: «Прилагаемая при сем персона (так в первой половине XVIII века назывался пор-

трет) сукцессора в надлежащей конфиденции у вас находиться имеет, и никому генерально оную не объявлять и от подлых (т. е. от простонародья) всячески скрывать надлежит, дабы какой бездельный человек малоумием своим сатисфакции не учинил и в тайную канцелярию о сем не донес; а я милостивцу впредь служить готов. . .» В одной из своих милых и продуманных письменных шуток, которую он любил рассказывать и на память, Горбунов последовательно разработывает один и тот же предмет на языке трех столетий, с тонкою обрисовкою перехода от добродушного индивидуализирования, свойственного распоряжениям старины, к формалистическим приемам, свойственным бюрократической практике настоящего.

«Бьет челом и плачется сиротишка твой, государев, разбойного приказа писчик Павлик», — начинается челобитная XVII века, в которой «писчик» объясняет, что приказано ему сидеть в приказе безотступно, получая половинное жалованье против других подъячих, да сапоги, да однорядку и шапку, — но так как первые поистлели, а вторая износилась, отчего «в приказ ходить нудно: пальцы прихватывает и ногам тягота великая» — то и просит велеть себя, сиротишку, обуть. На челобитной оказывается помета «объявлено государево жалованье: дать однорядку, да сапоги, да шапку».

Иная уже резолюция на челобитной XVIII века. Просителю приказано его сиятельством генерал-аншефом, генерал-адъютантом и Преображенского полка бригадиром быть в юстиц-коллегии у письменных дел без срока, а затем от той же коллегии последовало распоряжение — от оной коллегии отставить. «А мне, нижайшему, при холодной атмосфере, жить в резиденции невозможно. А посему. . .» — пишет он, и добивается неожиданного распоряжения — «определить ее императорского величества на молочный двор для смотрения, а корм оттуда же натурою». Нетрудно заметить тонкую разницу в характере и языке этих ходатайств. Писчик Павлик — при несложности правительственной машины своего времени обращается к власти, так сказать, непосредственно, ссылаясь лишь на то, что «он, сирота, сидючи в разбойном приказе, о твоем великого государя деле

радел. . .» Дворцовые перевороты средины XVIII в. и развитие служебного механизма сказываются во втором ходатайстве. Уже считается необходимым сослаться на то, что проситель определен на службу по приказанию сильного человека и быть может временщика, в роде Бирона, — и на то, что он, нижайший, служил «интересу» своей повелительницы. Очевидно, что между этим *нижайшим* и *сиротишкою* XVII века не даром протекло целое столетие воспоминаний и наблюдений. Пришлось сделаться не простым просителем, а дипломатом. И как умел Горбунов придать последней челобитной надлежащую окраску! Как невольно видится за нею целый период истории, про который граф Никита Панин докладывал Екатерине II: «Сей эпок заслуживает особое примечание, в нем все было жертвовано настоящему времени, хотениям припадочных людей и всяким посторонним малым приключениям в делах», и когда не только просители из «сирот» обращались в «нижайших», но когда даже сенаторы подписывались «всеподданнейшие и природные В. И. В. рабы», а генерал и обер-прокуроры называли себя, в официальном рапорте 1744 года, «по присяжной всеподданической рабской должности и верности всепоследнейшими рабами».

Прошение XIX столетия, — склонного вообще стушевывать личность пред государственными или даже фискальными требованиями, — не потребовало много времени на прочтение. «Прослужив беспорочно тридцать лет, — пишет проситель, — и не имея возможности, при настоящей дороговизне хлеба и мяса. . .» — «По непредставлению марок оставить без последствий», — отвечает ему резолюция надлежащего начальства. . .

XI

Отношение И. Ф. Горбунова к театру и сцене было двоякое. Он был в ряде своих исследований — историком русского театра. Он был с 1854 года артистом на сцене императорского театра, сначала в Москве, а потом, с 1855 г., — в Петербурге.

Роль театра в России была с половины XVIII века очень

видная. Его влияние на наши нравы несомненно, и бывали периоды, когда он являлся настоящею просветительною, в широком смысле слова, школою для общества. Не даром в воспоминаниях современников о сороковых годах, когда лучшие представители и наиболее яркие проявления благородных сторон общественного развития сосредоточивались преимущественно в Москве, мысль о сцене Малого театра почти неразрывно сливается с памятью о Московском университете — и имена Грановского, Иноземцева и Крылова переплетаются с именами Мочалова и Щепкина. Нельзя, быть может, сказать, чтобы русское общество было жадно на театральные зрелища, но что оно всегда было восприимчиво к тому, что ему дает сцена — это едва ли подлежит сомнению. Такая сознательная восприимчивость, рождающая строгую оценку и критику, помогла русскому театру, несмотря на его, сравнительно с западной Европой, недавнее существование, стать на надлежащую, а в некоторые годы даже и на завидную высоту. Еще при Екатерине II, всего через сто лет после проникновения к царскому двору представлений в роде интерлюдий или «малой прохладной комедии о преизрядной добродетели и сердечной чистоте в действе о Иосифе» — мы уже имеем национальную сцену с прекрасными исполнителями и собственным репертуаром. Неизмеримая пропасть лежит между пониманием публики, посещающей театр во второй половине XVIII века, и наивным взглядом посла московского царя к флорентийскому двору Лихачева, который писал в 1658 году: «Комедий было при нас во Флоренске три игры разных», причем его заинтересовало вовсе не содержание и исполнение пьесы, а то, что «объявилися палаты — и быв палата, и вниз уйдет, и того было шесть перемен; да в тех же палатах объявилось море, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят, а вверху палаты небо, а на облаках сидят люди; и почали облака и с людьми на низ опущаться, подхватя с земли человек под руки, опять вверх же пошли; да спущался с неба на облаке сед человек в корете, да против его в другой корете прекрасная девица; а аргамачки под коретами как быть живы, ногами сподрягивают. . .»

Вот почему история нашего театра достойна глубокого и внимательного изучения. Это, вместе с тем, в значительной степени и история господствующих в обществе настроений и вкусов. Но исследование ее может быть производимо с троякой точки зрения. Можно направить труд на систематическое изложение введения и упрочения театра в России, правительственных мер, направленных к этому и постепенного развития в театральном деле частного почина. Это будет, так сказать, *внешняя история театра*. Можно сосредоточить изучение на проявлениях влияния театра на народ и на значении его, как одного из факторов развития общественного самосознания и художественного понимания, изобразив постепенное изменение репертуара и, если можно так выразиться, взаимодействие сцены и зрительной залы. Это будет *внутренняя история театра*. Можно, наконец, обратиться к жизни и личным свойствам представителей сценического искусства, к особенностям их дарования, к их способам исполнения — и в ряде живых образов показать, *как* понимались и истолковывались подлежащие сценической передаче произведения искусства в разные периоды существования у нас театра. Это будет в сущности самая трудная, но и самая интересная *критико-биографическая история сцены*. Нет сомнения, что полная история русского театра должна заключать в себе все три рода исследований. Но такой истории, требующей громадного труда, знания и личных сведений, у нас еще нет. Есть лишь ряд чрезвычайно почтенных ученых исследований Тихонравова, Морозова и др., преимущественно по внешней истории театра, есть интересные опыты изучения внутренней истории его. Но критико-биографическая часть разработана сравнительно гораздо меньше. Отдельные воспоминания и записки современников слишком отрывочны и субъективны, исторические материалы для точных выводов еще недостаточны и не всегда строго проверены — и в попытки критико-биографической истории театра иногда вносится, быть может невольно, значительный элемент фантазии. Между тем, славные имена русской сцены — Волков, Плавильщиков, Резанцев, Шушерин и др. — заслуживают серьезных биографий.

Горбунов со строгою разборчивостью и кропотливостью археолога собирал точные данные для таких биографий, тщательно проверяя их достоверность и отмечая, не без боли, как он сам сознавался, разные позднейшие украшения и сочувственные вымыслы. Из его рук, в разных повременных изданиях, и преимущественно в наших исторических журналах, стали выходить фрагменты цельной и верной *биографической* истории театра. Он занимался этим делом очень усердно и был весьма строг к себе, лишь после долгой проверки выпуская в свет свои статьи или читая их в «Русском литературном обществе». На ряду с этим он собирал воспоминания о русских артистах, их портреты, письма, старые афиши, официальные бумаги, до них относившиеся, и т. п. [1] Из этих предметов, из этих вещественных воспоминаний о прошлом составилось ценное собрание, помещенное им в фойе Александринского театра. Горбунов охотно отдавался воспоминаниям о прошлом русской сцены, которую любил искренно и горячо желал видеть всегда на неизменной высоте. Он благоговел пред именами Садовского и Мартынова. Садовский разбудил в нем талант рассказчика. Встречаясь с Горбуновым в молодой редакции «Москвитянина», он имел на него громадное влияние. Будучи сам превосходным рассказчиком, владея в совершенстве даром говорить вызывающие неудержимый смех вещи с самым серьезным лицом, Пров Михайлович дал своими рассказами первый толчок вдумчивому

---

[1] В «Русской Старине» и «Русском Архиве» напечатано много разнообразных материалов для истории русского театра и биографических данных о его деятелях, доставленных и приведенных в порядок И. Ф. Горбуновым. Таковы, например, статья «Александр Евстафьевич Мартынов», составленная из писем и документов, относящихся к болезни, смерти и погребению знаменитого артиста («Русская Старина» 1891 г.); «Дневник инспектора репертуарной части российской труппы с 1829 по 1839 г.» А. И. Храповицкого («Р. С.» 1879 г.); письма к И. И. Сосницкому Гоголя о постановке «Ревизора» в 1846 г. («Р. С». 1872 г.), Асенковой, Брянского, Линской, Мочалова, Щепкина, Рязанцева, друзей и сослуживцев («Р. С». 1880 г.); письма, заметки, эпиграммы, шутки и послания Ленского («Р. С». 1880 г.); записка П. С. Федорова о театральной цензуре, 1859 г. («Русский Архив» 1896 г.).

юмору Горбунова. Последний однако не был его подражателем, а пошел своею дорогою, не переставая чтить и прославлять своего «пробудителя». У Садовского было, повидимому (к величайшему сожалению, рассказы его не собраны, и те, кто их слышал лично, постепенно сходят в могилу), больше соли, но и больше сочиненности в том, что он передавал в дружеской беседе. Его повествования о французской революции, о Наполеоне на острове Эльбе, причем слово Эльба переделывалось более чем своеобразно, и другие рассказы были полны захватывающего юмора. Стоит припомнить описание острова, на котором заточен великий полководец: «ни воды, ни земли, — одна мгла поднебесная и союзный часовой ходит!» Несомненно, что так *мог* говорить простой русский человек, поставленный в исключительное положение рассказчика исторического эпизода и передающий его по-своему, но у Горбунова этот русский человек, представленный в условиях своей обыденной жизни, проще и глубже. У Садовского — особенность языка, картин и выражений; у Горбунова — не только это, но и особенность миросозерцания и отношения к жизни. Русский человек у Садовского нам забавен, у Горбунова — нам близок и понятен. . .

Когда в очерках Горбунова говорится о театре, в них, например в «Белой зале», в «Рыбной ловле» и др., постоянно упоминается с чувством благодарного уважения имя Садовского. «Ты знаешь ли, где скрывается талант у актера?» — спрашивает новичка старый провинциальный актер, Хрисанф Николаевич, и отвечает: «В глазах! Посмотри когда-нибудь в глаза Садовскому. . . А у Мочалова какие глаза-то были! Я имел счастье играть с этим великим человеком в Воронеже. Он играл Гамлета, а я — Гильденштерна. — «Сыграй мне что-нибудь». — «Я не умею, принц». Он уставил на меня глаза — все существо мое перевернулось. Лихорадка по всему телу пробежала. Как кончил я сцену — не помню. Вышел за кулисы — меня не узнали. — «Ты хочешь играть на душе моей, а не можешь сыграть на простой дудке!» — и губы старого актера дрожат, а глаза наполняются слезами. . .

Садовский и Мочалов не даром сливаются на памяти Хрисанфа Николаевича. Сам Садовский рассказывал, что когда, после многих мытарств, он поступил наконец в 1839 г. на московскую сцену, дебютировав в водевиле «Любовное зелье или Цирюльник-стихотворец» — ему пришлось играть маленькую комическую роль после представления «Короля Лира». Занавес над умершим страдальцем-королем опустился, театр гремел от рукоплесканий. Вполне уже одетый, Садовский встретился за кулисами с Лиром — Мочаловым, шедшим в уборную, — и тот взглянул на него так, что Садовский совершенно потерялся. Пред ним стоял вовсе не Мочалов, а настоящий король, «король от головы до ног», и столько было мрачного огня, душевной муки и глубины в его взоре, все еще как будто устремленном на Корделию, что у будущего знаменитого артиста почти подкосились ноги. Образ Садовского сливался у Горбунова с воспоминанием о собственном его дебюте в Москве, в 1854 году, который совершился под руководством и с благословения Садовского, в бенефис последнего, причем Горбунов играл роль молодого купца в пьесе Владыкина «Образованность».

Образ другого знаменитого артиста, служителя и творца жизненной правды на сцене, А. Е. Мартынова, дорогой и близкий Горбунову, был у него, по его личным заявлениям, неразлучен с воспоминанием о постановке на петербургской сцене «Грозы» Островского, в которой Горбунов играл свою лучшую роль — Кудряша. Горбунов благоговейно собирал все, что относилось к памяти о Мартынове, и часть добытых им материалов о последних днях жизни и кончине его поместил в «Русской Старине». Те, кто видел этого по истине великого русского артиста, не забудут, не в состоянии забыть его — и не передаваемые звуки голоса молодого Кабанова пред трупом жены: «Это вы ее убили, маменька, вы!» — конечно часто звучат в их ушах при мысли о Мартынове. Тяжела была судьба этого богато одаренного человека. . . Поступив, благодаря совершенной случайности, в театральное училище в Петербурге, он был предназначен быть «первым танцовщиком», затем готовился в декораторы и, наконец, был выпущен на сцену, на комические

роли. Он исполнял их мастерски. Не даром известный итальянский певец Лаблаш, сам выдающийся комик, на вопрос —чему он смеется, глядя на игру Мартынова на неведомом ему русском языке, отвечал: «По-русски я не понимаю ни слова, но я *понимаю Мартынова*». Но комизм был не исключительною и не главною чертою таланта Мартынова. В смехе русского человека почти всегда есть нота затаенной скорби. «Горьким смехом моим посмеюся»! Была эта нота и у Мартынова, и какая нота! Медленным и тяжелым путем вела его судьба, заставляя смешить публику, смешить заразительно и неудержимо, в то время когда под его «видимым смехом» давно уже накипели «незримые миру слезы». Эти слезы пробились, наконец, благотворною и возвышающею душу струею в строго драматических ролях Мартынова — в пьесе Чернышева «Не в деньгах счастье» и в особенности в «Грозе» Островского. На месте актера, одно появление которого еще недавно в каком-нибудь нелепом водевиле в роде «Дона Ранудо де-Калибрадос или что и честь, коли нечего есть» (sic), возбуждало громкий, заранее готовый смех зрительной залы, — внезапно вырос человек, властно и могущественно заглядывающий в самую глубину потрясенного сердца зрителей и силою своего гения делающий его лучше, чище, добрее. . . Роль молодого Кабанова была апогеем славы Мартынова, она же была и его лебединой песнью. В августе 1860 года его не стало. Восприимчивое общество шестидесятых годов почувствовало свою потерю, и похороны высокого художника, привезенного из Харькова, были первообразом того, что пришлось впоследствии видеть на похоронах Достоевского и отчасти Тургенева. «Гроза» была поставлена образцово во всех отношениях. Линская была удивительная Кабанова. Холодом веяло от нее. Снеткова создала поэтический и цельный образ Катерины, а сцена свидания Кудряша-Горбунова с Варварой-Левкеевой была проведена им с такою жизненною правдою и эстетическим чутьем, что заставляла забывать, что находишься в театре, а не притаился сам, теплою весеннею ночью, на нависшем над Волгою берегу, в густой листве, в которой свистит и щелкает настоящий соловей.

Горбунов дебютировал на петербургской сцене 16 ноября 1855 года, в бенефисе Леонидова, в пьесе Стаховича «Ночное», и вслед затем выступил публично рассказчиком сцен из народного быта. В этой последней роли являлся он преимущественно и всего охотнее во все время своей сценической службы. Здесь он был самим собою, не стесненный в своем творчестве заранее данными рамками и задачею. Он вступил на сцену в счастливую эпоху перерождения театрального репертуара. Герои мелодрам и трагедий, которым приходилось, например, предлагать злодею пить яд не только под «ножом Прокопа Ляпунова», но даже и «под анафемой святого царства», — уступили место представителям так называемых «фрачных ролей», и тонкий художник, как В. В. Самойлов, не был более вынужден изображать чухонца и петь ломаным языком якобы патриотические куплеты, в роде: «лайба плыл моя не пуст, как я шел на Таваст-гус . . .» Сцена приблизилась к жизни, и драматургия наша, под влиянием Островского, Потехина, Чернышева и др., стала проще, и выше, и серьезнее. В бытовых ролях комедий Островского Горбунов бывал нередко очень хорош. Мы уже говорили о Кудряше, в лице которого он изобразил памятную и типическую фигуру. Не менее хорош был он в Афоне («Грех да беда на кого не живет») и в Грише («Воспитанница»). Но вообще говоря, он был актером посредственным. Некоторые мелкие подробности в гримировке, в одежде иногда бывали у него чрезвычайно удачны и поражали бытовою правдивостью, но в общем его исполнение в комедиях современного репертуара, написанных на тему той или другой злобы дня, совсем не выделялось над общим уровнем. И это оттого, что он сам был вполне самостоятельный художник, сам творец, а не только истолкователь содержания чужих произведений. Его самобытная и творческая натура, чуждая условных и предвзятых приемов и способов, вовсе не была склонна к простому, хотя бы и талантливому выполнению данного рецепта. Поэтому за исключением некоторых, пришедшихся ему вполне по душе ролей, пред зрителем всегда стоял Иван Федорович Горбунов, а не представляемое им, выведенное автором лицо. Но так как автор не

всегда имел в виду изобразить именно Ивана Федоровича, то видевший Горбунова на сцене часто и не выносил из игры его какого-либо яркого впечатления, подобного выносимому из сцен, передаваемых им в качестве рассказчика.

Не представляя ничего выдающего как актер, Горбунов, однако, глубоко понимал сценическое искусство и любил его сознательно, тревожась за его судьбу всегда, когда оно, по его мнению, уклонялось от своего настоящего пути. . . Любил он и его представителей, с их трудными шагами в начале, с их тернистым, несмотря на успехи, путем — позже. В его очерках есть полные теплого участия картины быта провинциальных актеров. Жизнь многих из них, полная лишений, неуверенности в завтрашнем дне, тягостных отношений с антрепренерами, траги-комических встреч с «меценатами», разочарований в себе на ряду с болезненным самолюбием и самообольщением, проходит пред читателями этих очерков.

«Ну, бог тебя благословит, — говорит старый актер Хрисанф Николаевич молодому человеку, начинающему свою артистическую карьеру, — может, посчастливится, будешь знаменитым актером . . . Да, путь наш узкий, милый человек, и много на нем погибло хороших людей. Мельпомена-то бывает бессердечна: выведет тебя на сцену в плаще Гамлета, а сведет с нее четвертым казаком в «Скопине Шуйском». Старайся! Не свернись! Вышел в сцену — забудь весь мир. Ты служишь великому искусству!»

В этих же очерках встречаются очевидно выстраданные замечания очевидца тех перемен во вкусах и настроении публики, которые невольно пережила наша сцена. Горбунов отмечает, как летописец, целые эпохи в истории современного сценического искусства в России. Он описывает публику низшего уровня в смысле развития, и впечатление, произведенное на нее, когда в половине 60-х годов «с обнаженными чреслами» показалась на сцене «la Belle Hélène», от чего встрепенулось и молодое поколение, и старцы, и охватила, — говорит Горбунов с горечью, — оперетка все мое любезное отечество «даже до последних земли». Где не было театров, она располагалась

в сараях, строила нáспех деревянные павильоны, эстрады в садах и т. п. Появились опереточные антрепренеры из актеров, из прожившихся помещиков, из артельщиков, был один отставной унтер-офицер, один лакей и т. п. Бросились в ее объятия достойные лучшей участи девушки, повыскакали со школьной скамьи недоучившиеся молодые люди, актеры всех столичных и провинциальных театров были «поверстаны» в опереточные певцы... «Даже слава и гордость русского театра,— продолжает он с негодованием, — П. М. Садовский, уступая не духу времени, а требованию начальства, должен был напялить на себя дурацкий костюм аркадского принца». Когда, таким образом, драма была вынуждена, — по выражению Горбунова, — «посторониться», что обошлось не без борьбы, на помощь оперетке вдруг появился *куплет*. «В один прекрасный вечер, выскочил на сцену в черном фраке, — повествует Горбунов, — куплет и запел:

Денег в России нет, — смело
Каждый готов произнесть.
Нет у нас денег на дело —
На безобразие есть!

— Браво! — закричали поврежденные нравы и задумались.

— Правда! Чудесно! — закричал Назар Иванович, поглядывая на Ивана Назарыча: — расчесывай, расчесывай хорошенько! — И стал куплет расчесывать поврежденные нравы. И распространился тоже по всему лицу земли русской и засел не только в театре, но и в клубах, в трактирах, даже на открытом воздухе... Почтительно отошел в сторону и дал дорогу куплету веселый водевиль, много лет царивший на сцене...»

XII

Наш беглый и далеко не полный очерк творческой деятельности вполне народного художника закончен. Остается добавить к нему краткие сведения и воспоминания о личности И. Ф. Горбунова.

Приходится поступить вопреки обычному правилу француз-

ских авторов, которые ставят впереди «l'homme», а затем изучают «l'oeuvre». Быть может, в некоторых случаях, где человек и его дело не сливаются между собою органически, или где известные части того, что он произвел, не могут быть достаточно ясно поняты и оценены без знания свойств его ума и характера и особенных условий его жизни — такой прием и необходим, облегчая задачу исследователя и труд читателя. Но это нужно далеко не всегда. Часто в практической деятельности человека, в его творческой работе высказываются сами собою такие свойства его личности, что существенные и достойные сохранения от забвения черты его духовного образа выступают сами собою, свободные притом от излишних подробностей. Разве в борьбе Ровинского с дореформенными судебными порядками, в его работе по созиданию судебных уставов и в его исследованиях в области русского искусства не чувствуется его нравственный и художественный облик? Разве д-р Гааз, вопиющий в тюремном комитете, провожающий далеко за Москву идущие по этапу партии арестантов и грозящий губернатору «ангелом господним», который ведет «свой статейный список», не виден в этом со всею своею глубоко-любящею и гневною за людей душою? Так и Горбунов смотрит из совокупности того, что он писал и рассказывал, всею своею личностью. Для внимательно перечитавшего его разбросанные сцены, припомнившего его рассказы и вдумавшегося во все это, должно становиться ясным, что и как чувствовал и думал Горбунов, т. е. раскрываться душевный склад, составляющий главное в личности человека.

Поэтому мы ограничимся немногими дальнейшими сведениями о Горбунове. Он родился в 1831 году, в семье служившего при копнинской фабрике (Московской губернии и уезда) дворового человека помещицы Баташевой, Федора Тимофеевича Горбунова. К отцу и к матери сохранял он всю жизнь нежное уважение. Очень не любя переписки вообще, он сообщал им, однако, подробно о всех своих шагах в Петербурге, в начале своей артистической карьеры. В трудные минуты он просил мать помолиться за него и высказывал уверенность, что благо-

даря этому все кончится прекрасно. «Материнская молитва, — говорит он в письме от 22 апреля 1855 г., — со дна моря вынимает», и подписывается «покорным сыном и преданным другом». Религиозное чувство не покидало его никогда. Оно сильно привлекало его и к проявлениям своего внешнего выражения. Он знал «Писание» и многие части нашего богослужения наизусть,— любил читать памятники церковной письменности и в предсмертные свои дни с видимым удовольствием слушал чтение «Цветной Триоди». Он не только любил простой русский народ, но он имел радость сливаться с ним в одном чувстве безыскусственной и нелицемерной веры. Учился и воспитывался он в Москве, в училище, учрежденном при Набилковской богадельне, основание которой описал впоследствии в рассказе о холерном бунте в Замоскворечье. Затем он был учеником второй и третьей московских гимназий.

Время его ученья не оставило в нем хороших воспоминаний. «Бывают минуты,—говорит он в письмах другу, в июле 1855 г.,— когда я вспомню «лета моей юности, лета невозвратно минувшего счастья», — вспомню о своих бездарных и тупоголовых учителях и вечно нетрезвых надзирателях; вспомню своего чадолюбивого инспектора, который, для более вящшего поощрения нас в науках, хотел заменить розги каким-либо более чувствительным инструментом, — вспомню и покойного директора, который заставлял нас насильно читать в свободное время «Макробиотику» Гуфеланда».

Он вышел из шестого класса и был, следовательно, в смысле формального багажа знаний, *недоучкою*. Но недоучка этот проникал на лекции в университет, водился со студентами и, несмотря на свою крайнюю бедность и необходимость бегать по урокам в Замоскворечье, учился живому знанию родной истории и родного слова самостоятельно, упорно и плодотворно, удивляя впоследствии разнообразием своих сведений. Свежее и тонкое критическое чувство помогало ему разобраться по всей массе жадно прочитываемого, а огромная память прочно забирала в себя все недостойное забвения. Так выработался из него человек с достаточным общим образованием и специалист в

*

области русской словесности, имевший определенные и серьезно обоснованные литературные вкусы и взгляды.

Отсутствие определенного общественного положения заставляло однако окружающих долго смотреть на молодого Горбунова «свысока», и ему жилось тяжко. «Помните, — пишет он в 1856 г. в Москву своей знакомой С. И. И., объясняя, почему считает ее своим искренним другом, — помните когда меня отнесли к числу людей *никуда негодных*, когда я, не видя никакого исхода, прозябал в Сыромятниках. Вы одни протягивали мне руку и говорили со мною *по душе*».

Знакомство, в начале пятидесятых годов с молодою редакциею «Москвитянина» — и, следовательно, с Островским, Сдаовским, Писемским, Аполлоном Григорьевым, Алмазовым, Эдельсоном, Т. И. Филипповым и А. А. Потехиным — имело большое влияние на развитие Горбунова. Кружок молодой редакции распознал в скромном рассказчике «Утра квартального надзирателя» и сцен из быта фабричных — настоящего художника и, по выражению Филиппова, «усвоил себе» Горбунова. Поощряемый новыми знакомыми, последний стал вдумчивее и серьезнее относиться к своим рассказам и записывать их. Так приготовил он для печати свою сцену «Просто — случай» напечатанную в 1855 году в сентябрьской книжке «Отечественных Записок». В это же время он стал «грешить», как сам выражался, стихами. Один его романс был положен на музыку Дюбюком. В письме к С. И. И., от 18 февраля 1855 г., он приводит стихи для пения, «Гитара», посвященные ей, но, кажется, составляющие перифраз стихов Аполлона Григорьева на ту же тему. Вот их начало:

Говори хоть ты со мной,
Душка семиструнная!
Грудь моя полна тоской...
Ночь такая лунная...
Видишь — я в ночной тиши
Плачу, мучусь, сетую!
Ты допой же, доскажи
Песню недопетую!

В начале 1855 года, Тургенев, имевший случай слышать в Москве рассказы Горбунова, и Писемский, живший в это время в Петербурге, стали усиленно звать Горбунова в Петербург. Весною того же года, он не без большой тревоги о том, как устроится его жизнь, приехал на их зов и стал появляться в обществе, как рассказчик сцен из народного быта. Новизна у нас того рода искусства, представителем которого был Горбунов, и отсутствие в петербургском обществе первой половины пятидесятых годов настоящего и живого интереса к бытовой жизни народа, быть может, могли бы долго не давать его таланту возможности проявляться в истинном свете и продолжать развиваться далее. Город, в котором, по выражению одного немецкого писателя, «улицы постоянно мокры, а сердца постоянно сухи», мог запугать и лишить энергии молодого артиста в новом, мало знакомом дотоле роде творчества. Трудно было ожидать и серьезной оценки, и поддержки со стороны тогдашней *эстетической критики*, разменявшейся, по смерти Белинского, на мелкую и стертую монету общих мест и близоруких суждений. Сам Горбунов вынес из ближайших встреч с некоторыми представителями тогдашней печати не особенно выгодное о них мнение. «С петербургской литературой, — пишет он отцу своему, — я познакомился: купцы, а не литераторы!» Не все однако были *купцы* и среди них светился кротким и согревающим огоньком высокоразвитый князь Владимир Федорович Одоевский. Его познакомили с Горбуновым, приютившимся в это время у драматического актера старой школы и прекрасного, по общим отзывам, человека — Леонидова, в старинном петербургском доме Жако-Шамо, у Чернышева моста. Одоевский, глубокий знаток искусства, оценил талант молодого разсказчика и значение его сцен из народного быта. Приглашенный на знаменитые субботы Одоевского, причем хозяин умел с любовью и свойственной ему тихою восторженностью дать ему случай проявить свое дарование как следует, Горбунов завоевал себе симпатии слушателей и, благодаря этому, пред вступлением на петербургскую сцену уже пользовался известностью и некоторою поддержкою в обществе. Это придало ему, как видно

из его письма того времени, бодрости и энергии. Но Одоевский пошел дальше. Он представил Горбунова одной из замечательнейших женщин, посланных судьбою России — великой княгине Елене Павловне. Чуткая душой, богато одаренная и глубоко образованная, сильная волей и умом, игравшая большую роль в начинаниях преобразовательного царствования, великая княгиня любила отыскивать, приближать к себе и поддерживать талантливых людей во всех областях знания и деятельности. Одоевский знал, что она оценит и дарование Горбунова, и что ее проницательному пониманию не будут чужды сцены из быта того народа, которому — мыслью и словом — она служила так, как служат своему родному. Он не ошибся, и Горбунов нашел в Елене Павловне не только усердную слушательницу своих рассказов, но и покровительницу, предстательство которой открыло ему врата петербургской казенной сцены, — что, в свою очередь, помогло ему упрочиться в Петербурге.

В этом Петербурге провел он затем сорок лет, сделавшись одним из популярнейших в нем людей. Но ни его известность, ни общепризнанность его таланта, ни связи и отношения с самыми разнообразными общественными сферами не имели влияния на его душевный склад и на отношения его к людям. Он неизменно оставался человеком простым и скромным, добрым и нерассчетливым. Его жизнь вовсе не была свободна от терний. Он изведал на своем веку и клевету, и зависть; он постоянно должен был заботиться о заработке; он знал горечь безусловной подчиненности и, подобно Садовскому, вынужден был играть Меркурия в «Орфее в аду». Его рассказы очень часто, если можно так выразиться, расхищались и обесценивались неумелым исполнением и произвольными, иногда пошлыми, вставками. Под его именем издавались сборники фальсификаций, в которых, употребляя выражение Тургенева, знание народного быта «и не ночевало».

«Иван Федорович», иначе «Ванюша Горбунов», — был желанным гостем повсюду. «На него» приглашали, его пребыванием у себя хвастались, встречу с ним в гостях, в собрании, в до-

роге — считали счастливым и завидным случаем. И это потому, что ему всегда было радостно доставить кому-либо удовольствие. Отсюда вытекала широкая готовность служить своим талантом, и служить щедро, без всяких ломаний и необходимости упрашивания. Когда он появлялся среди гостей, преимущественно за трапезою, все уже были уверены, что само-собою сделается то, что вдруг среди собеседников окажется *генерал Дитятин*, или Иван Федорович, улыбнувшись нерешительно и обведя всех глазами, начнет какой-нибудь из своих бесподобных рассказов. Он бывал не в силах отвечать на общие ожидания молчанием, в спокойной уверенности, что его имя и известность уже «сделаны». Его простой и ласковой душе претило рассчетливо и постепенно снисходить на просьбы. Как электрическая банка, он был всегда заряжен живыми образами и давал блестящую искру при первом прикосновении. Но бывали случаи, когда он должен был страдать глубоко. Проснувшийся в нем, иногда не взирая на обстановку, глубокий артист и художник болел душою от окружающего непонимания. Очень часто гостеприимные и любезные собеседники, в отделанной «в стиле» столовой, или в изящном салоне, восхищались тем *как* он рассказывал, не проникая в то, *что* он рассказывал, или, уловив одну внешнюю сторону, ложно истолковывали смысл и значение слышанной сцены. Годами установившиеся отношения, нежелание «огорчить», добродушие и терпимость, переходившие в значительной мере в слабость характера, делали то, что у Горбунова не хватало силы ограничить круг своих слушателей лишь тем, кто его действительно понимал и понимал притом правильно. С другой стороны, его художественная натура приобрела потребность высказываться, делиться своим богатством и, мечтая о *понимании*, часто довольствоваться одним лишь общим *вниманием* окружающих. Французская поговорка: «qui a bu — boira» применима не к одним любителям хмеля. Для артиста, для художника становится необходимым то, что итальянцы выражают словом «ambiente», которое обозначает одновременно и привычную среду, и условия, и обстановку. Нуждался в этом «ambiente», хотя бы и неполном и неудовлетворяющем его

самолюбие художника, и Горбунов. Этим злоупотребляли часто, и так как по чрезвычайной своей скромности он не умел «импонировать» и дать, где нужно, почувствовать свою цену, то в некоторых кружках, преимущественно в так называемом «свете», сложился тот взгляд на него, о котором мы говорили в начале нашего очерка.

«Забавник» всегда рассказывал прекрасно, но когда среди смеха и рукоплесканий, в конце обеда или ужина, приведенные в веселое настроение гости забрасывали генерала Дитятина нелепыми вопросами, или приставали к Ивану Федоровичу с просьбами о таких рассказах, в которых игривая форма преобладала над содержанием, или самое содержание было нецензурно, его глаза смотрели грустно и на губах появлялась мимолетная горькая складка. Быть может, в шумном одобрении окружающих ему слышалось в эти минуты безжалостное: «Смейся, паяц!» итальянского композитора... Нам передавали, что раз, после одного из таких ужинов, где рассказанные, по настойчивой просьбе присутствующих, сцены особого рода, построенные на воспоминаниях молодого «кипенья крови и сил избытка», были приняты гораздо более восторженно, чем глубокие сцены из народного быта, — Горбунов, возвращаясь поздно ночью на извозчике, стал с горечью говорить своему молодому спутнику о замеченном им оттенке в одобрениях. В его голосе слышалась скорбь обиды за себя и за искусство, и вдруг, круто переменив тему разговора, взволнованный и разгоряченный, он с умилением стал говорить о русской литературе и ее лучших представителях, и о том, что «они не умрут». Известен, впрочем, случай, где, не зная, как отделаться от назойливых приглашений светской дамы, желавшей непременно «видеть своим гостем Ивана Федоровича», он приехал, был чрезвычайно «корректен» в своем белом галстуке и фраке и, проскучав ужасно весь вечер, уехал, не рассказав ничего.

Если светский и бюрократический Петербург не щадил подчас души художника, то хлебосольная Москва, где он всегда бывал желанным гостем, не щадила и его здоровья, выражая свою симпатию к нему непрерывными пирами и неотступными

угощениями, вредно влиявшими на него и, в виду его слабого характера, создававшими поводы к преувеличенному представлению о его привычках и наклонностях. Но Москву любил он нежно, и в ней ему дышалось легче, чем в Петербурге. Все лучшие воспоминания молодости и первых опытов творчества влекли его к ней. Каждый год он непременно бывал в Москве великим постом и оставался до Фоминой недели. Когда наступала пасхальная заутреня и над чутко затихшим городом с ярко освещенными, бесчисленными церквами раздавались первые могучие удары колокола Ивана Великого, когда торжественно настроенная толпа на Кремлевской площади зажигала свечи, а в дверях старинных соборов показывались хоругви крестных ходов, — Горбунов уже был тут, внимательно вглядывающийся и вслушивающийся во все проявления народного настроения на великом празднике. Его пленял московский говор, московская старина. «Здесь ведь каждый камень говорит», — пояснял он. Он знал историю московских улиц и урочищ, изучил своеобразные обычаи Замоскворечья старых лет, поверья и привычки московского простонародья. Ему были знакомы московские «заведения» со всеми особенностями не только их кухни, но и их привычных посетителей. Он изучил на практике, что такое «воронины блины», сошедшие ныне со сцены «пироги под скрипкою» на Тверской и знаменитая когда-то, незаменимая столовая в «Сундучном ряду». Коренной москвич просыпался в нем, снисходительный к недостаткам Белокаменной, ценитель ее скрытых достоинств, ревнивый поклонник ее старины, восторженный почитатель незабвенного прошлого московского театра и Московского университета, пред которым этот «недоучка» преклонялся. Недаром, познакомясь в Петербурге с молодым студентом и полюбив его, Горбунов принес ему в подарок портрет Грановского и горячо просил беречь его. Новое, выхваченное из недр Москвы, выражение или просто отдельное словечко внушали ему, бывало, детскую радость. Однажды, попав случайно, при посещении приезжего приятеля, в незнакомое московское семейство, он, обреченный судьбою слышать обыкновенно правильную, но бесцветную русскую речь петер-

бургских образованных дам и девиц, был так восхищен оригинальными, живыми оборотами разговора молодой москвички, выросшей среди традиций старого московского дома, что остался, разговорившись с нею и прислушиваясь к ее умной, чисто-русской, колоритной и образной речи, целый вечер, далеко за полночь, заставив напрасно поджидать себя в других местах. «Ведь как она меня за сердце застегнула! Как застегнула!» — говорил он на другой день приятелю, восхищаясь языком своей мимолетной знакомой.

Нежный, заботливый семьянин, нетребовательный к жизни, умевший понимать чужое горе, расточительно щедрый, когда у него были деньги, Горбунов был чужд эгоистической замкнутости и унылого настроения духа. Он слишком любил для этого людей вообще. В личных отношениях он был всегда готов на услугу, постоянно приветлив и весело шутлив. Не любя оставаться без занятия, он в заседаниях ученых обществ или серьезных собраниях, прислушиваясь к происходящему, излагал свои, подчас скептические выводы в письменных подражаниях (иногда на старинном языке), неожиданных стихотворных пародиях или в других шутках... «Же дор, тю дор, иль дор и т. д.». — написал он однажды на клочке бумаги, отвечая на вопросительный взгляд соседа в конце чтения ученого исследования, которое не отличалось ни ясностью, ни живостью. «Сидящоу же честнòму синоду и сладце дремлюще, внимающе гласоу ярости, исходящоу из оуст и т. д.», — изобразил он полууставом, с украшенной завитками первой буквою, сидя в одном из ученых сборищ. Как истинный русский человек, он любил шутить и над самим собою и рассказывать разные недоразумения, случавшиеся с ним, конечно, вследствие необыкновенной простоты, с которою он себя держал. Не раз вспоминал он, как однажды, на охоте с Некрасовым и его друзьями, они расположились закусывать; он пошел открывать консервы, и когда проголодавшийся и нетерпеливый Некрасов крикнул ему: «Ну, Ванюша, поскорей!», то один из загонщиков, видя его простое русское лицо, подбежал к нему и тоном приказания сказал: «Слышь, Ванька, — поживей, вишь, господа требуют!» Расска-

зывая о первых своих артистических шагах в Москве, он передавал с необыкновенной образностью и живостью свое первое свидание с всевластным в Москве графом Закревским, который зачем-то его потребовал. Молодого человека провели во «внутренние покои» генерал-губернаторского дома, где камердинер, чистивший в уборной комнате, чрез которую пришлось проходить, графские рейтузы, посмотрел на него с внушительным презрением. Закревский обошелся с ним приветливо, проводил его до дверей кабинета и в знак особой ласки приложил свою гладко-выбритую щеку к его щеке, произведя на воздух звук поцелуя. Камердинер это видел и, когда юноша Горбунов проходил мимо, подскочил к нему, захлебываясь от умиления, произнес: «Граф вас полюбили!!» — и чмокнул его в плечо.

Живой юмор не покидал Горбунова и тогда, когда он повествовал о своих невзгодах. Описывая, например свою артистическую круговую поездку с известным певцом М., он помещает, в качестве эпиграфа к письму, выписки из кратких описаний Воронежа по географиям Гейма, Арсеньева, Ободовского и др., и отрывки якобы из частных писем — гимназиста и актера: «Мамаша, если вы не возьмете меня из воронежской гимназии — я удавлюсь!..» и — «Сборов никаких! На «Птички певчие» было 18 рублей. Я такого подлого города еще и не видал...» «То есть я вам доложу! — пишет Горбунов далее известной петербургской артистке, — так намаяться, как мы с М. намаялись, — не дай бог никому! Прислушайте, голубка... В оба эти спектакля термометр показывал 4°. Выходя на сцену, я физически находился в том же положении, в каком ежегодно на маслянице пребывают балконные комики. В Казани, 22 мая, господь бог послал снежку с северным ветерком и чуть-чуть не заставил нас отказать концерт. Мы поспешили в Саратов, думая там укрепиться. Погода благоприятствовала: было жарко, даже душно. По выходе в свет нашей афиши, народ тронулся за билетами. *Баба* шла на М—ова, а *дворянство* и *купечество* на Горбунова... Нужно вам сказать, что концерт наш давался на Волге, в летнем помещении дворянского собрания.

Начала собираться публика, начали собираться и тучи. «Я помню чудное мгновенье . . .», — начал нежно М . . ., а на Волге заорал американский пароход . . . «Передо мной явилась ты . . .», а под окошком завизжала собака . . . «Проходим мы это с приказчиком с Иваном Федоровым . . .», начал Горбунов, — грянул ливень, засвистали пароходы, забегали по террасе гуляющие. Так вся наша обедня . . . Приехали в Тамбов — там лошадиная ярмарка и лошадиные вкусы. У всякого в руках кнутовище, говорят только о лошадях и посещают только цирк. Что нам здесь бог пошлет, — уж и не знаю . . .»

В интереснейших личных воспоминаниях о былых литературных и сценических деятелях, и в особенности в воспоминаниях о Писемском, Горбунов был неистощим. Оригинальная, чрезвычайно талантливая, «неладно скроенная, но плотно сшитая» личность известного писателя, как живая вставала пред слушателями и в обстановке частной жизни, и на литературных чтениях, и в визитах исключительного свойства. В последнем отношении воспоминания Горбунова о поездке с Писемским, отличавшимся чрезвычайною трусостью, на корабль генерал-адмирала, летом 1855 года, в виду неприятельской эскадры, стоявшей перед Кронштадтом, имели глубоко-комический, несмотря на свою правдивость, характер. Около же этого времени Писемский, писавший тогда такую замечательную вещь, как «Тысяча душ», угрюмо сказал Горбунову о начинающем «великом писателе земли русской» по поводу «Севастопольских рассказов», отрывки из которых он только-что прослушал: «Этот офицеришка всех нас заклюет! хоть бросай перо . . .»

До конца жизни любил Горбунов молодежь. Он возлагал на нее большие надежды, не смущаясь временными и преходящими явлениями. Ему доставляло удовольствие приходить беседовать с молодыми людьми, знакомить их с русской жизнью, с ее реальными условиями, чаяниями и невзгодами, и рисовать пред ними поучительные картины прошлого. «Нас, батюшка, — говорил он, — чаще спрашивайте, все расскажем, ничего не утаим . . .»

В конце восьмидесятых годов здоровье Горбунова сильно

и заметно пошатнулось. Его чаще стали видеть задумчивым и иногда даже раздражительным. Упорный диабет подтачивал его крепкий и выносливый организм. Он стал рассеянным и, упорно отрицая свою болезнь, как будто внутренно «махнул рукою» на будущее, не желая серьезно лечиться. Но один раз в году, 14 сентября, празднуя день своих именин и собирая к себе — по давно заведенному обычаю — на кулебяку друзей и добрых знакомых, он оживлялся по-старому, рассылая свои приглашения на старинном языке разных эпох и поднося гостям остроумное меню строго обдуманной трапезы. «Худородный раб твоего благородия, зовомый Иванец, Федоров сын, Тимофеевича,—пишет он в одном из таких приглашений,—много челом бьет и извествует, что он, Иванец, в воздвиженье честного и животворящего креста господня прилучился быть именинник. И тебе бы, государю, меня, Иванца, пожаловать — моего хлеба-соли прикушать и впредь меня, Иванца, в своей милости держать до скончания моего живота, а я тебе, государю, раб и служебник с женишкою своей и с детишками. А будут к естве сослужебник твоего благородия, да царские казны оберегатель (да не имут царское) . . . А ества будет московская и иных городов, и с Дону, и от реки великия». — «Высокородный господин, — пишется в другом приглашении, — случился я, нижайший, 14 сентября, в час пополудни, именинник и соберутся ко мне, нижайшему, некоторые гости, и будет трактамент пирогом с грибами и разною конфетюрою и Вашему Высокородству, меня, худородного и худоумного, пожаловать, не презрить моей хлеб-соли, а я, нижайший, и т. д.». На изящном меню, нарисованном покойным Богдановым к 14 сентября 1891 года, значились, между прочим: ветчина московская, городская — *жамбон*, — марсала *на манер настоящей*, телятина — *лево*, — лафит *серпуховской*, высокий, *тревье*, и т. д.

С утра в радостном и приподнятом настроении, с довольною улыбкой на устах, целуясь троекратно со своими посетителями, Горбунов сердечно наслаждался тем, что у него собрались люди, которых он любил и в искренность которых он верил, а быть может и тем, что тоже любя и ценя его, никто из них не смотрит

на него с нетерпеливым любопытством и не ждет от него какого-нибудь, якобы увеселительного, рассказа...

В 1894 году он отпраздновал этот день в последний раз. Здоровье окончательно подломилось весною 1895 г., а к зиме на организм, уже подточенный разрушительным недугом, налетело воспаление легких, и 24 декабря Ивана Федоровича не стало. Он встретил смерть спокойно и с верою — и скончался без особых страданий. Русское общество лишилось редкого художника, в труде которого сочувствие к народу и знание народа переплеталось неразрывно. Те, кто лично узнал его и умел его понимать, потеряли еще больше. Они могли по месяцам и более не видеть Горбунова, но им было отрадно сознавать, что существует еще среди них этот милый и живой изобразитель народного юмора и представитель, в своеобразной форме, раздумья над русскою жизнью. Теперь это сознание исчезло... Но память о Горбунове живет в душе его знавших. Ей не следует изгладиться и на страницах истории русского искусства и литературы.

Если нам удалось немного оживить эту память и хотя бы самыми слабыми и несовершенными штрихами дать выглянуть из-под коры поверхностных суждений и предвзятых взглядов образу *настоящего* Горбунова — наша цель достигнута.

А. П. Чехов.

(Отрывочные воспоминания)

В минувшем году исполнилось двадцать лет с тех пор как мы лишились Антона Павловича Чехова, в самый разгар злополучной японской войны, которая так тревожила его на закате дней. С тех пор грозные испытания постигли нашу родину, заслонив и затуманив собою многое из прошлого. Но память о Чехове пережила это. Его вдумчивое, глубокое по содержанию и сильное по форме творчество в своем былом проявлении переживет многое, что появилось с тех пор с горделивой претензией на художественность, в сущности сводящуюся к беззастенчивому натурализму. И в моем воспоминании образ его стоит как живой — с грустным, задумчивым, точно устремленным внутрь себя взглядом, с внимательным и мягким отношением к собеседнику и с внешне спокойным словом, за которым чувствуется биение горячего и отзывчивого на людские скорби сердца. Чувство благодарности за большое духовное наслаждение, доставленное мне его произведениями, сливается у меня с мыслью о той не только художественной, но и общественной его заслуге, которая связана с его книгой о Сахалине.

Долгое время недра Сибири, принимавшие в себя ежегодно тысячи осужденных, которых народ сердобольно называл «несчастными», были для русского общества и в значительной мере даже для правящих кругов чем-то мало известным, неинтересным или загадочным по своей отдаленности. Представление о Сибири, как месте ссылки и принудительных работ «в темных пропастях земли», слагалось у большинства зачастую так же смутно и тревожно, как и народное представление

о «погибельном Кавказе». Губернские тюремные комитеты, учрежденные в 1829 году, ведали — и притом в очень ограниченных размерах — лишь местное тюремное дело и вовсе не влияли ни на положение ссыльных во время бесконечно-длинного и тяжкого пути «по Владимирке», ни на условия их содержания в отдаленных острогах Сибири. Чтобы оживить их деятельность и придать ей заботливый, а не чисто-формальный характер, нужны были человеколюбивые бойцы и труженики в роде «утрированного филантропа» доктора Гааза, посвятившего свою жизнь попечению о ссыльных. Жизнь его представляет поучительный пример того, сколько упорства, трогательного самозабвения, душевной теплоты и неустанной энергии требовалось, чтобы часто не опустить рук в сознании своего бессилия перед официальным «тупосердием» и бездушными утверждениями, что все обстоит благополучно. Но такие, как Гааз, были наперечет! Только в начале шестидесятых годов Достоевский своими «Записками из Мертвого дома» привлек внимание к положению каторжников и в ярких, незабываемых образах ознакомил с отдаленным сибирским острогом и его населением. Затем, в 1891 году появилась за границей книга Кеннана с описанием сибирских тюрем и господствовавших там порядков, верная в подробностях, но ошибочно приписывавшая многие безобразные явления обдуманной системе, тогда как они были самостоятельными проявлениями личного произвола и насилия. Особенное внимание, возбужденное этою книгой за границей, и вызванные ею негодующие отзывы о русских порядках недостаточно отразились на нашем общественном мнении, так как ни книга, ни ее автор не были допущены в Россию, а перевод ее появился лишь через шестнадцать лет. Значительно сильнее подействовали вести о самоубийстве сосланной в каторгу по политическому процессу Сигиды, подвергшейся за нарушение тюремной дисциплины, по распоряжению властей, телесному наказанию, причем примеру ее последовало несколько человек из единомышленных с нею товарищей по заточению. Затем, в 1896 году, вышли полные «трезвой правды» очерки Мельшина (Якубовича) «Мир отверженных», рисующие тяжкие картины

Карийской и Акатуевской каторги. Таким образом, выяснялась постепенно картина Сибири, как места наказания, и явились твердые, почерпнутые не из буквы закона, а из самой жизни данные, дающие полную возможность судить, как осуществляется на месте это наказание.

Иначе обстояло дело с каторгой, учрежденной в 1875 г. на присоединенном к России, в обмен на Курильские острова, — Сахалине. О том, *что* и *как* там делалось, получало сведения только тюремное ведомство, да и то, конечно, в канцелярской, бесцветной обработке.

Нужна была решимость талантливого и сердечного человека, отзывчивую душу которого манила и тревожила мысль узнать и поведать о том, что происходит не на сказочном «море Окияне, на острове Буяне», а в далекой и отрезанной от материка области, где под железным давлением закона и произволом его исполнителей влачат свою страдальческую жизнь сотни людей, сдвинутых вместе без различия индивидуальности, бытовых привычек и душевных свойств. Эту задачу взял на себя А. П. Чехов. Его живому характеру и пытливому уму была свойственна некоторая непоседливость, то свойство, которое прекрасно изобразил граф Голенищев-Кутузов в своем романе «Даль зовет». Он ясно сознавал практическую непригодность и нравственный вред нашей типической тюрьмы и наших сибирских острогов, для которых, по его словам, «прославленные шестидесятые годы» ничего не сделали и где мы с нашими пересыльными тюремными порядками «сгноили миллион людей зря, без рассуждений и варварски таская их по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражая и развращая их, размножая преступления и сваливая всю вину на красноносых смотрителей». Ему казалось, что Сахалин как поле для целесообразной и благотворной колонизации может представить могучее средство против большинства из этих зол. Он предпринял, с целью изучения этой колонизации на месте, тяжелое путешествие, сопряженное с массой испытаний, тревог и опасностей, отразившихся гибельно на его здоровьи. Результат этого путешествия — его книга о Сахалине — носит на себе печать

чрезвычайной подготовки и беспощадной траты автором времени и сил. В ней, за строгой формой и деловитостью тона, за множеством фактических и цифровых данных, чувствуется опечаленное и негодующее сердце писателя. Эта печаль слышится в разочаровании главной целью путешествия — изучения колонизации, ибо на Сахалине никакой колонизации не оказывается, так как она убита именно тюрьмою со всеми ее характерными у нас свойствами, переплывшими с материка и твердо осевшими на острове, не приспособленном ни в географическом, ни в климатическом отношении к земледелию. На нем не оказалось, по выражению Чехова, «никакого климата», а лишь «вечная дурная погода», связанная с постоянно надвигающимися с моря сплошною стеною туманами. Недаром поселенцы говорили про Сахалин: «кругом море, а в середине горе». Это горе, изображенное Чеховым в ряде ярких картин, стало другою причиной печали Чехова, присоединив к его разбитым надеждам ужасы очевидной и осязательной действительности.

Вот сахалинская тюрьма, пропитанная запахом гнили и разложения, переполненная не только людьми, но и отвратительными насекомыми, — с разбитыми стеклами в окнах, невыносимою вонью в камерах и традиционной «парашей» — и с надзирательской комнатой, где непривычному посетителю ночевать совершенно невозможно: стены и потолок ее покрыты «каким-то траурным крепом, который движется как бы от ветра, и в этой кишащей и переливающейся массе слышится шуршание и громкий шопот, как будто тараканы и клопы спешат куда-то и совещаются»... Вот камеры для семейных, т. е. каторжных и ссыльных, за которыми, составляя сорок один процент всех женщин острова, пришли, влекомые состраданием и обманутые надеждами, жены и привели с собой детей. Они, по выражению многих из них, мечтали «жизнь мужей поправить, но вместо того и свою потеряли». В этой камере нет возможности уединиться, ибо кругом идет свирепая картежная игра, раздается невообразимая и омерзительная в своей изобретательности ругань, постоянно слышатся наглый смех, хлопанье дверьми, звон оков. В *одной* из таких малых по размерам камер си-

дят вместе и спят на одних сплошных нарах пять каторжных: два поселенца, три *свободные*, т. е. пришедшие за мужьями женщины и две дочери их — пятнадцати и шестнадцати лет; в *другой* такой же камере содержатся десять каторжных, два поселенца, четыре свободные женщины и девять детей, из которых пять девочек... Вот «больничные околодки», где среди самых первобытных условий содержатся сумасшедшие и одержимые опасными заразными болезнями, причем последним поручено щипать корпию для необходимых хирургических операций; и *лазареты*, где оказывают помощь фельдшера, выдающие для внесения в церковные книги такого рода сведения об умерших: «умер от неразвитости к жизни», или «от неумеренного питья», или «от душевной болезни сердца», или «от телесного воспаления» и т. п. Вот поразительные картины торговли своим телом, производимые поселенками и свободными женщинами от юного до самого преклонного возраста (шестидесяти лет), и вот девочки, продаваемые родителями «с уступочкой», едва они достигают четырнадцати-пятнадцати лет, причем попадаются и девяти-и десятилетние. Вот быстро сгорающие уроженцы юга, Кавказа и Туркестана, для которых сахалинское «отсутствие климата» *заведомо* губительно. Вот два палача из ссыльных, исхудалые, с гноящимся телом, вследствие того, что, будучи конкурентами и ненавидя поэтому друг друга, «постарались друг на друге» при наказании плетьми. Вот насаждение крестьянских хозяйств посредством раздачи прибывших ссыльных женщин для «домообзаведения» в сожительство отбывшим каторгу поселенцам, обязанным за это построить себе домик или покрыть уже существующий тёсом; вот сарай, куда сгоняются эти белые рабыни на осмотр и выбор, причем чиновники берут себе «девочек», а оставшиеся затем рассылаются по дальним участкам вследствие просьб «отпустить рогатого скота для млекопитания и женского пола для устройства внутреннего хозяйства». Вот, наконец, ссылка в отдаленные поселки, куда нет, обыкновенно, ни прохода, ни проезда, провинившейся каторжанки или поселенки — одной на тридцать человек холостых и одиноких мужчин. Рядом с

этим, как редкие светлые блики на темном и мрачном фоне, описывает Чехов случаи обнаруженного им примирительного света в загрубелых сердцах с их жаждой справедливости и ожесточенным пессимизмом при ее отсутствии, — с трогательным уходом за сумасшедшими или парализованными сожительницами «по человечности», с их тоскою по материке и по родной земле. Он дает яркую картину «свадьбы», заставляющей участников и гостей на краткий срок забыть свою тяжелую долю, и рядом изображает местного *мирового судью*, ощущающего радостное и своеобразное удивление, когда среди переполняющих сахалинскую жизнь побегов, разбоев и убийств ему приходится встретиться, как с редким оазисом в пустыне, с делом о простой, «совершенно простой краже!»

Книга о Сахалине еще не была издана, когда, в декабре 1893 года, меня посетил Чехов, с которым я при этом впервые лично познакомился. Он произвел на меня всей своей повадкой самое симпатичное впечатление, и мы провели целый вечер в задушевной беседе, причем он объяснил свой приход полученным им советом поговорить со мной о Сахалине, вынесенными откуда впечатлениями он был полон. Картины, о которых мною упомянуто выше, развертывались в его рассказе одна за другою, представляя как бы мозаику одного цельного и поистине ужасающего изображения.

Я был с 1891 года членом «Общества попечения о семьях ссыльно-каторжных», во главе которого стояла его учредительница Е. А. Нарышкина, вносившая в осуществление целей Общества сердечное их понимание и большую энергию. Благодаря последней Общество получило, путем призыва к пожертвованиям, довольно значительные средства и могло открыть в Горном Зерентуе Забайкальской области приют на 150 детей, попавших в обстановку Нерчинской каторги, — и затем устроить его филиальные отделения еще в двух поселениях. Она же под влиянием вестей о расправе с несчастной Сигидой предприняла весьма решительные и настойчивые шаги, чтобы возбудить во властных сферах сознание необходимости отменить телесное наказание для сосланных в Сибирь женщин,

и своим влиянием, просьбами и убеждениями дала несомненный толчок к последовавшему в 1893 году решению Государственного совета о такой отмене. Я предложил Чехову познакомить его с Нарышкиной в уверенности, что она примет горячо к сердцу сообщаемые им факты и возбудит вопрос о расширении на Сахалине деятельности Общества попечения и о предоставлении ему для этого необходимых средств. Несмотря на полное согласие на это Чехова, свидание не состоялось, так как он должен был уехать в Москву, написав мне следующее письмо: «Я жалею, что не побывал у г-жи Нарышкиной, но, мне кажется, лучше отложить визит к ней до выхода в свет моей книжки, когда я свободнее буду обращаться среди материала, который имею. Мое короткое сахалинское прошлое представляется мне таким громадным, что когда я хочу говорить о нем, то не знаю, с чего начать, и мне всякий раз кажется, что я говорю не то, что нужно. Положение сахалинских детей и подростков я постараюсь описать подробно. Оно необычайно. Я видел голодных детей, видел тринадцатилетних содержанок, пятнадцатилетних беременных. Проституцией начинают заниматься девочки с 12 лет, иногда до наступления менструаций. Школа существует только на бумаге, воспитывают же детей только среда и каторжная обстановка. Между прочим, у меня записан разговор с одним десятилетним мальчиком. Я делал перепись в селении Верхнем Армудане; поселенцы все поголовно нищие и слывут за отчаянных игроков в штосс. Вхожу в одну избу: хозяев нет дома; на скамье сидит мальчик, беловолосый, сутулый, босой; о чем-то призадумался. Начинаем разговор. Я. — Как по отчеству величают твоего отца? Он. — Не знаю. Я. — Как же так? Живешь с отцом и не знаешь, как его зовут? Стыдно. Он. — Он у меня не настоящий отец. — Я. — Как так не настоящий? Он. — Он у мамки сожитель. Я. — Твоя мать замужняя или вдова? Он. — Вдова. Она за мужа пришла. Я. — Что значит за мужа? Он. — Убила. Я. — Ты своего отца помнишь? Он. — Не помню. Я незаконный. Меня мамка на Каре родила... Со мной на амурском пароходе ехал на Сахалин арестант в ножных кандалах, убивший свою

жену. При нем находилась дочь, девочка лет шести, сиротка. Я заметил, когда отец с верхней палубы спускался вниз, где был ватерклозет, за ним шли конвойный и дочь; пока тот сидел в ватерклозете, солдат с ружьем и девочка стояли у двери. Когда арестант, возвращаясь назад, взбирался вверх по лестнице, за ним карабкалась девочка и держалась за его кандалы. Ночью девочка спала в одной куче с арестантами и солдатами... Помнится, был я на Сахалине на похоронах. Хоронили жену поселенца, уехавшего в Новониколаевск. Около вырытой могилы стояли четыре каторжных носильщика — ex officio, я и казначей в качестве Гамлета и Горацио, бродивших по кладбищу, от нечего делать, черкес — жилец покойницы — и баба каторжная; эта была тут из жалости, привела двух детей покойницы, одного грудного и одного — Алешу, мальчика лет четырех в бабьей кофте и в синих штанах с яркими латками на коленях. Холодно, сыро, в могиле вода, каторжные смеются. Видно море. Алешка с любопытством смотрит в могилу; хочет вытереть озябший нос, но мешают длинные рукава кофты. Когда закапывают могилу, я его спрашиваю: Алешка, где мать? Он машет рукой, как проигравшийся помещик, смеется и говорит: закопали! Каторжные смеются; черкес обращается к нам и спрашивает, куда ему девать детей, он не обязан их кормить... Инфекционных болезней я не встречал на Сахалине, врожденного сифилиса очень мало, но видел я слепых детей, грязных, покрытых сыпями — все такие болезни, которые свидетельствуют о забросе. Решать детского вопроса, конечно, не буду. Я не знаю, что нужно делать. Но мне кажется, что благотворительностью и остатками от тюремных и иных сумм тут ничего не поделаешь; по-моему, ставить важное дело в зависимость от благотворительности, которая в России носит случайный характер, и от остатков, которых не бывает, — вредно. Я предпочел бы государственное казначейство. Позвольте мне поблагодарить Вас за радушие и за обещание побывать у меня».

Я дал прочесть Нарышкиной это письмо и рассказал ей все то, что слышал от Чехова. Вскоре подоспела и книга о Сахалине. Результатом всего этого было распространение деятельности

Общества на Сахалин, где им было открыто отделение Общества, начавшее заведывать призрением детей в трех приютах, рассчитанных на 120 душ. В 1903 году были выстроены новые приют и ясли на восемьдесят человек. Еще ранее на средства Общества был открыт на Сахалине Дом трудолюбия, при деятельном и самоотверженном участии сестры милосердия Майер. В Доме работали от 50 до 150 человек и при нем была учреждена вечерняя школа грамотности. Обществом попечения был задуман ряд коренных реформ положения семейств ссыльных на острове, составлены по этому поводу обстоятельные записки, и Нарышкиной было обещано внимательное и сочувственное отношение к намеченным в записке мерам при обсуждении последней в предположенном особом совещании министров... Но грянувшая война обратила все задуманное в этом отношении в ничто. Занятие Сахалина победоносными японцами и дальнейшая его уступка по Портсмутскому договору прекратили работы всех этих учреждений на острове, и дети были выселены японцами в Шанхай, а оттуда перевезены в Москву.

Книга Чехова не могла не обратить на себя внимания министерства юстиции и Главного тюремного управления, нашедших наконец нужным через своих представителей ознакомиться с положением дела на месте. Отсюда — поездки на Сахалин в 1896 году ученого криминалиста Д. А. Дриля и в 1898 году тюрьмоведа А. П. Саломона. Их отчеты, к сожалению, не сделавшиеся достоянием печати, вполне подтвердили сведения, сообщенные русскому обществу Чеховым, присоединив к ним несколько характерных особенностей.

Прошло три года со времени моего свидания и беседы с Чеховым. На «базаре» в городской думе в пользу Высших женских курсов, я встретил В. Ф. Комиссаржевскую, которую, будучи знаком с ее отцом, я знал, когда она была еще ребенком. Мы разговорились о драматической сцене, уровень и содержание которой не удовлетворяли замечательную артистку, и она советовала мне притти на первое представление новой пьесы Чехова «Чайка», намечающей иные пути для драмы. Я последовал ее совету и видел это тонкое произведение, рисующее новые

творческие задачи для «комнаты о трех стенах», как называет в нем одно из действующих лиц театр. Чувствовалось в нем осуществление мысли автора о том, что художественные произведения должны отзываться на какую-нибудь *большую мысль*, так как лишь то прекрасно, что серьезно. Столкновение двух мечтателей — Треплева, который находит, что надо изображать на сцене жизнь не в обыденных чертах, а такою, какою она *должна быть* — предметом мечты,— и Нины, отдающейся всею душою созданному ею образу выдающегося человека, — с тем, что автор называет «пискарною жизнью», оставляло глубокое и трогательное впечатление. Драма таится в том, что с одной стороны публика, на которую хочет воздействовать своими мыслями и идеалами Треплев, его не понимает и готова смеяться, а с другой — богато одаренный писатель, весь отдавшийся «злобе дня», рискует оказаться ремесленником, едва поспевающим исполнять не без отвращения заказы на якобы художественные произведения, и также безвольным человеком, приносящим горячее сердце уверовавшей в него девушки в жертву своему самолюбованию. Сверх всякого ожидания, на первом представлении образ подстреленной «Чайки» прошел мимо зрителей, оставив их равнодушными, и публика с первого же действия стала смотреть на сцену с тупым недоумением и скукой. Это продолжалось в течение всего представления, выражаясь в коридорах и в фойе пожатием плеч, громкими возгласами о нелепости пьесы, о внезапно обнаружившейся бездарности автора и сожалениями о потерянном времени и обманутом ожидании. Такое отношение публики, повидимому, отражалось и на артистах. Тот подъем, с которым прошли на сцене два первых действия, видимо, ослабел, и «Чайка» была доиграна без всякого увлечения, среди поднявшегося шиканья, совершенно заглушившего немногие знаки сочувствия и одобрения.

Я вернулся домой в негодовании на публику за ее непонимание прекрасного произведения и в грустном раздумьи о том, как это отразится на авторе. Мне ясно представлялось, какие ощущения он должен был пережить, если был в театре или, если отсутствовал, что перечувствовать, когда «друзья» (как известно,

это одна из их специальных обязанностей, исполняемая с особой готовностью) донесут ему о давно неслыханном провале его пьесы. Мне хотелось сказать ему несколько ободрительных слов и показать тем, что не вся публика грубо и непродуманно ополчилась на его творение, и что в ней, вероятно, есть не мало людей, оценивших его талант и в «Чайке». Мне вспоминался при этом Глинка, которого восторженно приветствовали после первого представления «Жизни за царя» и в театре, и в печати, и в тот же вечер на квартире у князя Одоевского, где даже была спета кантата, написанная в честь его Пушкиным и начинавшаяся словами: «Вышла новая новинка, — веселися русский хор, — этот Глинка, этот Глинка — уж не глинка, а фарфор». А на первом представлении «Руслана и Людмилы» не только публика демонстративно зевала, шикала, но даже музыканты, исполнявшие эту дивную музыку, шикали из оркестра ее автору, и когда он, смущенный всем этим и не зная, выходить ли на сцену на требование небольшой группы зрителей, обратился к находившемуся с ним вместе в директорской ложе начальнику Третьего отделения, генералу Дубельту, то последний внушительно сказал ему: «Иди, иди, Михаил Иванович, Христос больше твоего страдал». Вспомнился мне и рассказ о свистках и ропоте публики, которыми сопровождалось первое представление оперы Бизе «Кармен», что тяжело отразилось на сердечной болезни талантливого композитора и свело его через три месяца в могилу. А каким успехом пользовались потом обе эти оперы! Ночью я написал письмо Чехову, в котором, если не ошибаюсь, говорил об этих двух фактах, а когда утром прочел в нескольких газетах рецензию на «Чайку» с прямым злоречием, умышленным непониманием или лукавым сожалением о том, что талант автора явно потухает, я поспешил отправить мое письмо. Через несколько дней я получил следующий ответ: «Вы не можете себе представить, как обрадовало меня Ваше письмо. Я видел из зрительной залы только два первых акта своей пьесы, потом сидел за кулисами и все время чувствовал, что «Чайка» проваливается. После спектакля, ночью и на другой день, меня уверяли, что я вывел одних идиотов, что пьеса моя в сценическом

отношении неуклюжа, что она неумна, непонятна, даже бессмысленна и пр. и пр. Можете вообразить мое положение — это был провал, какой мне даже и не снился! Мне было совестно, досадно, и я уехал из Петербурга полный всяких сомнений. Я думал, что если я написал и поставил пьесу, изобилующую, очевидно, чудовищными недостатками, то я утерял всякую чуткость и что, значит, моя машинка испортилась в конец. Когда я был уже дома, мне писали из Петербурга, что 2-е и 3-е представления имели успех; пришло несколько писем, с подписями и анонимных, в которых хвалили пьесу и бранили рецензентов; я читал их с удовольствием, но все же мне было совестно и досадно и сама собою лезла в голову мысль, что если добрые люди находят нужным утешать меня, то значит дела мои плохи. Но ваше письмо подействовало на меня самым решительным образом. Я Вас знаю уже давно, глубоко уважаю Вас и верю Вам больше, чем всем критикам, взятым вместе. Вы это чувствовали, когда писали Ваше письмо, и оттого оно так прекрасно и убедительно. Я теперь покоен и вспоминаю о пьесе и спектакле уже без отвращения. Комиссаржевская чудесная актриса. На одной из репетиций многие, глядя на нее, плакали и говорили, что в настоящее время в России это лучшая актриса. На спектакле же и она поддавалась общему настроению, «враждебному» моей «Чайке», и как будто оробела, спала с голоса. Наша пресса относится к ней холодно, не по заслугам, и мне ее жаль. Позвольте поблагодарить Вас за письмо от всей души. Верьте, что чувства, побуждавшие вас написать мне его, я ценю дороже, чем могу выразить это на словах, а участия, которое вы в конце Вашего письма называете «ненужным», я никогда, никогда не забуду, что бы ни произошло. Искренно Вас уважающий и преданный А. Чехов».

С этого времени мы изредка писали друг другу. Он, между прочим, просил меня выслать в таганрогскую городскую библиотеку, которой он состоял попечителем, мою фотографическую карточку с автографом, ссылаясь на то, что в библиотеке имеются мои сочинения, и прибавляя, конечно, из любезности: «в моем родном городе вас очень любят и уважают». Мы снова

свиделись в апреле 1901 года в Ялте, которую он, в сущности, не любил за ее, как он писал, «коробообразные гостиницы с чахоточными», за «наглые хари татарских проводников» и за «нестерпимый парфюмерный запах», распространяемый приезжими гуляющими дамами. Принадлежавший ему дом, выстроенный на одной из окраин, имел какой-то неприютный вид, а записки на стенах передней и кабинета с просьбой «не курить» указывали, что с хозяином что-то не ладно. И действительно, застегнутое на все пуговицы осеннее пальто Антона Павловича, его задумчивый по временам вид и выразительное молчание или встречный вопрос из другой области в ответ на желание узнать о его здоровье показывали, что он чувствует, как жизненные силы постепенно покидают его. Это сказывалось особенно в его взгляде, тревожно-вопросительном при встрече с новым лицом, хотя он держал себя бодро и отзывчиво по отношению ко всему окружающему. Но безнадежность, часто сквозившая в его умных глазах, и неожиданные задумчивые паузы в разговоре давали понять, что он предчувствует свой неотразимо близкий конец, как врач, и, быть может, оставаясь сам с собою, слушает звучащую в душе одну из мрачных раскольничьих песен: «Смерть, а смерть, это ты? — Это я, это я! — А откуда ты пришла? — Где была, где была! — А пришла ты не за мной!— За тобой, за тобой! — А уйдем мы далеко? — Далеко, далеко!» Часто на морской набережной или на террасе дома Прохаски, куда он не раз заходил ко мне и где мы сиживали, он — греясь на солнце, а я — поджариваясь, я, смотря на него, невольно вспоминал слова Некрасова: «Завтра встану и выбегу жадно — встречу первому солнца лучу, снова все улыбнется отрадно и мучительно жить захочу. А недуг, подрывающий силы, будет так же и завтра томить и о близости темной могилы так же внятно душе говорить». Иногда к нам присоединялся Миролюбов, и в беседе время летело незаметно. Чехова очень интересовали мои личные воспоминания и психологические наблюдения из области свидетельских показаний. Однажды, по поводу лжи в их показаниях, я привел несколько интересных житейских примеров «мечтательной лжи», в которой человек

постепенно переходит от мысли о том, что *могло бы быть*, к убеждению, что оно *должно было быть*, а от этого к уверенности, что оно *было*, — причем на мое замечание, что я подмечал этот психологический процесс в детях, он сказал, что то же бывает и с некоторыми очень впечатлительными женщинами. С большим вниманием слушал он также рассказы о виденных мною житейских драмах и иронии судьбы, которая в них часто проявлялась.

Вскоре после моего отъезда из Ялты, с подаренным мне прекрасным его портретом, где он одет в обычное теплое пальто, несмотря на надпись: «7-го мая, в ясный теплый день в Ялте», я получил от него письмо, в котором он говорил: «Сегодня я получил от поэта И. А. Бунина книгу стихов с просьбою послать ее на Пушкинскую премию. Будьте добры, научите меня, как это сделать: по какому адресу послать. Сам я когда-то получил премию, но книжек своих не посылал. Простите, что беспокою вас. Я нездоров и решил, что выздоровлю не скоро». Следующее письмо я получил уже от 12 июня из Аксенова, Уфимской губернии. В нем он писал: «В самом деле, Анатолий Федорович, ваша фотография, которую я только что получил, очень похожа. Это — одна из удачнейших. Сердечное вам спасибо и за фотографию, и за поздравление с женитьбой, и вообще за то, что вспомнили и прислали письмо. Здесь на кумысе скука ужасающая, газеты все старые в роде прошлогодних, публика неинтересная, кругом башкиры и, если бы не природа, не рыбная ловля и не письма, то я, вероятно, бежал бы отсюда. В последнее время в Ялте я сильно покашливал и, вероятно, лихорадил. В Москве доктор Щуровский, — очень хороший врач, — нашел у меня значительные ухудшения; прежде у меня было притупление только в верхушках легких, теперь же оно спереди ниже ключицы, а сзади захватывает верхнюю половину лопатки. Это немножко смутило меня. Я поскорее женился и поехал на кумыс. Теперь мне хорошо, прибавился на 8 фунтов, только не знаю отчего, от кумыса или от женитьбы. Кашель почти прекратился. Ольга шлет вам привет и сердечно благодарит. В будущем году пожалуйста посмотрите ее в «Чайке»

(которая пойдет в Петербурге), там она очень хороша, как мне кажется».

Улучшение здоровья Антона Павловича было, однако, непродолжительным, и, по мере роста его славы, как выдающегося и любимого писателя, уменьшались силы его и подступала смерть. Она пришла к нему в далеком Баденвейлере, во время страстных порывов вернуться в Россию, куда его постоянно тянуло. Судьба с обычной жестокостью относительно выдающихся русских людей не дала ему увидеть родину, за которую и с которой он столько болел душой, и равнодушно приютила в недрах чужой земли его горячее русское сердце.

Вспоминая характерные свойства личности Чехова и впечатления от большинства его произведений, я нахожу, что он был во многом сходен с покойным Эртелем, столь поучительным и своеобразным в своих письмах и столь несправедливо у нас забытым. В обширной переписке Чехова, в личных о нем воспоминаниях сказывается его духовная самостоятельность. Уже смолоду в нем чувствуется сознание своего человеческого достоинства, не склонного рабствовать перед чужим умственным авторитетом или принижаться, с боязливыми отговорками и оглядками по сторонам, перед авторитетом материальной силы. Он следовал завету Пушкина «итти дорогою свободной, куда влечет свободный ум». Еще юношей семнадцати лет он писал своему брату: «Ничтожество свое надо сознавать перед богом, природой, умом, красотой, но не перед людьми». И всю жизнь он был поклонником духовной свободы, свободы, как он говорил Плещееву, от давления ходячих идей, навязанных лозунгов, суждений по шаблону, одним словом от того, что столь ошибочно называется общественным мнением, которое редко бывает проявлением общественной совести, но зачастую является выражением общественной страсти, слепой в увлечении и жестокой при разочаровании. Недаром для него Капитолийский холм и Тарпейская скала находятся в очень близком друг от друга расстоянии. Он знал, какую цену имеют иногда провозглашаемые принципы, вовсе не применяемые на практике, и по горькому опыту говорил: «Фарисейство и произвол царят не в одних

только купеческих домах и кутузках, а их приходится встречать в науке, литературе и даже среди молодежи». Поэтому он сознавался, что относится с отвращением к «умственным эпидемиям». Тщательно охраняя свою душевную свободу от «всепокоряющего» чувства любви, он пессимистически начертал в своей записной книжке: «Любовь — это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, — или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь». — Не сквозит в его произведениях и страха смерти, чем он существенно отличается от Тургенева, в целом ряде произведений которого звучит ужас перед неотвратимостью и жестокостью смерти, и от Л. Н. Толстого, постоянное возвращение которого к мысли о смерти и к заботе о том, что будет после нее, указывают на обширное место, занимаемое мыслью о ней в его душе. И тургеневское и толстовское отношение к смерти имело бы, конечно, не менее оснований гнездиться в душе Чехова: во всю вторую половину своей недолгой жизни он — неизлечимо больной — был приговорен к смерти и знал об этом, как врач, лишь стараясь утешать близких и друзей, скрывая от них возможность скорого исполнения этого приговора. В нем не было угрюмой отчужденности от людей или сосредоточения внимания исключительно на себе, — напротив, он, как видно из его писем, отзывчиво и чутко относился к людям, хотя и не пускал к себе в душу безразлично всякого мимоидущего. Не раз проявляя искреннюю деятельную доброту, он сердечно заботился о помощи разным несчастливцам, голодающим, чахоточным, — содействовал учреждениям, которые работали в их пользу и помогал отдельным лицам, попавшим в Ялту по болезни и впавшим в нужду, и делал все это так, что «левая рука не ведала, что совершала правая».

Стоит затем припомнить его отношение к детям, полное нежного чувства, глубокой мысли и заботливости о смягчении суровых впечатлений жизни, не ускользающих от внимания детей и оставляющих в их душе неизгладимые рубцы. Характерно и не раз встречающееся у него, очевидно вынесенное из житейской

вдумчивости, отношение к «жертвам общественного темперамента», чуждое слащавой чувствительности, но проникнутое глубоким состраданием, при котором банальное удивление: «как могут оне (женщины)?!» — замолкает перед гневным удивлением: «как могут они (мужчины)?!».

И к природе он умел относиться с тонким пониманием ее красоты и примиряющего значения. Достаточно указать на описание растительности и в особенности цветов на Сахалине и на многие места в его сочинениях, которые можно назвать «очными ставками с природой».

К творчеству Чехова вполне применимы образные слова о том, что жизнь сеет семена, а творчество, при посредстве воображения, выращивает плод. В литературе встречаются нередко две противоположности: или правдоподобные, почти фотографические, взятые с живых определенных лиц образы вплетаются в совершенно неправдоподобное, вымученное и нарочито сочиненное содержание, — или, наоборот, полное житейской правды содержание замыкает в себе совершенно отвлеченных, безжизненных и автоматически мертвых действующих лиц. У Чехова обилие сюжетов, почерпнутых из жизни в самых разнообразных ее проявлениях, как о том свидетельствует его записная книжка, соединялось с тонкой наблюдательностью, умеющею из подмеченных черт отдельных лиц создавать полные жизни целостные образы, причем глубокая вдумчивость и чувство меры идут у него рука об руку, не переходя, по выражению Л. Н. Толстого, «в пересоленную карикатуру на человеческую душу».

На ряду с его творчеством не меньшее внимание заслуживает его язык — ясный и простой, меткий и скупой там, где всякий излишек слов повредил бы силе впечатления и где необходима та «élimination du superflu»,[1] которая так блестяще достигнута братьями Гонкур, Доде и Мопассаном. Если припомнить, до какой степени искажается в настоящее время в разговорном и литературном отношении наш русский язык, —

[1] Устранение лишнего.

как вторгаются в него, без всякой нужды, иностранные слова и обороты, в забвении его законов и источников, — как втискиваются в него сочиненные словечки, лишенные смысла и оскорбляющие ухо, — как вообще на этот язык, который должен считаться народной святыней, смотрят многие, вопреки заветам Пушкина и Тургенева, как на нечто, с чем можно не церемониться, — то нельзя не признать большой заслуги Чехова в его внимательном и почтительном отношении к русскому языку. Его возмущали и столь часто встречаемая у нас небрежность переводов с чужих языков, самовольные прибавки к подлинному тексту там, где не хватает умения передать его в точности, и самодовольный покровительственный тон предисловий «от переводчика». В своей «Скучной истории» он зло, но справедливо указывает на недостаток большинства современных ему литературных произведений, в которых или все умно и благородно, но не талантливо, или талантливо и благородно, но не умно, или, наконец, умно и талантливо, но не благородно. Если прибавить к этому еще ряд произведений, которые изображают собою пересохший ручей мысли в пустыне вымученных слов, то нельзя не почувствовать, каким светом, ароматом и теплом веет от произведений Чехова. Его сравнивали нередко с Мопассаном как по выбору сюжетов, так и по способу изложения, сразу захватывающего читателя. В этом, конечно, много верного. Но преобладающая черта их творчества разная. У Мопассана господствующая нота — *ирония* над человеческою глупостью, жадностью и низменностью натуры. У Чехова — печаль по поводу этих и других отличительных свойств русского человека. Тургенев нарисовал нам *лишних* людей, не нужных для общества и несчастных в своем личном существовании; через несколько лет, когда начала заниматься заря общественной жизни, он же изобразил нам *бесполезных* людей, непригодных для опередившего их времени («догорай, бесполезная жизнь!» Лаврецкого). Чехов застал уже *хмурых* или вернее *унылых* и *тусклых* людей, современниками которых мы долгое время были, — способных многого *желать*, но не умеющих ничего *хотеть*, не имеющих «вчерашнего дня» и проводящих настоя-

щий день в бесплодных жалобах и жадном ожидании завтрашнего дня без ясного представления о том, что же предпринять, чтобы он — этот желанный день — наступил и что надо делать, когда он наступит. Он прозорливо сознавал, как тонок у нас слой истинно культурных людей, пролегающий между шумливыми критиками без всякой способности к созиданию и упорными «охранителями» без критического отношения к своим действиям и их неизбежным последствиям. Недаром он находил, что в нас «достаточно фосфору, но совсем нет железа» (как виден в этом врач!); что «нам необходим темперамент, а не кисляйство», и его возмущала «куцая бескрылая жизнь общества, в представителях которого так много житейской беспомощности». И это были не теоретические положения, а практические выводы, приобретенные на тернистом житейском пути от веселого «Чехонте», которому приходилось по пяти раз стучаться в маленькие редакции за получением заработанных трехрублевок, до выдающегося глубокого «Чехова», которому на первых шагах, по нашему обычному недоброжелательству ко всякому таланту, никто не подвязывал творческих крыльев, пока он сам их не вырастил и не развернул во всю ширь . . .

С. А. Андреевский.

(По личным воспоминаниям)

Сергей Аркадьевич Андреевский — полное собрание сочинений которого предположено к изданию — был человек, выдающийся во многих отношениях. Поэт и судебный оратор, критик и талантливый лектор, он вносил в свою разностороннюю деятельность оригинальные свойства своей личности: обостренное самонаблюдение, вдумчивость печального настроения и своеобразие взглядов на задачи правосудия. Восторженный и утонченный певец любви и в то же время пессимист; успешный представитель обвинительной власти на суде и там же затем горячий адвокат за подсудимого quand même et malgré tout;[1] крайний индивидуалист, равнодушный к вопросам общественного значения, нередко совершенно чуждый им — и умевший самоотверженно поступить в одном из них; самостоятельный и смелый во взглядах и слишком терпимый, несмотря на свою чуткость, в отношениях к людям совсем другого образа мыслей — он вполне выразился в своих, достойных внимания, произведениях.

Связанный с ним издавна, с нашей общей молодости, по службе и в личной жизни, я хотел бы в настоящем кратком очерке передать о нем мои воспоминания. Мы познакомились в 1868 году при введении в Харькове судебной реформы, пришедшей на смену старого бессудия и волокиты, когда элементарная справедливость была замкнута в роковой круг канцелярской тайны и безжизненной формалистики, не дававшей возможности услышать, в помощь правосудию, живое слово. Новые суды широко раскрыли двери и поприще этому слову и, внося новый

---

[1] Несмотря ни на что и вопреки всему.

элемент в жизнь общества, возбудили в последнем большой интерес к своей деятельности. Люди отжившего порядка с недоумением качали головой, чувствуя, что старые пути защиты и охраны своих прав закрыты, но люди, душою воспринявшие веянья «эпохи великих реформ», и в особенности учащаяся молодежь, были неизменными и жадными к новым впечатлениям посетителями суда. Среди них часто бывал студент юридическог факультета Харьковского университета Андреевский, Интересуясь моей деятельностью как товарища прокурора, он нашел случай ближе познакомиться со мною и внушил мне искреннюю к себе симпатию. По рассказам знавших его ближе, прежде он был жизнерадостным юношей, любившим светскую жизнь, ее лживые условия и пустые удовольствия. Барская, помещичья среда с ее высокомерными предубеждениями и с безоглядным существованием — на счет «Вишневого сада» и «Последнего выкупного свидетельства», так ярко описанная Чеховым и Салтыковым, вовлекала его в свои недра, не вызывая в нем протеста или недоумения. Но когда я узнал его уже взрослым молодым человеком (он родился в 1847 году), то под сдержанной внешней оболочкой хорошего воспитания и образования я подметил в нем уныние и безнадежный взгляд на жизнь. Казалось, что часто свойственное вдумчивой молодости сомнение в смысле и цели жизни наложило печать на его душу и что к нему можно было бы применить слова одного из его позднейших стихотворений:

Мне тяжко жить полуразбитым,
Мне гадок сон моей души!

Но скорбные тревоги мысли не утолили в нем тайную жажду жить, а представление о смерти, после которой наступает «ничто», и каждое ее проявление среди окружающих посеяли в нем тревогу, которую он не всегда умел скрыть. Это продолжалось первый год нашего знакомства. Но на следующий — он совершенно переродился. Его так часто затуманенный взор просветлел и исчезла печальная улыбка. Они сменились особо радостным настроением, как будто перед ним неотступно стоял, по его

*

же выраженію, «чистый образ виденья любимого». Так оно и было в действительности. Он встретил ту, которая стала впоследствии его женой, был ею очарован и полюбил ее всеми силами души, настойчиво и безоглядно. Эта любовь, возродившая его даже наружно, составила, по его воспоминаниям, одну из самых светлых страниц его жизни. Но счастье, которое его неотступно манило, досталось ему тяжелой ценой. Избранница его сердца была дочерью скромного, очень стесненного в средствах, отставного капитана и в провинциальном светском обществе никакого места не занимала, а родители Андреевского играли в последнем видную роль, особенно его мать, принадлежавшая к старинной и влиятельной по своим связям и отношением родовитой фамилии. Чрезвычайно властная, несмотря на свой ум, она не хотела помириться с намерением сына свершить то, что на старом барском языке называлось «mésaillance» и требовала от него прекращения всяких отношений с семьей своей возлюбленной. Он же, испытывая, что «сильна любовь, как смерть», не уступал. Решив бороться за свое счастье до последней крайности, он стал в положение бесприютного подчас бедняка, нуждающегося в самом необходимом. «Роскошествуя лишениями», по выраженію одного из житий, он не имел спокойствия и возможности для написания кандидатского рассуждения и должен был ограничиться, несмотря на свои способности и научную любознательность, званием действительного студента. Назначенный кандидатом на судебные должности при прокуроре палаты, он стал работать под моим руководством и проявил такую вдумчивость в различные области судебной деятельности, что я, перейдя в 1870 году в Петербург, стал настойчиво хлопотать о предоставлении ему должности судебного следователя, что и осуществилось назначением его в Карачев. Последние попытки родных удержать его от «пагубного шага» оказались тщетными, и в мае 1870 года осуществилась его горячая мечта «свить себе гнездо». Его жена была во многих отношениях «сотрудницей» его жизни и в тягостные минуты последней умела бодро проявлять трогательную доброту своего сердца и живость своей натуры, милую оригинальность и юмор своего слова — и

до 60 лет сохранила изящество и нежность своего внешнего облика. Призванный осенью того же года участвовать во введении судебной реформы в Казани, я пригласил туда Андреевского в качестве своего товарища по должности прокурора окружного суда. Здесь, а через год и в Петербурге, ему пришлось выступать в роли обвинителя. Служебная деятельность в годы осуществления судебного преобразования требовала от своих деятелей своего рода творчества. В прокуратуре нужно было выработать тип обвинителя — совершенно чуждый прежнему порядку. Условия английского судоговорения, во многом отличные от наших, не давали для этого достаточного материала; германская судебная практика с ее холодной схематичностью не представляла никакого, а французская давала вредный, хотя и наиболее доступный по устным и печатным описаниям. Было опасно увлечься подражанием французским ораторам в забвении разности национальных темпераментов и добрых душевных свойств русского человека. Трескучая декламация и искусственный пафос французского прокурора в связи со взглядом на подсудимого как на врага, с которым, роясь в его прошлом, можно не стесняться в приемах и в подборе доказательств, были бы весьма опасным образцом для подражания. Необходимо было вменить русскому прокурору-обвинителю в нравственную обязанность — сдержанность в слове, обдуманность и справедливость в выводах и рядом с осуждением доказанного преступления — отношение к подсудимому без черствой односторонности и без оскорбления в нем чувства человеческого достоинства. Недаром составители судебных уставов предоставили прокурору отказываться в судебном заседании от обвинения, когда основания последнего поколеблены и представитель такового не может по совести его долее поддерживать. Поэтому я и почти все мои товарищи прокурора объединились во взгляде на прокурора, как на *говорящего публично судью*, который предъявляет суду и представителям общественной совести — присяжным заседателям — без страстного увлечения свой спокойно выработанный вывод, вовсе не добиваясь во что бы то ни стало осуждения подсудимого.

Между этими товарищами прокурора были люди с большими знаниями и богато одаренные. Достаточно назвать: Масловского, Случевского, Жуковского и Маркова. Между ними видное место занимал и Андреевский — высокий и стройный до самой старости, с живым взглядом темнокарих глаз, с тонкой улыбкой под густыми усами, без искусственного повышения и понижения гармонического и ровного голоса и со скупым и редким жестом. Его сдержанное по форме, спокойное обвинение, однако, почти всегда достигало своей цели — *защиты общественного порядка* против его нарушителей, и он считался одним из сильных, по результатам, обвинителей, вызывавших особое внимание присяжных к своим доводам, чуждым красивых фраз и излишней полемики с защитником.

Слабого здоровья, страдая часто головными болями и отдавая свободное время чтению и изучению любимых писателей, он вел скромную и тихую жизнь, обитая с женой и двумя дочерьми в тесной квартире в глубине открытого двора небольшого дома на Лиговке. Мне очень памятны тихие вечера у него, когда он читал вслух необыкновенно искусно произведения особенно ценимых им Пушкина, Тургенева и Достоевского и любимых им французских поэтов. Последним он впоследствии посвятил ряд своих очень удачных переводов, а Достоевского и Тургенева воспел в прекрасных, прочувственных стихотворениях на их смерть.

1878 год имел решающее влияние на всю его последующую судебную деятельность. 13 июля 1877 года петербургский градоначальник Ф. Ф. Трепов приказал, яко бы за неуважительное поведение в его присутствии, наказать розгами содержавшегося в доме предварительного заключения осужденного по делу о политической демонстрации в 1876 году, перед Казанским собором, студента Боголюбова, приговор о котором еще не вошел в силу и мог подлежать пересмотру. Эта дикая расправа прошла в обществе, все внимание которого было обращено на тревожные перипетии восточной войны, без особых отголосков, но вызвала в доме предварительного заключения, где содержалось много молодежи по политическим дознаниям,

ряд самых мрачных проявлений возмущения и отчаяния. В январе 1878 года, на официальном приеме у Трепова, молодая девушка, назвавшаяся Козловой, выстрелила в него из револьвера, причинив рану, не имевшую смертельных последствий, так что вскоре раненый вступил в отправление своих обязанностей. Девушка эта оказалась Верой Засулич, проведшей годы молодости в мрачной обстановке административной ссылки и пожелавшей, по ее объяснению, обратить внимание общества на поступок Трепова и его безнаказанность. Дело о покушении Засулич на жизнь петербургского градоначальника было поставлено на суд, в полной уверенности властей, что присяжные заседатели, конечно, осудят стрелявшую. Прокурором палаты Лопухиным было предложено товарищу прокурора Окружного суда Жуковскому поддерживать в судебном заседании обвинение против Засулич. Но он отказался, указывая на несомненный политический характер поступка Засулич, не подлежащий по закону обсуждению присяжных заседателей, и заявляя, что выступление его в этом деле, как обвинителя, может очень дурно отразиться на его брате-эмигранте. Тогда Лопухин обратился с тем же поручением к Андреевскому. Но последний поставил необходимым условием своей обвинительной речи оценку и характеристику жестокого распоряжения Трепова. На это категорически не согласился Лопухин, требуя, чтобы обвинитель ограничился исключительно фактическими данными того, что произошло на приеме у градоначальника, и подведением их под соответствующие статьи Уложения о наказаниях. Такой узкой программы, исключающей обсуждение движущих побуждений поступка Засулич и противоречащих истинным задачам правосудия, Андреевский принять к руководству считал невозможным и, несмотря на уговоры Лопухина, отказался обвинять Засулич. 31 марта того же года, после судебного следствия, на котором мною, как председателем суда, было допущено, к великому и чреватому последствиями негодованию властей, а также Каткова («Московские Ведомости») и князя Мещерского («Гражданин»), разъяснение мотивов действия Засулич, и после бесцветной речи товарища прокурора

Кесселя и замечательной по огню и силе речи присяжного поверенного Александрова — Засулич была оправдана присяжными. Одним из ближайших результатов такого исхода дела был перевод Жуковского в глухую провинцию и увольнение Андреевского от должности с причислением к министерству юстиции. Так закончилась прокурорская служба Андреевского. Оба они вышли в отставку и вступили в сословие адвокатов, причем для Андреевского, смущенного в первое время отсутствием практики, мне, по счастливому стечению обстоятельств, удалось выхлопотать место юрисконсульта Международного банка, дававшее ему довольно прочное материальное обеспечение.

Адвокатская деятельность Андреевского шла, постепенно расширяясь и создавая ему репутацию очень талантливого защитника далеко за пределами Петербурга. По гражданским делам он выступал весьма редко и неохотно — сухие и строгие очертания гражданского права и узкие рамки процесса были ему не по душе.

С успехом в защите пришло и материальное довольство, давшее возможность жить в обстановке, удовлетворявшей его эстетическим вкусам, а сравнительный досуг, доставляемый перерывами между отдельными делами, расширил круг его знакомства среди товарищей по оружию и литературных деятелей. Особенно близок он был в Петербурге с кн. А. И. Урусовым и вел с ним оживленную и задушевную переписку, когда тот переселился в Москву, где и прошли последние мучительные годы его жизни; любил А. П. Коломнина, умевшего в шутливой форме сердечно отзываться на людское горе; высоко ценил разностороннего в своих трудах М. А. Загуляева. Им обоим Андреевский посвятил прочувственные некрологи. Одно время он очень сблизился с П. Д. Боборыкиным, который прозвал его «Муцием» (из «Песни торжествующей любви» Тургенева) и даже, по своей привычке, с фотографической точностью изобразил его под именем Алексея Артемьева, «юрисконсульта на поэтической подкладке», в своей повести «Изменник». Какая-то неловкость в речи Андреевского на юбилейном обеде Боборыкину обидела последнего, и они разошлись.

Мы часто видались — и, в годы тяжелых служебных переживаний с 1878 г. до начала последнего десятилетия прошлого века, я нередко находил под его семейным кровом уют и временное забвение житейских горестей. В этот именно период у Андреевского проявилось стремление к поэтическому творчеству, и он стал писать стихи, делясь ими со мной и требуя критического к ним отношения. Я находил и нахожу до сих пор, что его произведения по теплоте и искренности чувства, по тонкому изображению настроений, навеваемых картинами природы, по богатству рифм, по красоте образов и по устранению излишнего многословия давали ему право занять видное место среди молодых поэтов этого времени. Но он сам относился к себе недоверчиво, хотя писал стихи сразу — «aus einem Guss»,[1] без поправок и переделок. Я помню, как однажды, при разговоре с посетившим его знатоком и любителем музыки, возник вопрос о том, что хотел сказать Шуман своим знаменитым «Varum?» и какой смысл может быть вложен в ответ «Darum» . . . — «Ответ ясен» — сказал задумчиво Андреевский и, взяв карандаш, меньше чем в десять минут написал следующее стихотворение, не увидевшее печати, но оставшееся у меня в памяти:

Затем, что счастлив только тот,
Кто не изведал жизни гнет,
Не поселил в ком злобный гений
Больных и горестных сомнений
И кто простил судьбу за то,
Что нам неведомо ничто
Ни в море жизни необъятной,
Ни в тайне смерти непонятной.

Чтобы преодолеть его недоверие к себе, я показал некоторые из его стихотворений в редакции «Вестника Европы», с которою был особенно близок. Их встретили с одобрением и сочувствием, и на страницах журнала появились: «Мрак», «Обручение» и «Довольно» на тургеневскую тему, перевод «Ворона» Эдгара

---

[1] Цельной отливки.

Поэ, с очень интересным предисловием о технике этого удивительного поэта и еще несколько переводов. Наша критика, почти всегда недоверчивая и больше склонная глумлением и насмешками обрезывать крылья начинающим поэтам, встретила мелкими придирками и стихи Андреевского, но потом устами Арсеньева, Чуйко и Боборыкина сделала ему справедливую оценку.

Я стал убеждать Андреевского издать все им написанное отдельной книгой. Но его снова начали посещать сомнения... Тогда, в конце 1885 года, я купил тетрадь, в форме книги с белыми листами, и просил М. М. Стасюлевича отдать напечатать на первом листке: «С. А. Андреевский. Стихотворения. 1878—1885 гг. Петербург» — и в Новый год послал эту книжку Андреевскому, шутливо поздравляя его с появлением ее в свет. Эта шутка сломила его нерешительность. Стихотворения появились в двух изданиях, 1886 и 1898 годов, встреченных критикой благосклонно. Книжка первого издания тотчас по выходе была мне прислана автором с посвящением, в котором я был шутливо назван «отцом его музы».

Для свидетелей тех перемен в настроениях Андреевского, о которых я говорил, касаясь его юности, книга его стихов служит отголоском и выражением вновь овладевшего его душой безотрадного взгляда на жизнь. В ней слышится не только свойственная ему отчужденность от волновавших многих из его современников общественных вопросов, но и глубокий пессимизм, как будто то светлое настроение, которым любовь украсила его молодые годы, сменилось упорным разочарованием и мыслью о тщете жизни, в виду грозного призрака смерти, за которою наступает роковой мрак. Здесь не было никакого влияния Шопенгауера. Новый строй безнадежных мыслей автора возник самостоятельно и, несмотря на внешнее спокойствие и нередкую живость повадки Андреевского, обнаруживался, как только он оставался наедине с собою и отдавался своим поэтическим домыслам. Это сказывается и в его оригинальных произведениях, и в выборе иностранных произведений для переводов. Отдаваясь воспоминаниям, он находил, что в жизни «все

радости превратны и кратковременны мечты», что минувшая любовь и отжившие желанья — обманчивый бред, что

Нельзя в душе уврачевать ее минувшие печали,
Когда годами их печать на сердце слезы выжигали.

Он обращался к «чистому образу виденья любимого» с просьбою не слетать, светить над ним и не будить усталое сердце от сна нерушимого, дав ему успокоиться без мук. Одна природа его несколько утешала, и ей посвящено много красивых страниц, но все отравлено мыслью о старости, угрюмо грозящей издали, среди ровных дней, каждый из которых поет над человеком панихиду и говорит о смерти, потому что

Потерян ключ от милых бредней
И вечный мрак мелькает перед ним,
И знанье злит, а в сердце веры нет,
Когда ко снам заоблачным утрачены порывы
И двери вечности пред ними заперты...

и остается

Земля, одна земля!
И по краям обрывы,
И нет ни выхода,
Ни цели для мечты.

Говоря, что в душе — пустыня, в сердце — холод и нынче скучно, как вчера, и что его давит хандра, тяжеловесная, как молот, поэт просит:

Дайте мне, люди, побыть нелюдимым,
Дайте уняться неведомой боли,
Камнем тоска легла некрушимым.
Эх, умереть, разрыдаться бы, что ли!

Тем же разочарованием в минувших снах и глубоким пессимизмом проникнуто одно из лучших его больших стихотворений — «Мрак», кончающееся словами «темнокрылого гения» поэту:

Ты все излил, чем страждет грудь поэта,
А, может статься, и моя.
Я — вечный спутник бытия,
Я — голос тьмы: не знаю света...

Это же настроение привело Андреевского к очень удачному переложению исполненного тоски и печали тургеневского «Довольно» в стихотворную форму.

Грустный строй мыслей не помешал Андреевскому отдаваться адвокатской деятельности: вдумчиво — к причинам людских несчастий, приводящих их на скамью подсудимых, и отзывчиво — на их душевные переживания. Поставив себе задачей осуществление афоризма tout comprendre — tout pardonner,[1] он занял среди защитников особое место, отмежевав от области строгой логики и анализа юридических понятий область чувства. В то время, когда Спасович в своих защитительных речах блистал разбором улик и доказательств, научными справками и оценкой состава преступлений по выработанным на суде данным, доказывая, что в деянии подсудимого его не заключается; когда то же красноречиво, но в более общих чертах, предпринимали князь Урусов и Герард и когда Потехин вносил в свою задачу бытовые и экономические доводы, Андреевский почти не касался обычного материала судебного следствия — улик и доказательств — или касался его очень поверхностно, но предметом своей речи избирал личность подсудимого, его житейскую обстановку и условия окружавшей его среды, как бы говоря присяжным заседателям: «Не стройте вашего решения на доказанности его поступка, а загляните в его душу и в то, что неотвратимо вызвало подсудимого на его образ действий». К институту присяжных он относился с величайшим уважением, совершенно основательно видя в нем одно из больших общественных завоеваний. Сторонник суда присяжных, как выразителя чувства, вызываемого разбираемым делом, он восхищался им за то именно, в чем его упрекали, по поводу некоторых оправдательных приговоров, озлобленные противники в печати. «Суд улицы», по их ядовитому выражению, был в глазах Андреевского судом людей, свободных от профессиональной рутины и не связанных безжизненными нормами закона, но вносящих в свое решение разносторонний житейский опыт и голос сердца.

---

[1] Все понять — все простить.

Поэтому, в очень оригинальном докладе *о будущих задачах суда*, он со скорбью отмечал сокращение компетенции присяжных в пользу лицемерного суда с сословными представителями, в сущности, представляющего простой коронный суд со всей его непригодностью для суждения о важнейших преступлениях. По его горячему убеждению, выразившемуся во всех его адвокатских выступлениях, защитник должен говорить с представителями общественной совести не как юрист, а как писатель говорит с публикой. В свою защиту, которую он сам называл «литературой на ходу», он избегал вносить свой пессимистический взгляд на жизнь, но сознавал, что надо искать примирения с темными сторонами жизни не в суровом подчас начале справедливости, а в чувстве сострадания. К последнему взывал он, сводя свои речи, в сущности, к такому обращению к присяжным: «Вам говорят — будьте справедливы, но я говорю: будьте милосердны; вам говорят — осудите злое дело и деятеля, а я вас прошу: рассмотрите, что привело к этому делу, и простите деятеля». Материалом для такого рассмотрения и побуждением для сострадания являлась художественность картин и образов, которые он умел рисовать мастерски: «Когда все, — воскликнул он в одной из своих речей, — против одного, — надо попробовать за него заступиться!» В этом заступничестве он нередко изображал своих подзащитных такими, какими их личность его интересует и какими он хотел бы их видеть как художник и человек, память которого полна созданиями великих писателей. Отсюда — его частые ссылки на Шекспира и Данте, Лермонтова и Толстого, Тургенева и Достоевского и обширные цитаты из них, доходящие даже до куплетов из Фимушки и Фомушки («Новь»):

Возьмите, боги, сердце назад, назад, назад.

Это *писательство* имело иногда большой успех у присяжных и, как пример, очень соблазняло провинциальных адвокатов, которые в аналогичных случаях почти дословно приводили, яко бы от себя, места из его речей. «Говорящий писатель» вышивал по канве подлежащего рассмотрению дела новые, полные красоты и чувства узоры, часто, однако, шедшие в его поэ-

тическом полете вразрез с прозаической житейской тканью этой канвы. Он обыкновенно останавливался на изображении душевного состояния, на тревогах, муках и покоряющих волю порывах подсудимого пред совершением преступления, уговаривая за эти его переживания простить ему вину перед законом, охраняющим общежитие. Несомненно, что защитник, говоря о снисхождении и вызывая на ряду с правдивым голосом правосудия кроткие звуки милости к человеку, нередко глубоко несчастному, исполняет свою высокую обязанность и осуществляет в своих доводах знаменитый афоризм «qui n'est que juste — est cruel» (кто только справедлив — тот жесток), но этот прием должен быть основан на точно проверенных данных, выясненных по делу, а не на литературном творчестве и безусловном доверии к словам защищаемого, на которых строится романтическая и якобы психологическая картина его побуждений. Против этого иногда погрешал Андреевский, увлекаясь своей писательской задачей. Ярким примером этого служит его первая защита по делу Зайцева, обвинявшегося в убийстве приказчика меняльной лавки. Он говорил без пафоса, подчеркиваний и искусственных пауз, но нередко с тонкой и всегда уместной иронией, часто прибегая к красивым сравнениям и характеристикам людей, «которые среди житейской суеты не имеют времени совещаться сами с собой о том, как поступить в известном случае», или «хорошо думая, умеют скверно поступать». У него были целые житейские картины, дышащие правдой; таково, например, блестящее изображение таможни, как места соблазна для плательщиков пошлины, и т. п. Вообще, он был силен в защите по существу, но в выступлениях в кассационном суде (за исключением дела Мироновича), где были нужны не психология и поэтические очертания иногда далеких от действительности образов, а строгое юридическое мышление и изучение намерений законодателя, — он не имел успеха. Мне, к сожалению, не раз, в качестве обер-прокурора, пришлось предлагать Сенату оставить его кассационную жалобу без последствий.

В конце 90-х годов Андреевский выпустил второе, значитель-

но и едва ли основательно сокращенное издание своих стихотворений, заявляя в предисловии, что уже много лет он не пишет стихов и никогда к этому занятию не вернется, «хотя — писал он мне — Тургенев в письме к М. М. Стасюлевичу просил передать мне его просьбу непременно продолжать стихотворную деятельность, но я не был обольщен этим рескриптом моего кумира, лучше судя об окружавшей меня эпохе, прямо смертельной для «поэта в душе», и, поняв бесплодие рифмы, ушел во время». Подтверждая свое решение статьею о «вырождении рифмы», он находил, что Некрасов и его последователи много работали над тем, чтобы *опрозаить* стих и что беглый обзор указывает на обветшалость рифмы для истинно-поэтических стихотворений, и она пригодится в будущем лишь для оперных либретто, сатирических куплетов и гривуазных песенок. Рифма во многом похожа на танцы: как последние ныне утратили древнее религиозное значение и сделались забавою для молодежи, — так и рифма потеряла свое былое значение. Этот крайне оригинальный взгляд Андреевского, в связи с его горячей любовью к литературе, обратил его к критико-психологическому анализу выдающихся явлений последней. Он предпринял ряд литературных чтений в разных публичных собраниях и в заседаниях литературно-драматического общества Петербурга, где ему возражали или дополняли его выводы Я. П. Полонский, К. К. Случевский и др. Эти «чтения» были собраны в одну книгу, имевшую вполне заслуженный успех и вышедшую тремя изданиями. В ней автор является вполне самостоятельным критиком, не подчиняющимся никаким партийным или кружковым «директивам и лозунгам» и свободным от издавна обычного у нас, по удачному выражению Герцена, «наклеиванья заранее припасенных ярлыков» на автора и его произведение. В Андреевском, как критике, сказывается созерцатель, стремящийся к объективности, сообщающий о вынесенных им впечатлениях и ожидающий от писателя его собственного свидетельского показания о самом себе. Почти исключительно интересуясь отношением писателя и поэта к трем важнейшим вопросам в жизни — о боге, о смерти и о любви, — он рассматривает это

отношение с большою чуткостью к малейшим созвучиям между разными писателями и вниманием к тонким оттенкам у каждого. Пред читателем проходят: яркий образ несправедливо забытого Баратынского с его глубокой печалью по поводу душевного разлада между разумом и чувством, Л. Н. Толстой, Достоевский и Тургенев — во взаимном сопоставлении, Некрасов, Всеволод Гаршин и др. Все они обрисованы, так сказать, «сами по себе», в пределах своего творчества, взятые вне обычного описания их среды, обстановки, общественных условий и веяний, могущих влиять на последнее, — обрисованы сильным и точным языком с устранением всех ненужных подробностей. Это устранение (l'élimination du superflu), на котором так стояли Флобер, Гонкур и Мопассан, составляет большое достоинство «литературных чтений». Как пример этого языка, можно привести определение различия в творчестве Толстого и Тургенева: «Любимыми темами для Тургенева были природа и женщина или, вернее, девушка. Величайшим ужасом для него была смерть. Толстовские темы — бог, смерть и любовь — должны быть изменены для Тургенева так: *природа*, смерть и любовь. У Толстого преобладающая задача — искание правды; у Тургенева — искание красоты. Для Толстого любовь к женщине — одна из сложных задач жизни; для Тургенева — высшее счастье, праздник жизни, незаслуженное блаженство, величайшая радость сердца. Смерть для Толстого — прежде всего глубокая тайна, для Тургенева — ненавистный враг жизни». Самое замечательное из «чтений» посвящено «Братьям Карамазовым». Отличаясь глубокой проникновенностью в мысль великого писателя, оно явилось ранее всех серьезных разборов этого романа, не исключая и «Великого инквизитора» Розанова. Можно не соглаеиться с некоторыми определениями свойств и характера творчества лиц, интересующих Андреевского, — находить, что у Толстого не «необычайная художественная память впечатлений», а поразительная сила его наблюдательности; не разделять, что никого из его героев нельзя любить из-за темных сторон их личности, как будто рембрандтовская светотень, присущая письму Толстого, может помешать горячо вместе с ним любить, напри-

мер, Платона Каратаева; можно не усматривать у Лермонтова сознания своего «божественного происхождения» в критическом отношении к окружавшей его светской жизни, в его любви к природе и в исключительном среди русских поэтов непосредственном, чуждом сомнений отношении к *личному* богу. Можно, наконец, не разделять восторга автора пред невропатической Башкирцевой и ее дневником, но нельзя отрицать живого интереса, вызываемого «литературными чтениями», раз принявшись за которые трудно оторваться. В некоторые из них вложено много личной любви, несмотря на объективный тон автора. Особенно это сказывается по отношению к Лэрмонтову, чей творческий образ разработан с особым чувством. Из бесед с Андреевским я убедился, что более всех русских поэтов, не исключая и Пушкина, он любил Лермонтова, почти все стихи которого знал наизусть и любил цитировать. Этим он напоминал людей старшего поколения, например, Гончарова, — в их восторгах при цитировании множества мест из творений Пушкина. У меня хранилось подаренное мне подлинное письмо Лермонтова, и я, прослушав чтение Андреевского, послал ему это письмо. Несмотря на свой «зарок», он мне отвечал следующими стихами, рисующими его отношение к автору письма:

Дорогой друг! Мне свят и дорог ваш листок,
Как мусульманину Восток;
Целую след летучих слов
Того, кто скорбен и суров,
Живя не здешним вдохновеньем,
Клеймил наш мир своим презреньем...

Горячо, горячо благодарный С. А.

Так шла жизнь Андреевского до сорока лет. Казалось, что она сложилась в личном смысле недурно. Широкая адвокатская деятельность, авторство, снискавшее себе внимание и добрую, в большинстве случаев, оценку, круг во многом единомышленных друзей и интересных знакомых и, наконец, семейное довольство и уют — все это обеспечивало спокойствие и душевное удовлетворение «на склоне дней», но именно в начале этого «склона» на него налетела одна из тех бурь, которые

разрушают сложившийся уклад личной жизни. Он встретил ту женщину, которая затмила для него старый «чистый образ виденья любимого» и оставила, по его словам, «громадную, яркую и важнейшую полосу в его жизни». Для него наступили дни ощущений непосредственной близости к «счастью всей жизни» и затем долгие дни тревог, мучительной разлуки и разрывающих сердце тяжких свиданий. Посвящая описанию этой всепокоряющей страсти несколько глав в «Книге о смерти», он мог бы, подобно Тютчеву, воскликнуть:

О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность!

Любовь воскресила в нем, несмотря на прежнее его заклятие, желание писать стихи, и они появились в печати со следующим посвящением любимой женщине:

Тебе — на языке, едва тебе известном,
Напевы приношу, как поздние цветы.
Скажу ль, что я нашел в лице твоем прелестном,
Когда мне в сумраке звездой блеснула ты?
Мне снилось — я поэт, но лишь до нашей встречи,
Я разлюбил мечты, твой образ полюбя,
И если в песнях есть хоть звук небесной речи,
Он был подсказан мне в предчувствии тебя.

«Книга о смерти» представляет многолетний отчет Андреевского самому себе о всех его переживаниях, изложенных с большою искренностью и чрезвычайной откровенностью. Она отчасти напоминает собою «Confession» Руссо, будучи своего рода исповедью сына последнего века, с больной душой и скептическим умом. Хотя в ней много ярких воспоминаний о жизни, о встречах, о далеком детстве и юности, много живых описаний современной автору «злобы дня», но она все-таки вполне оправдывает свое название. Да! ее главное содержание — смерть — царит во множестве художественно и просто, прочувственно и строго написанных страницах. Мысль о тщете «гадкого, тревожного и непонятного призрака», называемого жизнью, постоянно сменяется картинами смерти. Последняя ужасна, отвратительна и непостижима во всех своих проявлениях и последствиях;

природа поставила ее в средоточии жизни, как тарелку с ядом для живых, которым неизбежно придется стать «зарытой куклой, опущенной вместе с гробом в дыру». Пугающий и сжимающий сердце вид усопших, их предсмертные минуты, растерянность окружающих близких, вплоть до тела «самоубийцы Дуньки», лежащего на столе анатомического театра и уже разрезанного на части, нарисованы с большой реальностью и силой. Читая эти страницы, невольно вспоминаешь не столь любимого автором Баратынского, для которого в руке смерти «олива мира, а не губящая коса», но Шопенгауера, называющего смерть «курносой гадиной»; начинаешь понимать ужас Андреевского даже пред старостью, по поводу которой он говорит, что обычное письменное обращение к людям преклонного возраста, «глубокоуважаемый», — прежде всего вещает им о глубине близкой могилы. Если, однако, эта книга проникнута его прежним взглядом на смерть, лишь выраженным более решительно, то былая его безнадежность уступает в ней, не без колебаний, под несомненным влиянием впечатлений ранней молодости, взгляду более успокоенному и примиренному с «таинственным руководительством судьбы». «После долгих терзаний, — пишет он, — в конце концов, я чувствую, что со смертью мы отходим к богу, под его крыло. Из-под этого крыла мы вышли на свет и под него укроемся... Да будет!»

Кроме рассуждений о тех вопросах, которые Гейне называл «проклятыми» и остающимися без «прямого ответа», «Книга о смерти» заключает в себе ряд остроумных афоризмов и во многом поучительные для историка нашей общественности картины былого помещичьего быта и барской обстановки, а также меткие характеристики многих из современных автору заметных деятелей. Посылая ее мне для прочтения, он писал: «Хотя во многом мы с вами на разных полюсах, но все это не мешает нашей взаимной и искренней дружбе». Поэтому, не разделяя некоторых из высказанных им взглядов, я не могу не признать за «Книгой о смерти» большой ценности. В редких из литературных произведений авторы так смело обнажают свою душу и так далеки от искусственности и деланности их содержания.

*

Все, кому довелось прочитать книгу еще при жизни Андреевского, были восхищены ее прекрасным, сильным и чуждым многоглаголанья языком. Андреевский всю жизнь оставался верен трогательному завету Тургенева о русском языке, которым оканчиваются «стихотворения в прозе».

В последние годы жизни Андреевского вокруг него, в области личных отношений, образовывалась постепенно пустыня. Одних из дорогих ему людей похищала смерть; других безвозвратно удаляла из его близости жизнь; умерла еще в полной силе своих способностей его мать, давно уже примирившаяся с сыном и часто гостившая в его семье; еще раньше скончались два его брата, один из которых — близнец с ним — был замечательным математиком и в очень молодые годы достиг звания профессора Харьковского университета; умер горячо оплаканный Андреевским князь А. И. Урусов, в котором он чтил любящего и снисходительного друга и блестящего оратора, и, наконец, во время последней войны, после длительного и тяжкого разрушения организма, скончалась его жена. Затем настали тревожные дни революции; в адвокатской деятельности водворилось деловое затишье и возникли тяжелые материальные условия 1917/1918 годов. Без занятий, вынужденный опустошить свою квартиру и лишиться любимых книг и произведений искусства, автор «Книги о смерти» ожидал прихода последней. Она не замедлила, и 9 ноября 1918 года тяжкое воспаление легких, сопровождаемое двухнедельными большими страданиями, унесло Андреевского.

Петербург.

Воспоминания старожила.

Не один Петербург настоящих дней—пустынный, безжизненный и «оброшенный», но и тот огромный и густо населенный, роскошно обстроенный город, полный торгового и уличного движения, каким он был пред злополучной войной до 1915 года, во многом отличается от Петербурга с начала 50-х до половины 60-х годов, не только своим внешним видом, обычаями и условиями жизни, но даже и названием. Историческое имя, связанное с его основателем и заимствованное из Голландии, напоминающее «вечного работника на троне», заменено, под влиянием какого-то патриотического каприза, ничего не говорящим названием Петрограда, общего с Елизаветградом, Павлоградом и другими подобными. Старый город Святого Петра иногда возникает в памяти старожила в своем прежнем оригинальном виде и хочется, «перебирая четки воспоминаний», пройти по нему с посетителем и познакомить его с этими, отошедшими в область безвозвратного прошлого, воспоминаниями.

Перед нами Знаменская площадь и вокзал Петербургско-Московской железной дороги, за постепенной постройкой которого в конце 40-х годов с жадным вниманием и сочувствием следил Белинский, живший на берегу Лиговки близ Невского в небольшом деревянном доме, выходившем окнами на строящееся здание. Проведение нынешней Николаевской железной дороги в начале 50-х годов составляло событие государственной важности. Первоначально ее предполагалось вести чрез Новгород, но Николай I провел прямую линию между Петербургом и Москвой и приказал строить дорогу, руководствуясь

ею, не стесняясь никакими препятствиями. Оставшийся в стороне от большого движения Новгород захирел и стал, в сущности, лишь памятником старины в своих церквах, монастырях и урочищах, к которому недаром Добролюбов обратился со словами: «Все гласит в тебе о прошлом, вольной жизни край, даже мост твой с надписаньем: строил Николай».

Быть может, на решение Николая I подействовали и тяжелые воспоминания о Грузине (усадьба Аракчеева) и о бунте военных поселений. С открытием дороги, постройку которой охарактеризовал в своих скорбных стихах Некрасов, забыто и запустело старое шоссе между Петербургом и Москвой, по которому прежде было большое почтовое движение и на котором была станция, прославившаяся в нашем кулинарном деле пожарскими котлетами. Николаевская дорога была по времени сооружена второю в России. Первою построена Царскосельская железная дорога, как кажется, третья, по времени, в Европе. Первая была между Нюренбергом и Фюртом; вторая — между Парижем и Версалем, и на ней произошло первое тяжелое железнодорожное несчастие от свалившегося под насыпь и объятого пламенем поезда.

У нас публика относилась с недоверием и страхом к новому средству сообщения. Бывали случаи, что остановленные у переездов через рельсы крестьяне крестили приближавшийся локомотив, считая его движимым нечистой силой. Для обращения этих страхов в более веселое настроение первые месяцы впереди локомотива устраивался заводной органчик, который играл какой-нибудь популярный мотив. Вагоны III класса на Царскосельской дороге, до начала 60-х годов, были открытые с боков, что представляло некоторую опасность для глаз пассажиров от летящих из трубы искр. Управляющий движением этой дороги отличался большой оригинальностью: говорили, что на его визитных карточках было напечатано: Directeur du chemin de fer de Pétersburg à Tsarskoye selo et retour. [1]

Посредине железнодорожного пути между Петербургом и

---

[1] Директор железной дороги Петербург — Царское Село и обратно.

Москвой находилась станция Бологое. Здесь сходились поезда, идущие с противоположных концов, и она давала, благодаря загадочным надписям на дверях «Петербургский поезд» и «Московский поезд» повод к разным недоразумениям комического характера. Движение было сравнительно медленное: почтовый поезд шел 30 часов, причем всех интересовал и тревожил переезд по Веребьинскому мосту, перекинутому через Волхов на очень большой высоте и покоившемуся на сложных деревянных устоях. Вагоны не имели отдельных купэ и женских отделений. Места первого класса состояли из длинных кресел, раскидывавшихся на ночь для сна пассажиров. Билеты представляли длинный лоскут бумаги с наименованием станций. Кондуктора носили военную форму и особые каски. Перед отправлением поезда звонили три раза, затем наступало томительное молчание, раздавался зычный голос обер-кондуктора «готово», за ним следовал свисток, поезд дергался для испытания трудоспособности локомотива и двигался, наконец, в путь.

С таким поездом приезжает впервые в Петербург ожидаемый мною посетитель, сгорающий нетерпением познакомиться с «Северной Пальмирой» в ее подробностях и особенностях, и мы начинаем наше странствование по городу.

Знаменская площадь обширна и пустынна, как и все другие, при почти полном отсутствии садов или скверов, которые появились гораздо позже. Двухэтажные и одноэтажные дома обрамляют ее, а мимо станции протекает узенькая речка, по крутым берегам которой растет трава. Вода в ней мутна и грязна, а по берегу тянутся грубые деревянные перила. Это Лиговка, на месте нынешней Лиговской улицы. На углу широкого моста, ведущего с площади на Невский, стоит обычная для того времени будка — небольшой домик с одной дверью под навесом, выкрашенный в две краски: белую и черную, с красной каймой. Это местожительство блюстителя порядка — будочника, одетого в серый мундир грубого сукна и вооруженного грубой алебардой на длинном красном шесте. На голове у него особенный кивер внушительных размеров, напоминающий большое ведро с широким дном, опрокинутое узким верхом вниз. У

будочника есть помощник, так называемый подчасок. Они оба ведают безопасностью жителей и порядком во вверенном им участке, избегая, по возможности, необходимости отлучаться из ближайших окрестностей будки. Будочник — весьма популярное между населением лицо, не чуждое торговых оборотов, ибо, в свободное от занятий время, растирает у себя нюхательный табак и им не без выгоды снабжает многочисленных любителей.

Направо от станции начинается Старый Невский. Поезд пришел рано утром, и нам дорогу пересекает не совсем обычная процессия, окруженная солдатами в коротких мундирах с фалдочками сзади, в белых полотняных брюках (дело происходит летом), с двумя перекрещивающимися на груди кожаными перевязями, к которым прикреплены патронная сумка и неуклюжий тесак, — с тяжелыми киверами «прусского образца». Среди них движется колесница, к утвержденному на которой столбу привязан человек в арестантском платье. На груди у него доска с названием преступления, за которое он судился. Сзади едут официальные провожатые — священник, нередко врач и секретарь суда, решившего судьбу этого несчастливца. Под звуки барабанной дроби мы идем в некотором отдалении за этим поездом и вступаем на Старый Невский. Он обстроен окруженными заборами невысокими деревянными домами с большими и частыми перерывами. Никакой из ныне существующих в этой части Невского улиц еще нет. Есть лишь безымянные переулки, выходящие в пустырь, в глубине которого виднеются красивые здания казацких казарм. По левой стороне улицы мы подходим к обширной площади, называемой Конной, от производящегося на ней в определенные дни конского торга, и служащей для исполнения публичной казни, производимой всенародно. Процессия останавливается, солдаты окружают эшафот кольцом, и на него входит чиновник, читающий приговор. Если осужденный «привилегированного сословия», палач ломает над его головой шпагу, если же он «не изъят по закону от наказаний телесных», то над ним совершается казнь плетьми. Палач, вооруженный плетью, становится в нескольких шагах от об-

наженного по пояс и привязанного в соответствующем положении осужденного и, крикнув: «поддержись, ожгу!», начинает наносить удары, определенные в приговоре, после чего истерзанного везут в тюремный лазарет, а по выздоровлении заковывают в ручные и ножные кандалы, выжигают на лице его клеймо и ссылают в Сибирь. Мы проходим быстро мимо этого отталкивающего и развращающего зрелища, уничтоженного лишь в 1863 году, вместе с варварским наказанием шпицрутенами. Последнее описано у Ровинского в его исследованиях о старом суде и изображено в потрясающей картине у Л. Н. Толстого, в его рассказе «После бала».

Идем далее по направлению к Александро-Невской Лавре. Навстречу нам мчится запряженная четверкою, с форейтором и двумя лакеями в треугольных шляпах на запятках, карета. Сквозь стекла ее дверец виднеется белый клобук с бриллиантовым крестом. Это митрополит, отправляющийся на утреннее заседание синода. Подходя к монастырю, мы видим редкие каменные здания и между ними здание духовной консистории, где чинится расставшимися с соблазнами мира монахами своеобразное правосудие по бракоразводным делам, нередко при помощи «достоверных лжесвидетелей», и проявляется начальственное усмотрение под руководством опытнойканцелярии, по отношению к приходскому духовенству, вызвавшее весьма популярное в его среде яко бы латинское изречение: «Consistorium protopoporum, diaconorum, diatchcorum, ponomarorum — que obdiratio et oblupatio est».

Возвращаясь назад, мы встречаем богатые похороны. На черных попонах лошадей нашиты, на белых кругах, нарисованные гербы усопшего. На «штангах», поддерживающих балдахин, стоят в черных ливреях и цилиндрах на голове «официанты», как это значилось в счетах гробовщиков. Вокруг колесницы и перед нею идут факельщики в черных шинелях военного покроя и круглых черных шляпах, с огромными полями, наклоненными вниз. В руках у них смоляные факелы, горящие, тлеющие и дымящие. Так как за всей процессией не ведут верховую лошадь в длинной черной попоне, то, очевидно, хоронят не «ка-

валериста», а штатского. Процессия имеет печальный характер, более соответствующий значению ее, чем современные — декоративные с электрическими лампочками и грязноватыми белыми фраками на людях, несущих, вместо факелов, фонари. Гроб, всегда деревянный, обшитый бархатом или глазетом с позументами. Металлических гробов тогда не было.

Вступая на Невский, перейдя Лиговку, мы встречаем довольно широкие тротуары, в две плиты, постепенно затем расширенные до их настоящего вида. У тротуаров, в двух саженях одна от другой, поставлены невысокие чугунные тумбы, выкрашенные в черную краску. Перед большими праздниками их жирно красят вновь, причиняя тем некоторый ущерб платьям проходящих и задевающих за них франтих. В дни иллюминаций на них и около них ставятся зажженные и портящие воздух едким дымом плошки. На Невском, Морской и некоторых из главных улиц стоят на солидных чугунных столбах газовые фонари. Все остальные местности в городе освещаются масляными фонарями на четырехугольных столбах, выкрашенных подобно будкам. Такой фонарь имеет четыре горелки перед металлическими щитками, но свет дает лишь на очень близком расстоянии вокруг себя. В узкой Галерной улице такие фонари висят довольно высоко на веревках, протянутых от домов с обеих сторон улицы. По улице в разных направлениях движутся со скоростью, всегда удивлявшею иностранцев, дрожки, коляски и кареты, самых разнообразных фасонов. Кареты — часто четырехместные — на сложных рессорах, с высокими козлами и откидной ступенькой у дверец. Площадка сзади кузова обыкновенно утыкана гвоздями, обращенными острием кверху, или она заменяется обручем с остроконечными зубцами. Это делается для того, чтобы уличные ребятишки не устраивались сзади кареты, что подало повод в свое время Некрасову сказать: «Не сочувствуй ты горю людей, не пиши ты гуманных книженок, но не ставь за каретой гвоздей, чтоб вскочив накололся ребенок...»

Кареты знатных лиц запряжены обыкновенно четверкой цугом с форейтором на передней паре, кричащим обычное в то время: «Пади!» или «Эй, берегись!». На кучере цветная четы-

рехугольная шапка, обшитая по краям шнурком с завитками. У кучеров царской фамилии она голубая. На козлах карет высоких военных лиц, рядом с кучером, помещается лакей в шишаке[1] в синевато-серой шинели, капюшон которой обшит двумя широкими красными полосами, а если это экипаж иностранного посланника, то рядом с кучером в кафтане, обшитом по борту позументом, сидит егерь в охотничьем наряде, нередко с полусаблей на черной лакированной перевязи. Другой вид экипажей составляют пролетки, с довольно узким сиденьем, заставляющим едущих вдвоем держаться друг за друга. Пролетка на стоячих рессорах и с низенькой спинкой, не дающей возможности к ней прислониться. У богатых и деловых людей пролетка более удобна. Иногда она имеет очень узкое сиденье, исключительно для одного человека и называется «эгоисткой». В «собственные» пролетки нередко запряжены две лошади: в корню и на пристяжке. Последняя низко наклоняет голову к земле и, извиваясь, обыкновенно забрасывает седока пылью и комьями грязи.

В свободное от постов время встречаются кареты, сквозь окна которых виднеются перины, одеяла и подушки. У кучера на правой руке сделана перевязь из полотенца, а иногда из лент, которыми украшаются и гривы лошадей. Это торжественно везут какое-нибудь купеческое приданое к предстоящей свадьбе.

Наряду с дрожками существует «калибер» или «гитара», своеобразно устроенная машина для передвижения, на продолговатом сиденьи которой нужно помещаться, если ехать вдвоем, боком друг к другу и обращенным лицом в противоположные стороны, а если ехать одному, то для большей устойчивости нужно сидеть верхом. Этот род передвижения особенно дешев в 50-х годах; от Знаменской площади до Адмиралтейства или до Сенной площади можно доехать за десять копеек. На спине из-

---

[1] Этот шишак состоял из обыкновенной военной каски, на верху острия которой было у бомбы срезано пламя. Такие же шишаки присвоены были в начале 60-х годов городовым.

возчиков висит на ремешке белый жестяной билет с номером.

На Невском нет ни трамваев, ни конно-железной дороги, а двигаются грузные, пузатые кареты, огромного размера, со входною дверцей сзади, у которой стоит, а иногда и сидит, кондуктор; это омнибусы, содержимые много лет купцом Синебрюховым и курсирующие преимущественно между городом и его ближайшими окрестностями — селом Александровским, на Шлиссельбургском тракте, Полюстровом возле Охты и т. п. Неуклюжие и громоздкие, запряженные чахлыми лошадьми, они вмещают в себе до 20-ти пассажиров и движутся медленно, часто останавливаясь для приема и выпуска таковых.

В первой половине 60-х годов появляются на улицах изящные одноконные каретки «товарищества общественных экипажей». Для них установлена такса. На козлах сидит, в сером цилиндре и гороховом пальто, бритый кучер с длинным бичом в руках; лошади в шорах и английской упряжи. В населении быстро установилось, в виду сходства бича с удочкой, популярное название и кучера и экипажа «рыболовом». Разные злоупотребления со стороны публики и самих рыболовов прекратили, за разорением товарищества, этот кратковременный способ передвижения.

Между проходящими часто можно встретить бравого молодца, идущего быстрой походкой, одетого в форменный короткий сюртук военного образца, в черной лакированной каске с гербом, с красивой полусаблей на перевязи и большой черной сумкой через плечо. Это почтальон, которому популярный в 40-х годах, ныне забытый, поэт Мятлев посвятил стихотворение, начинающееся так: «Вот он,— форменно одет,— вестник радостей и бед; сумка черная на нем, кивер с бронзовым орлом. Сумка с виду хоть мала, много в ней добра и зла. Часто рядом в ней лежит и банкротство и кредит...» и т. д.

Среди идущих много военных: солдаты в длинных серых шинелях, надетых в рукава, офицеры в шинелях светлосерого сукна с пелеринами в накидку. У высших чинов высокие треугольные шляпы с пучком черных или пестрых петушиных перьев наверху. К половине пятидесятых годов эти шляпы за-

меняются касками, а затем — кепи; шинели заменяются пальто, а генералам присвоены ярко-красные брюки с золотым лампасом.

На улицах много разносчиков с лотками, свободно останавливающихся на перекрестках для торговли игрушками, сбитнем, мочеными грушами, яблоками. Пред Гостиным двором и на углах мостов стоят продавцы калачей и саек, дешевой икры, рубцов и вареной печонки. У некоторых на головах лотки с товаром, большие лохани с рыбой и кадки с мороженым. Они невозбранно оглашают улицу и дворы, в которые заходят, восхвалением или названием своего товара «по грушу — по варену!» «шток-фиш!» и т. д. Торговцам фруктами посвящен был в те годы популярный романс: «Напрасно, разносчик, ты в окна глядишь, под бременем тягостной ноши. Напрасно, разносчик, ты громко кричишь: пельцыны, лимоны хороши». Эти пельцыны и лимоны привозились тогда на кораблях и были гораздо большей редкостью, чем в последнее время.

К разносчикам присоединяются торговцы платьем и татары, и дворы больших домов оглашаются громкими предложениями: «старого платья продать!» и «халат, халат, халат!»

До 60-х годов прохожие не курят, — это строго воспрещается.

Переходя через Знаменскую площадь, мы оставляем направо ряд параллельных улиц, застроенных деревянными домами, напоминающими далекую провинцию. Некоторые из них со ставнями на окнах, задернутых днем густыми занавесками, имеют незавидную репутацию, на которую завлекательно указывают большие лампы с зеркальными рефлекторами в глубине всегда открытого крыльца. Эти улицы, в которых обычно поселялись разного рода ворожеи и гадалки, пересекаются одной, сравнительно широкой с большим пустырем и ведущей к Смольному монастырю, — Слоновой, названной так, потому что на ней когда-то помещался особый двор для слонов, неоднократно даримых русским императрицам персидским шахом. Ныне это Суворовский проспект.

Невский вплоть до Аничкова моста вымощен булыжником. Мы встретим торцовую мостовую, лишь перейдя последний.

Вступая на Невский, мы оставляем влево, на берегу Лиговки, деревянный одноэтажный с садиком дом Галченкова, в котором, «упорствуя, волнуясь и спеша», работал и умер Вассарион Григорьевич Белинский. В этом доме происходит у него живой обмен мыслей с небольшим кругом людей, умевших понять и оценить великого критика. Здесь писались глубокие и возвышенные страницы его отзывов о различных явлениях литературной жизни. Сюда незадолго до его смерти пришло приглашение явиться «для беседы» с хозяином его в знаменитое Третье отделение. Здесь Тургеневу пришлось выслушать рисующий Белинского упрек, обращенный им к жене, напоминавшей, что стынет поданный обед: «Как можно думать об этом, когда мы еще не кончили спора о бытии бога». Отсюда прах Белинского в 1848 году отвезли на далекое Волково кладбище, а его имени нельзя было упоминать в печати. Могила долгое время была оставлена без ухода и даже «память благодарная друзей дороги к ней не проторила» (Некрасов).

Дома на Невском в значительной степени имеют однообразный бесцветный характер, постепенно по направлению к Аничкову мосту увеличиваясь в объеме и высоте. С правой стороны — ряд домов, в которых помещаются экипажные заведения, с выставкою за стеклами широких окон обширных помещений карет, колясок и дрожек. Чередуясь с ними, идут в нижних этажах глубокие темноватые помещения, в которых часто находятся театры марионеток, случайные выставки и кабинеты восковых фигур, очень популярные в то время.

Нынешняя Надеждинская улица не так длинна, как теперь: на линии теперешней Жуковской, тогда Малой Итальянской, существует сплошная стена разных построек.

Пройдя мимо нее, мы встречаем двухэтажный дом Меняева, разделенный на два флигеля, среди которых открывается обширный двор, с деревянным красивым домиком посредине. На балконе одного из каменных флигелей, выходящем на Невский, сидит в халате, с длинной трубкой в руках и пьет чай толстый человек с грубыми чертами обрюзглого лица. Это популярный Фаддей Венедиктович Булгарин, издатель и

редактор «Северной Пчелы» — единственной в то время газеты, кроме «Русского Инвалида» и «Полицейских ведомостей», — печатный поноситель и тайный доноситель на живые литературные силы, пользующийся презрительным покровительством шефа жандармов и начальника Третьего отделения. Газета его, благодаря исключительному положению, пользуется распространением, помещая иногда, в легковесных фельетонах бойкого редактора, рекомендации различных угодных ему магазинов и предприятий. Для характеристики «Видока Фиглярина», как назвал его Пушкин, намекая на известного французского сыщика Видока, достаточно припомнить стихи того же поэта: «Двойной присягою играя, поляк в двойную цель попал: он Польшу спас от негодяя и русских братством запятнал».

На углу Невского и Литейной, в угловом доме, помещается известный и много посещаемый трактир-ресторан «Палкин», где в буфетной комнате, с нижним ярусом оконных стекол, в прозрачных красках изображающих сцены из «Собора парижской богоматери» Гюго, любят собираться одинокие писатели, к беседе которых прислушиваются любознательные посетители Палкина. Здесь бывали нередко поэт Мей и писатель Строев и, с начала шестидесятых годов, заседает Н. Ф. Щербина, остроумная и подчас ядовитая беседа которого составляет один из привлекательных соблазнов этого заведения.

Почти рядом — дом графа Протасова, в лице которого звание гусарского полковника оригинальным образом оказалось соединенным с должностью обер-прокурора Святейшего Синода. В конце этой стороны Невского высится большой и многолюдный дом купца Лыткина, в котором обитают многие из артистов Александринской сцены.

В нем произошла в половине пятидесятых годов одна из житейских драм, произведшая сильное впечатление. На верх парадной лестницы, с широким пролетом, ведшей в четвертый этаж, забралась старая, седая женщина, почему-то позвонила у ближайших дверей и, бросившись вниз, разбила выступавший на толстой чугунной трубе газовый фонарь, погнула самую трубу и убилась до смерти, плавая в луже крови, которая

всосалась в пол из песчаника и оставила трудно смываемое пятно. Оказалось, что несчастная жила в отдаленном углу Петербурга с нежно любимой воспитанницей, молодой девушкой. Со всем жаром последней и запоздалой страсти она влюбилась в посещавшего их почтового чиновника. Он сделал предложение воспитаннице, и старуха, скрывая свои чувства, хлопотала о приданом для нее, о приготовлениях к свадьбе и присутствовала на бракосочетании, но на другой день ушла из своей опустевшей квартиры, бродила по Петербургу и, так как реки и каналы были покрыты льдом, облюбовала широкий пролет в доме Лыткина, чтобы покончить со своей невыносимой тоской. Пятно внизу пролета, которого нельзя было миновать проходящим жильцам, производило тягостное впечатление, и самоубийство постепенно создало ряд фантастических рассказов в то бедное общественными интересами время. В доме стали рассказывать, что старуха появляется по ночам на лестнице и раскрывает свои безжизненные объятия поздно возвращающимся домой, и один из жильцов, человек суеверный и нередко нетрезвый, под влиянием этих рассказов даже выехал из дома.

Левая сторона Невского проспекта представляет необычный для настоящего времени вид. Там, где теперь начинается Пушкинская улица, названная первоначально Новой, тянется длинный забор, а за ним огороды. Новая улица создалась лишь в половине 70-х годов. Узкая с маленькой площадкой, на которой позже поставлен ничтожный памятник Пушкину, обставленная громадными домами, она с самого своего открытия привлекла многолюдное население, среди которого были настолько частые случаи самоубийства, что пришлось в виду того, что в то время о каждом самоубийстве производилось следствие со вскрытием трупа, командировать к местному судебному следователю нескольких помощников. Быть может, скученность обитателей и какой-то угрюмый вид этой улицы оказались не без влияния на омраченную и исстрадавшуюся душу тех, кто находил, что «mori licet, qui vivere non placet».[1]

---

[1] Можно умереть тому, кому жизнь не мила.

Первая улица налево — Николаевская (по-новому улица Марата) называлась прежде Грязною и была немощеная до своего переименования после смерти Николая I. С неё был ход на Ямскую, называвшуюся так от близлежавшей Ямской слободы на Лиговке, где были обширные извозчичьи дворы и стойла для почтовых лошадей. Эта слобода во второй половине 50-х годов выгорела, причем в ужасном пожаре, продолжавшемся несколько дней, сгорело много лошадей, упиравшихся от страху, когда их пытались вывести из горящих зданий. Ямская улица была впоследствии переименована в улицу Достоевского, ибо здесь находился дом казарменного типа, лестница которого с железными перилами вела к обшитым войлоком и продранной клеенкой дверям в квартиру, где в скромной обстановке, граничившей с бедностью, жил и умер Достоевский.

От 29 до 31 января 1881 года эта лестница была запружена лицами всех возрастов и общественных положений, стремившихся ко гробу, в котором, с лицом исхудалым и проникнутым глубоким выражением, похожим на радость, почивал великий писатель и столь же великий страдалец.

У Аничкова моста с левой стороны и в то время уже высился монументальный дом князей Белосельских-Белозерских, впоследствии дворец великого князя Сергея Александровича. Дойдя до этих мест, мы сворачиваем на Литейную, где узкий тротуар идет мимо редких, но красивых казенных каменных домов, перемежающихся с деревянными. На углу Бассейной и Литейной — двухэтажный дом издателя «Отечественных записок» А. А. Краевского, опытного и деятельного литературного предпринимателя, у которого долго работал Белинский. В этом доме много лет жил Н. А. Некрасов, после ряда тяжких годов житейских испытаний, когда ему приходилось голодать и холодать, ходить зимой в соломенной шляпе, расписываться за неграмотных в Казенной палате и предлагать на Сенной свои услуги желающим написать прошение, — когда он с полным основанием мог сказать, что «праздник жизни, молодости годы я убил под тяжестью труда и поэтом — баловнем свободы, другом лени — не был никогда». Этот труд, в связи с большим

поэтическим даром, вдохновляемым «музой мести и печали», создал ему видное положение, и уже в 60-х годах у крыльца его квартиры стоял собственный экипаж издателя и редактора влиятельного «Современника», а в двери квартиры ходили такие люди как Тургенев, Анненков и Добролюбов. У подъезда этой квартиры в 1877 году собралась огромная толпа поклонников поэта и во внушительном шествии проводила его многострадальный прах на кладбище. В этом же доме жил, до переселения на юг России, знаменитый хирург и педагог Николай Иванович Пирогов — один из тех людей, которые составляют настоящую славу России. Вероятно, отсюда хотел он навсегда уехать за границу, после того как вернувшись с Кавказа, где в течение девяти месяцев на полях сражения по целым дням производил свои изумительные операции и применял для обезболивания эфир, был самым грубым образом принят военным министром, князем Чернышевым, и должен был выслушать, во враждебной ему конференции Медико-хирургической академии, строгий выговор за несоблюдение состоявшегося в его отсутствии приказа о каких-то выпушках или петличках на мундире.

Идя далее по направлению к Неве, мы встречаем на углу Кирочной одноэтажный, выкрашенный в темную краску, узкий, деревянный дом, в котором жил военный министр Александра I — Аракчеев. На этом месте теперь стоит громадный дом Армии и флота, в котором происходил в 1917 году процесс другого, зловещей памяти, военного министра — Сухомлинова. Далее, перед деревянным Литейным мостом через Неву, против Арсенала с выдвинутыми перед ним старинными пушками, стоит старый Арсенал, построенный при Екатерине II, довольно заброшенный и неприютный. В нем в 1866 году были открыты новые судебные установления, пришедшие на смену старых безгласных и продажных судов, служивших бездушной канцелярской волоките, называвшейся, вопреки истине, правосудием.

Литейный мост манит нас перейти на Выборгскую сторону, где тянутся здания Медико-хирургической академии, в одной из длинных и невзрачных одноэтажных деревянных построек которой помещается госпиталь для душевно-больных, в совер-

шенно несоответствующей своему назначению обстановке, несмотря на которую там, с начала 60-х годов, читает, иногда сидя на кровати больного, увлекательные лекции сухощавый человек с проницательным взором дышащих умом глаз. Это отец русской психиатрии — Иван Михайлович Балинский.

От академии мы сворачиваем вправо, и по длинной Симбирской улице, совершенно провинциального типа, очень хорошо описанной Гончаровым в «Обломове», приходим, миновав Новый арсенал, в пригородную местность, носящую название Полюстрово от близлежащего селения, в котором находятся железистые минеральные воды, ныне заброшенные, но в то время довольно усердно посещаемые. Полюстрово, около которого часто бродят группы цыган, отделяется от Невы обширным парком, с искусственными развалинами средневекового замка и с великолепным домом с башенками графа Кушелева-Безбородко. К этому дому в 50-х годах подъезжали и подплывали нередко многочисленные посетители, привлекаемые гостеприимством хозяина, сделавшегося первым издателем «Русского Слова» и любившего играть роль мецената. У него, между прочим, бывал Александр Дюма-отец, во время посещения им Петербурга, пред поездкой по России, послужившей поводом для ряда совершенно неправдоподобных выводов и рассказов в описании им своего путешествия. Свойственник домохозяина, один из довольно известных в пятидесятых годах поэтов, усиленно предававшийся «бесу пьянства», на одном из таких обедов, сильно нагрузившись уже за закуской, после настойчивых намеков о желании присутствующего светского общества услышать какой-нибудь экспромпт, встал, пошатываясь, и к ужасу хозяина произнес: «Графы и графини! Счастье вам во всем, мне ж — в одном графине, и притом большом», и грузно опустился на свое место.

На противоположном берегу Невы, из-за лесных складов, с которых по ночам раздается перекличка сторожей «слу-ш-а-а-ай», виднеется Таврический дворец — местопребывание не находящихся на действительной службе престарелых фрейлин. Там живут, между прочим, две старушки С., про высокомерие

старшей из которых злые языки рассказывают, что, верная своей привычке, она, даже представ пред вечным судьею, наведет на него лорнет и скажет по-французски: «Очень рада вас видеть. Я много раз слышала о вас в доме Татьяны Борисовны Потемкиной (известной своим богомольством аристократки). Представьте мне ваших архангелов».

Обширный парк при дворце, недоступный для публики, окружен глубоким рвом и обнесен деревянным заостренным наверху частоколом. Эта местность считается почти загородной. От нее идут: Сергиевская, Фурштадтская и Кирочная улицы, и отсюда же, с пустой площади, на которой впоследствии был выстроен манеж Саперного батальона, обращенный затем в церковь Космы и Дамиана, начинается Знаменская улица. Здесь на углу, невдалеке от пустынного тогда Преображенского плаца, жил долгое время поэт Алексей Николаевич Апухтин, несправедливо определяемый критикой как светский писатель, несмотря на его глубокие по содержанию и превосходные по стиху «Реквием», «Сумасшедший», «Недостроенный памятник», «Год в монастыре» и «Из бумаг прокурора». Одержимый болезненной тучностью и страдая от какой-то непережитой за всю жизнь сердечной драмы, Апухтин, в сущности, был весь и в жизни, и в произведениях проникнут печальными настроением, сквозь которое иногда пробивалось остроумие. Он сам посмеивался над собой, находя печальным положение человека, для которого жизнь прожить легче, чем поле перейти, и рассказывая об удивленном вопросе маленькой девочки, показавшей на него пальцем и спросившей: «Мама, это человек или нарочно?»

Знаменскую пересекают: Бассейная и Озерной переулок, носящие свои названия от обширного бассейна, находящегося на границе Песков, впоследствии засыпанного с разведением на его месте сада. В Озерном переулке существует до сих пор уединенный, с садом, обнесенным прочным забором, деревянный дом с мезонином. Это местопребывание в 20-х годах Кондратия Селиванова, основателя и главы скопческой ереси. В этом доме до конца семидесятых годов, а может быть и позже, был так назы-

ваемый «скопческий корабль», происходили радения и, вероятно, производились безумные членовредительства, основанные на ложном понимании слов Христа. Здесь, по легенде, бывал и Александр I, сначала благосклонно относившийся к Селиванову, место погребения которого в Шлиссельбурге сделалось потом предметом благочестивых паломничеств сектантов, называвших себя «белыми голубями».

Пройдя Бассейную и перейдя с Литейной в Симеоновский переулок, мы оставляем вправо Моховую улицу, которая в XVIII столетии называлась Хамовой. В конце нее, в доме № 3, поселился в 50-х годах Иван Александрович Гончаров. Часто можно было видеть знаменитого творца «Обломова» и «Обрыва», идущего медленной походкой, в обеденное время, в гостиницу «Франция» на Мойке или в редакцию «Вестника Европы» на Галерной. Иногда у него за пазухой пальто сидит любимая им собачка. Апатичное выражение лица и полузакрытые глаза пешехода могли бы дать повод думать, что он сам олицетворение своего знаменитого героя, обратившегося в нарицательное имя. Но это не так. Под этой наружностью таится живая творческая сила, горячая, способная на самоотверженную привязанность душа, а в глазах этих повременам ярко светится глубокий ум и тонкая наблюдательность. Старый холостяк, он обитает 30 лет в маленькой квартире нижнего этажа, окнами на двор, наполненной вещественными воспоминаниями о «Фрегате Паллада». В ней бывают редкие посетители, но подчас слышится веселый говор и смех детей его умершего слуги, к которым он относится с трогательной любовью и сердечной заботливостью.

Симеоновский мост через Фонтанку приводит нас на Караванную, где много лет, на месте разрушенного впоследствии памятника великому князю Николаю Николаевичу, стоит круглое обширное деревянное здание «панорамы Палермо», уступившее затем, в начале 60-х годов, свое место цирку.

Караванная выводит нас к Аничкину дворцу и к Фонтанке. Мы останавливаемся на мосту, и тогда уже украшенном четырьмя бронзовыми фигурами лошадей, отлитыми по проекту барона Клодта. За мостом начинается самая красивая часть Невского.

Но, не переходя мост, хочется остановиться на мимолетном знакомстве с Фонтанкой. На Фонтанке ряд мостов, впоследствии переделанных. Большая часть из них одного типа, который ныне сохранен лишь в несколько расширенном против прежнего Чернышевом мосте и на Екатерининском канале против бывшего Государственного банка. На обоих концах речки мосты своеобразной архитектуры, висящие на цепях. Один у Летнего сада и название носит «Цепного». Около него, на левом берегу Фонтанки, помещается знаменитое «Третье отделение», центр наблюдений и действий тайной полиции. Когда это отделение было впервые организовано и поставлено под высшее начальство шефа жандармов, то, как говорит предание, первый шеф — граф Бенкендорф — просил у Николая I инструкции относительно действий вверенного ему управления и в ответ получил носовой платок со словами: «Вот тебе моя инструкция: чем больше слез утрешь, тем лучше». Однако, вскоре деятельность Третьего отделения, присвоившего себе вмешательство во внутреннюю жизнь обывателя и «обуздание печати», от утирания слез направилась к возбуждению их пролития, так что недаром поэт (кажется Огарев), намекая на слухи о некоторых чувствительных способах назидания в этой деятельности, восклицал: «Будешь помнить здание у Цепного моста!»

На другом конце Фонтанки помещается так называемый Египетский мост, тоже висячий и очень красивый, во вкусе египетских сооружений. Он провалился под тяжестью проходившего отряда кавалерии в начале девятисотых годов и не возобновлен в прежнем виде.

Вода Фонтанки сравнительно чистая, не напоминающая теперешнюю гнилую и вонючую бурду. Устроенные на ней купальни перемежаются с многочисленными рыбными садками. Зимой по покрывающему ее льду устраивается непрерывный санный путь. В остальное время по ней вдоль и поперек совершается плавание на яликах своеобразной конструкции, с нарисованными по бокам носа дельфинами. Воду из Фонтанки пьют «ничтоже сумняся» окрестные обыватели, причем водовозы (водопроводов до начала 60-х годов еще нет) доставляют ее в

зеленых бочках, в отличие от белых, в которых развозят воду из Невы. Недаром сатирический поэт в «Колоколе» жалуется Зевсу: «Громовержец, я ли без усердья пью из Фонтанки воду, чтобы петь потом жалкую природу . . .»

Фонтанка впадает в Финский залив, выделяя из себя рукав Черной речки. В этой местности находится Екатерингоф, ныне совершенно заброшенный, но в то время представлявший совершенно благоустроенный обширный парк, окружавший старинные петровские постройки. Первого мая там происходило традиционное гулянье, на которое приезжала царская фамилия и стекались в лодках и экипажах массы гуляющих, чрезвычайно оживляя своим движением воды и берега Фонтанки.

От Измайловского моста на Фонтанке начинается Измайловский проспект, пересекаемый улицами, носящими название рот Измайловского полка, с большими пустырями и жалкими домишками. На проспекте против собора еще не существует бездарного подражания не менее бездарной колонне «Победы» в Берлине, а в конце, до начала 60-х годов, еще нет вокзала Варшавской железной дороги.

За Египетским мостом начинается нынешний Ново-Петергофский проспект с Кавалерийским училищем, носившим название Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В этом училище, когда оно помещалось еще на месте нынешнего Мариинского дворца, учился Михаил Юрьевич Лермонтов, и благодаря основанному впоследствии музею его имени, о нем сохранилась живая и осязательная память. Уже здесь в великом поэте крепла и окончательно создалась та «таинственная повесть» его жизни, которая определила его поэтический пессимизм и мизантропию, за что он с такой сильной горечью упрекал бога в своем «Благодарю. . .».

На правом берегу Фонтанки, начиная от Невы, Летний Сад, перед которым, на Царицыном лугу, весною обыкновенно происходил блестящий «майский» парад для всех гвардейских войск столицы и ее окрестностей, оканчивавшийся прохождением перед царской ставкой рысью конвоя, состоявшего из уроженцев Кавказа, в их красных костюмах, с острыми меховыми

шапками и откидными синими рукавами над желтыми кафтанами у лезгин, кольчугами и круглыми шлемами у чеченцев и т. п. Вид стройно движущейся пехоты и проходящая разными аллюрами конница, «сиянье касок этих медных и клочья сих знамен победных» вызывает в зрителях сильное и горделивое впечатление. Кто мог предвидеть пророческие слова Владимира Соловьева, сказанные за 10 лет до злополучной японской войны, что «желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен».

В саду же стоит памятник Крылову, и вокруг него всегда резвятся дети. На них однако довольно пессимистически глядел поэт Шумахер, посвятивший памятнику следующие стихи: «Чугунный дедушка с гранитной высоты глядит, как резвятся ребята, и думает: ах, милые зверята, какие, выросши, вы будете скоты». Монументальная решетка сада, составлявшая, по рассказам, предмет удивления иностранцев, еще не испорчена безвкусной, совсем в другом стиле, часовней с горделивой надписью: «Не прикасайся к помазаннику моему», так жестоко опровергнутой дальнейшими событиями, подобно находящейся над фронтоном дворца императора Павла I надписи: «Дому твоему подобает святыня господня в долготу дней».

В Духов день Летний сад представлял своеобразное зрелище. Согласно укоренившемуся обычаю представители среднего торгового сословия приходили сюда всей семьей с нарядно одетыми взрослыми дочерьми и гуляли по средней аллее, а на боковых дорожках прогуливались молодые франты, жаждавшие «цепей Гименея» и нередко сопряженного с этим денежного приданого. Они приглядывались к проходившим барышням, а сновавшие между ними юркие женщины, в косынках на голове и пестрых шалях, сообщали интересующимся надлежащие сведения и предлагали свои услуги для знакомства с возможными брачными последствиями. Это были свахи. Кажется, этот обычай прекратился после громадного петербургского пожара в 1862 г. По тому же берегу, за Летним садом следовал Михайловский замок, обнесенный со всех сторон рвом с подъемными мостами, впоследствии засыпанным.

У Аничкова моста пред дворцом идет, выходя на Невский,

открытая галерея с колоннами, впоследствии обращенная в жилые помещения. Она служила излюбленным местом для прогулок няней с детьми в дурную погоду.

За Чернышевым мостом начинался Апраксин рынок, состоявший, главным образом, из деревянных рядов со всевозможными видами торговли, примыкавший к выходившему на Садовую длинному казенному зданию, вмещавшему в себе ряд лавок, отличавшихся от магазинов Гостиного двора большей дешевизной цен и развязностью приказчиков, настойчиво зазывавших к себе покупателей восклицаниями: «пожалуйте к нам! у нас покупали», «товар самый английский» и т. п.

Вспыхнувший в 1862 году громадный пожар, захвативший и противоположный берег Фонтанки, истребил Апраксин рынок как раз в Духов день, когда хозяева многих торговых помещений гуляли со своими расфранченными дочками.

Возвращаемся назад к галерее у Аничкова дворца. Пройдя ее и миновав один придворный дом, попадаем в узкий и пустынный Толмазов переулок. Он пересекает Александринскую площадь и выходит на Большую Садовую, в которой сосредоточивается главная торговля Петербурга, не имеющая характера оптовой. Магазины и ряды, здания с лавками следуют одни за другими непрерывно, уступая место лишь Государственному банку и Пажескому корпусу. На середине пути по Садовой лежит обширная Сенная площадь с легкими навесами, бараками и ларями, не имеющими ничего общего с большим крытым рынком, возникшим здесь впоследствии. Это центральное место сбыта пищевых продуктов по сю сторону Невы. Перед Рождеством и Пасхой здесь, как выражается народ, стоит «неотолченая труба» покупателей, рядами и горами высится всякая снедь, среди которой перед Рождеством преобладают в огромном количестве гуси и замороженные свиные туши, распиленные пополам. Их вид подал Н. И. Пирогову, часто проезжавшему мимо, мысль замораживать и распиливать также трупы, для показания расположения внутренних частей человеческого тела. Атлас рисунков с этих препаратов долгое время составлял драгоценное

приобретение каждого медицинского учреждения, имевшего собственную библиотеку.

Когда мы подходим к концу Сенной площади, нам пересекает дорогу идущая со стороны Демидова переулка большая группа людей, одетых в серые куртки с бубновыми тузами на спине. Это ссыльно-каторжные из пересыльной тюрьмы, помещающейся в Демидовым переулке. Они идут, звеня цепями, в серых войлочных шапках на полубритых головах, понурые и угрюмые, а сзади на повозках едут следующие за ними жены, часто с детьми. Отряд войск окружает эту группу. Прохожие останавливаются и подают калачи, булки и милостыню «несчастным». Они следуют на двор Петербургско-московской дороги, где их рассадят по арестантским вагонам и отвезут в Московский пересыльный замок. Там, если только он еще жив, их встретит сострадательное участие «святого доктора» Гааза, но затем они двинутся по лежащей через Владимир дороге в Сибирь, перенося и зной и холод, скудное питание и насильственное сообщество в течение долгих месяцев пешей ходьбы, покуда не достигнут Тобольска, где Особый приказ распределит их в места назначения, и для них потянется долгая жизнь страданий, принудительной работы и сожительства с чуждыми, озлобленными и нередко порочными в разных отношениях людьми. Передвижение по этапу, то есть от одной грязной тесной и вонючей казармы для ночевки до другой, обозначалось в народе словом «итти по Владимирке», и лишь развитие железных дорог и пароходства, а впоследствии приспособление для пересылки арестантов судов добровольного флота изменило картину «Владимирки» и внесло некоторое улучшение в дело населения Сибири пересыльными. Однако, это совершалось весьма медленно и еще в первое десятилетие девятисотых годов, благороднейший борец за свободу совести и веротерпимости, вовсе еще не старый член Государственной думы Караулов мог сказать отцу Вераксину, крикнувшему во время его речи: «Каторжник!»,—«Да, почтенный отец, я шел, приговоренный за желание изменить существующий строй без употребления насильственных средств, звеня цепями и с бритой головой и кан-

далами на ногах по бесконечной «Владимирке» за то, что смел желать и говорить о том, чтобы вы были собраны в этом собрании. То, что я был каторжник, составляет мою гордость на всю мою жизнь. В той могучей волне, которая вынесла вас в эту залу, есть капля моей крови и моих слез». Эти слова были приведены на его могильной плите, но по требованию Святейшего синода, закрыты, — заделаны металлической доской.

На Большой Садовой, близ Кукушкина моста, помещалась в 50-х годах редакция «Библиотеки для чтения». После беспринципного, но талантливого Сеньковского (Барона Брамбеуса) редакторство перешло к Алексею Феофилактовичу Писемскому. Грузный, неуклюжий, с растрепанными черными волосами и большими на выкате, умными глазами, с костромским выговором на «о», Писемский был, несомненно, одним из самых выдающихся русских писателей как по своей наблюдательности, так и по самобытному характеру своего творчества. Его «Тысяча душ» служила как бы продолжением «Мертвых душ» в более современной бытовой обстановке и представляла ряд мастерски очерченных характеров и общественных условий, почерпнутых из самой жизни без идеализации и преувеличения. Оригинальный во всей своей повадке и самостоятельный во взглядах, он пришелся не по вкусу тогдашней критике, на травлю которой ответил «Взбаламученным морем», в котором, по своим словам, изобразил если не всю современную ему Россию, то, во всяком случае, всю ее ложь.

Еще далее по Садовой, на углу Екатерингофского проспекта, против Юсупова сада, жил до самой своей смерти Аполлон Николаевич Майков. В его сухощавой фигуре и тонких чертах продолговатого лица было нечто, напоминающее изображение древних подвижников, которых он с такой любовью описывал в своих стихах. Глубокий знаток античного мира и властитель гармонии стиха, он оставил нам замечательную поэму из римской жизни во время первых проявлений христианства — «Смерть Люция», и горячо, хотя и ненадолго, приветствовал эпоху великих реформ. Он жил замкнуто, но умел знакомить своих редких посетителей с лучшими произведениями современных

писателей, превосходно их читая и искренно ими восхищаясь.

Пройдя через пересекающий Садовую Вознесенский проспект, мы выходим к Мариинскому дворцу и на Большую Морскую. Дворец еще принадлежит герцогине Лейхтенбергской, Марии Николаевне, дочери Николая I, и последний каждый день в определенные часы, медленной и величавой походкой, ходит на свидание с любимой дочерью, давая разными своими встречами материал к рассказам полудостоверного свойства, которыми чрезвычайно любило услаждаться тогдашнее петербургское общество во всех своих слоях за отсутствием других интересов. В этом человеке уживались узкость и односторонность государственных взглядов с остроумной находчивостью, формальное бездушие и смелая решимость, верность традициям с ненавистью к свободной мысли. Деятельность его в каждой из этих областей давала обильный материал для таких рассказов. Памятник, поставленный ему в конце 50-х годов на Мариинской площади, с великолепной лошадью работы Клодта, своими барельефами наглядно указывает на бесплодность его царствования, из которого художник Рамазанов не мог извлечь ничего, кроме сцены на Сенной площади во время холеры и издания «Свода Законов», в котором в обилии заключались статьи, служившие явным отрицанием настоящего смысла аллегорических женских фигур Правосудия, Веры и т. д. утвержденных по бокам постамента. Рассказывали, что вскоре после открытия памятника какой-то «дерзновенный искусник» ухитрился прикрепить скачущему коню кусок картона с надписью: «Не догонишь», очевидно, имея в виду скачущего по ту сторону Исаакиевского собора Петра Великого. Этот собор постоянно был окружен лесами и был освящен лишь в 1858 году, после чего леса снова стали возвышаться то у одной, то у другой из его сторон.

Направляясь по Морской к Поцелуеву мосту, мы встречаем, на месте нынешней реформатской церкви, длинное деревянное здание, в котором одно время помещался зверинец Зама, а затем, во второй половине 50-х годов, подвизалась в пении и плясках знаменитая Юлия Пастрана — красиво сложенная женщина

с приятным голосом и с лицом большой мохнатой обезьяны, напоминавшей нечто среднее между гориллой и павианом. Затем здесь же был открыт и долгое время существовал весьма богатый анатомический музей.

За Поцелуевым мостом на площади стояли два театра — Большой, огромное здание с прекрасной акустикой, которое было потом переделано в Консерваторию, с акустикой незавидной, и «Театр-цирк», о внутренней жизни которых мы поговорим далее.

А теперь переходим по только-что отстроенному Благовещенскому, ныне Николаевскому мосту, на котором еще нет часовни, на Васильевский остров. Вскоре после его открытия он послужил местом для одной сцены несколько театрального характера, которые любил и умел делать Николай I, чтобы влиять на воображение обывателей. Во время проезда его по набережной, на мост въезжали одинокие дроги с крашеным желтым гробом и укрепленной на нем офицерской каской и саблей. Никто не провожал покойника, одиноко простившегося с жизнью в военном госпитале и везомого на Смоленское кладбище. Узнав об этом от солдата возничего, Николай вышел из экипажа и пошел провожать прах безвестного офицера, за которым вскоре, следуя примеру царя, пошла тысячная толпа.

Васильевский остров почти такой же как и ныне. Там перемен мало, только вокруг стоявшего на пустынной площади памятника Румянцеву разведен сад. Тут же неподалеку, в первой линии, три замечательных дома. В одном жил долгое время баснописец Иван Андреевич Крылов, в двух комнатах большой запущенной квартиры, среди весьма непоэтического беспорядка, в объятиях той лени и неподвижности, которые много лет мешали ему перевесить криво висевшую над его любимым местом и угрожавшую падением на голову картину. Рядом дом, где жил знаменитый историк Николай Иванович Костомаров, изобразитель в художественных образах нашей старой жизни и ее деятелей. Еще далее по Кадетской линии, отделенный от здания Первого кадетского корпуса, стоит двухэтажный каменный дом, дорогой по воспоминаниям для всех,

кому близко гражданское развитие родины. Здесь, в конце 50-х годов, под председательством графа Ростовцева, заседали Редакционные комиссии, выработавшие план и осуществление освобождения крестьян, т. е. отмену того ига рабства, которым, по выражению Хомякова, была клеймена Россия. В здании Академии художеств происходили осенние выставки картин. В 50-х и начале 60-х годов на них толпится публика, чтобы видеть знаменитую картину Иванова «Явление Христа народу» и «Княжну Тараканову» Флавицкого. В нижнем этаже здания, окнами на Неву и «сих громадных сфинксов», проживает вице-президент Академии, престарелый граф Федор Петрович Толстой — автор глубоко талантливых и тонких гравюр и между прочим «Душеньки» во вкусе Флаксмана. Двери его обиталища гостеприимно открыты для представителей науки и искусства, среди которых часным посетителем является желчный и даровитый поэт Н. Ф. Щербина. Недалеко от Академии, не доходя до 6-й линии, на набережной дом с выдающимся балконом - фонарем, где живет очень популярный в Петербурге старый адмирал Петр Иванович Рикорд. Он устраивал Петропавловск на Камчатке и командовал затем эскадрой, предназначенной защищать Кронштадт против англо-французского флота в 54-м и 55-м годах, когда грозные по тому времени гранитные укрепления Кронштадта и подводные мины держали винтовые неприятельские корабли на почтительном расстоянии от наших деревянных трехдечных парусных кораблей. Рикорд, живший летом обыкновенно в Полюстрове, на своей даче, ворота которой состояли из двух громадных челюстей кита, вывезенных с Камчатки, был человек очень оригинальный. Его величавая наружность, густая серебряная седина, привычка постоянно вставлять в свою речь слова «выходит — вылазит» и интересные рассказы из прошлого невольно привлекали к себе особое внимание слушателей. Он любил вспоминать первые годы XIX века, когда ему пришлось служить под начальством первого морского министра, маркиза де-Траверсе, в память которого моряки долгое время называли ближайшую к Петербургу часть Финского залива «Маркизовой лужей». Вспоминая о

последнем, Рикорд охотно рассказывал характерный случай из служебных нравов того времени. В Кронштадте умер моряк вдовец, оставивший на попечение своего друга, тоже моряка, двух сирот. Пенсии тогда не существовало и, истощив свои личные средства, моряк пришел на прием министра просить помощи сиротам, но получил отказ за неимением свободных средств. На следующий прием он пришел опять и выслушал резкое повторение того же. На следующий затем прием он явился снова. Выйдя из кабинета и увидев его в числе просителей, вспыльчивый и раздражительный Траверсе пошел, минуя всех, прямо к нему и закричал: «Ты что же, смеяться надо мной приходишь, несмотря на то, что тебе два раза уже отказано», и, когда моряк горячо повторил просьбу, Траверсе, потерявший самообладание, со словами: «Вот тебе ответ» — дал ему пощечину и, как это бывает со вспыльчивыми людьми, сразу пришел в себя и остановился, пристыженный, на месте. Получив удар, моряк первое мгновение схватился было за свой кортик, но затем поднес руку к зардевшейся щеке и, бросив на Траверсе печальный взгляд, сказал, показывая на щеку: «Хорошо, ваше сиятельство, это мне, ну, а сиротам-то что же?» Траверсе заплакал, схватил его за руку и... сироты получили пособие.

Пред университетом были таможенные склады, окруженные узкой полосой чахлого сада с решоткой, на месте нынешнего Гинекологического института. Это так называемый Биржевой сквер, где весною, с приходом кораблей, разными иностранцами открывалась торговля раковинами, черепахами, золотыми рыбками, попугаями и обезьянами. Сюда в это время стекались покупщики и молодежь, для которой еще не существовало Зоологического сада. Тут иногда происходили забавные сцены и недоразумения. Рассказывают, что какой-то простолюдин из украинцев, любовавшийся серым попугаем и узнавший от продававшего итальянца, что таковой стоит сто рублей, на другой день принес продавать большого петуха и потребовал у желавшего купить тоже сто рублей, отвечая на его удивление указанием на попугая. «Да ведь он может говорить, — сказал тот, —

так за то и такая цена»,—«А мой не говорит, но дюже думает», ответил украинец.

Нынешнего Биржевого моста не существовало, и на Петербургскую сторону, имевшую совершенно провинциальный вид, можно было переходить исключительно по Тучкову мосту. Большой проспект, с одной стороны, и запущенный Александровский парк, с другой, —вели на Каменноостровский проспект, состоявший из редких построек, перемежавшихся с длинными заборами, за которыми были обширные огороды. Единственное большое каменное здание на этом берегу был Александровский лицей. Строгановский мост соединял Петербургскую сторону и Аптекарский остров с Каменным островом, на котором в июле каждого года, с половины 50-х годов, в день семейного праздника царской фамилии, давался блистательный фейерверк, причем пускалось сразу громадное количество ракет.

Возвращаемся к деревянному Дворцовому мосту, пловучему, как и все другие на Неве, за исключением Благовещенского, и переходим к Зимнему дворцу. Перед ним большая Дворцовая площадь и другая, менее обширная, примыкающая к набережной Невы. На ней еще не было сада и производились разводы, а во время крымской войны смотр маршевым батальонам. При одном из таких смотров произошел, по словам Герцена, характерный по тому времени случай, долго служивший темой для разговоров. Проходя по фронту, Николай I заметил у одного из солдат на груди два Георгиевских креста. На вопрос его, когда и где они получены, георгиевский кавалер, из сданных в солдаты семинаристов, вспомнив уроки реторики, ответил: «Под победоносными орлами вашего величества». Николай, недовольный такими цветами красноречия, нахмурился и пошел далее, но сопровождавший его генерал подскочил к солдату и, поднося сжатые кулаки к его лицу, прошипел: «В гроб заколочу Демосфена».

Направо от Дворцовой площади начинается скудный бульвар, отделяющий Адмиралтейство от длинной и обширной площади, где впоследствии возник нынешний сад. На этой площади, до разведения сада, строились на масленицу и Пасху балаганы,

карусели и зимою ледяные горы. Все это представляло чрезвычайно оживленный и оригинальный вид. Голоса сбитенщиков и торговцев разными сластями, звуки шарманок, громогласные нараспев шутки и прибаутки раешников (например, «а вот, изволите видеть, сражение: турки валятся, как чурки, а наши здоровы, только безголовы») и хохот толпы в ответ на выходки «дедов» с высоты каруселей сливались в нестройный, но веселый хор. Представления в некоторых балаганах, например, Легата и Лемана, отличались большой роскошью обстановки. В некоторых из них ставились специально написанные патриотические пьесы с эволюциями и ружейной пальбой. В конце 30-х годов, в одном из таких балаганов, двери которого по печальной непредусмотрительности отворялись внутрь, произошел пожар. Публика бросилась бежать, завалила собой все выходы и задохлась в дыму. Очевидцы не могли забыть страшной картины, представившейся им, когда, после работы пожарных, одна из стен балагана была повергнута на землю. Гуляющие «на балаганах», по тогдашнему выражению, с любопытством ожидали проезда институток. Их обвозили вокруг площади в придворных четырехместных каретах с лакеями в красных ливреях. Из окон выглядывали молодые лица с выражением бесплодного любопытства, а окружающая мужская молодежь громко расточала комплименты, сердившие хмурых классных дам.

Выходим на Невский, мало с тех пор изменившийся, и идем через Полицейский мост, слишком узкий и послуживший местом печальной катастрофы в конце 50-х годов, когда собравшаяся на иллюминацию, по случаю совершеннолетия наследника престола, толпа так стеснилась на мосту, что под напором вновь подходивших сломались перила моста, причем многие утонули в Мойке.

Перед Казанским собором площадь лишена растительности. Часовни перед Гостиным двором еще нет, а самый Гостиный двор представляет собой неуклюжее здание, лишенное нынешних орнаментов. При крайних входах в него расположены лотки торговцев ситниками, баранками и кренделями. В проходах по бокам средних ворот ютятся торговцы пирогами, нередко

укоризненно отвечающие потребителю, выражающему неудовольствие на найденный в начинке обрывок тряпки: «А тебе за три копейки с бархатом, что ли?»

Перед Гостиным двором, между зданием и тротуаром, на вербной неделе устраивается пестрый торг игрушками, сластями и предметами домашнего хозяйственного употребления. Любимым развлечением для детей служат длинные узкие стеклянные трубки с водой и стеклянным же чортиком внутри, который опускается вниз при давлении на замыкающую трубку резинку. В конце 50-х годов впервые появляются резиновые красные шары, наполненные газом, стоящие первое время по 5 рублей штука и привлекающие общее любопытство, в особенности когда кто-нибудь по недосмотру упустит из рук подобный шар. Пред Рождеством это же место наполняется праздничными елками с бумажными гирляндами и другими украшениями.

Против Гостиного двора — Пассаж, составляющий предмет удивления приезжих провинциалов. Внутри его три этажа: в нижнем — магазины и помещения для небольших выставок. Во втором этаже разные мастерские и белошвейные, к которым, применимы слова Некрасова из «Убогой и нарядной»: «не очень много шили там и не в шитье была там сила». В третьем этаже помещаются частные квартиры, хозяева которых вывешивают под близкий стеклянный потолок клетки с птицами, пением которых постоянно оглашается Пассаж, служащий почему-то любимым местом прогулки для чинов конвоя в их живописных восточных костюмах. Концертная и театральная зала Пассажа во второй половине 50-х годов становится ареной очень интересных собраний и представлений: в ней происходят первые собрания акционеров возникающего общества водопроводов, причем собравшиеся производят такие беспорядки, что председатель, известный финансист Евгений Иванович Ламанский, закрывает собрание заявлением, что мы еще не созрели для публичности. Вслед затем в Петербурге происходит диспут Костомарова с приехавшим из Москвы академиком Погодиным о происхождении Руси от варягов или от Литвы. Противники оживленно спорят, делая взаимные уступки, при живейшем внимании

публики, и Погодин заключает собеседование, указывая на это внимание, как на явный признак того, что мы созрели. Вслед затем по Петербургу ходят шутливые стихи: «Мы созрели, мы созрели, веселись, счастливый росс: из Москвы патент на зрелость академик нам привез».

Вскоре затем в Пассаже начинается ряд литературных чтений, на которых выступают наши выдающиеся писатели. Достоевский с захватывающим искусством и чувством читает эпизоды из «Бедных людей», Писемский играет, ибо иначе нельзя назвать его чтение отдельных мест из «Тысячи душ». Бледнолицый и еще худощавый Апухтин декламирует свои стихи, и Майков постоянно выступает со своими «Полями», причем злые языки шутливо сообщают, будто, при появлении на эстраде поэта, публика, которой надоело одно и то же стихотворение, встречает автора возгласами из его же произведения: «А там поля, опять поля». Вслед затем начинаются и спектакли в пользу только-что образовавшегося литературного фонда: ставятся «Женитьба» и «Ревизор». Роль Подколесина и городничего превосходно исполняет Писемский, а в числе «аршинников-самоварников» находятся Тургенев, Островский, Некрасов и др. Хлестакова играет П. И. Вейнберг и необыкновенным талантом отличается безвременно скончавшийся студент Ловягин.

Рядом с Гостиным двором в большой думской зале читаются, в 1862 году, первые публичные лекции в Петербурге, из предметов университетского курса. На кафедре переполненного зала появляются профессора Петербургского университета, закрытого перед тем вследствие «студенческих беспорядков», Кавелин, Костомаров, Спасович, Стасюлевич и другие. Лекции пользуются чрезвычайным успехом, но, к сожалению, через два с половиной месяца прекращаются, по почину группы распорядителей, делающей из этого прекращения бесцельную и вредную для просвещения демонстрацию.

Александринская площадь заключает в себе плохо содержимый сквер, окруженный весьма неизящной чугунной решеткой. В нем, в особом павильоне, помещается вафельное заведение

госпожи Гебгарт, заседающей за прилавком в своем национальном голландском наряде и в кружевном чепце над металлическими бляхами на висках. Впоследствии она расширяет свои операции и кладет основание Зоологическому саду.

Сзади возвышается прекрасное здание Александринского театра. В то время театр был, в сущности, единственным местом для выражения общественных вкусов, настроений, симпатий и антипатий. Несмотря на то, что в первой половине 50-х годов репертуар состоял, за исключением классических пьес, и то с большим цензурным разбором, из пьес псевдо-патриотического характера и водевилей, в веселую ткань водевиля, с необходимой его принадлежностью — куплетами, вплеталась иногда ироническая шутка по поводу того или другого общественного явления. Даже такой строгий критик, как Белинский, не мог отказать некоторым из водевилей в признании такого их достоинства. Декорации в Александринском театре были стары и постоянно, не взирая на место и время действия, повторялись. Бутафория была недостаточная и бедная. Освещение не удовлетворяло всем требованиям сценической постановки. Механические приспособления были довольно примитивны, но труппа в общем своем составе была превосходная. Братья Каратыгины, В. В. Самойлов, Брянский, Максимов I, Сосницкий и, в особенности, незабвенный для тех, кто имел счастье его видать, Мартынов высоко держали знамя своего искусства и видели в своей деятельности не профессию, а призвание. Их появление на сцене заставляло забывать всю неприглядную обстановку тогдашнего драматического театра: самовластие директора, канцелярские и закулисные интриги, нередко непонимание лучших свойств того или другого артиста, цензурные «обуздания», нелепость и неуместность «дивертисмента» и зазывательный характер афиши. Чтобы оценить театральную цензуру, достаточно указать на то, что для постановки «Месяца в деревне» Тургенева было предъявлено требование, чтобы замужняя героиня этого произведения, увлекающаяся студентом, была превращена во вдову. Для характеристики афиш стоит привести лишь названия некоторых пьес: «Вот так пилюли или что в рот, то спасибо»,

«Дон Ранудо-де-Калибрадос или что и честь, коли нечего есть», или «В людях ангел — не жена, дома с мужем сатана» и т. д.

Самым выдающимся по разносторонности своего таланта был Самойлов. В некоторых ролях своих он был неподражаем. Трогательный до слез в своем безумии, в венке из пучков соломы, король Лир, — внезапно просыпающийся из притворного бессилия и слабости Людовик XI, — вкрадчивый и грозный в своем властолюбии кардинал Ришелье, надолго запечатлевались, благодаря его исполнению, в памяти зрителей, и рядом с этим, в той же памяти звучал акцент изображаемых им инородцев и необыкновенное умение оттенить комические стороны в водевиле. Каратыгин был артист классической школы, умный и очень образованный, что в то время в этой среде встречалось не часто, атлетического сложения, с могучим голосом и глубоко обдуманной мимикой. В трагических сценах он производил чрезвычайный эффект, как например, в последнем действии драмы «Тридцать лет или жизнь игрока», или в «Тарасе Бульбе», переделанном для сцены. Но выше всех их был Мартынов. Воспитанник театральной школы, предназначенный для балета и случайно успешно сыгравший в каком-то водевиле, он занял комические роли и достиг в них необыкновенного совершенства. Его мимика, голос, манера держать себя на сцене, смешить, не впадая в карикатуру, сделали из него заслуженного любимца зрительной залы. Один его выход из-за кулис уже вызывал радостную улыбку у зрителей. В упомянутой выше пьесе «Дон Ранудо» в первом действии, изображая старого слугу обедневшего испанского гранда, он появлялся в самой глубине сцены, в конце улицы и, неся кострюльку в руках, представлял хохочущего. Еще звуков его смеха не было слышно, а уже при одном его появлении театр неудержимо хохотал... И тем не менее комизм не был его настоящим призванием. Это проявилось в конце 50-х годов, когда, под влиянием Островского, бытовая драма вытеснила прежнюю сентиментальную и ходульную мелодраму, как например, «Эсмеральду» и «Материнское благословение», а с ней вместе постепенно упразднила и во-

девиль. Появление Мартынова в пьесе Чернышева «Испорченная жизнь» и в роли Тихона в «Грозе» открыло в нем такую глубину драматического таланта, такую вдумчивость и «заразительность» влияния его таланта на зрителей, что он сразу недосягаемо вырос, и стало даже как-то странно думать, что этот артист, исторгающий слезы у зрителей и потрясающий их душу, еще недавно шутил на сцене и пел куплеты. Тот, кто слышал обращение Тихона в «Грозе» у трупа утопившейся жены к матери: «Маменька, это вы ее убили, маменька!» — забыть этого не может. Достигнув апогея своего дарования, Мартынов угас. Всенародные похороны его были первым событием такого рода в Петербурге. В них выразилась любовь к артисту, независимая от всякой официальности и нежданно для нее. Это был трогательный порыв настоящей общественной скорби.

И женский персонал труппы стоял на большой высоте. Хотя уже не было Асенковой, но достаточно назвать Снеткову, Жулеву, сестер Самойловых, Читау и Линскую и Гусеву для роли старух. Наконец, в самом начале 60-х годов появился на сцене Горбунов, непревзойденный рассказчик сцен из народного быта, умевший с тонким чувством воздержаться от смехотворных изображений входивших в состав России инородцев: евреев, поляков, армян и финнов, от чего не был свободен даже такой артист, как Самойлов, игравший роль Кречинского с подчеркнутым польским выговором. Не обходилось, конечно, и без некоторых диссонансов в общей стройной гармонии александринской труппы. Среди артистов был некто Т., — игравший преимущественно роли «злодеев», никак не могший выучить слово п а р л а м е н т, и в одной пьесе, изображающей ожесточенную борьбу парламентских партий, заявивший, несмотря на все усилия суфлера, вместо авторского: «пойду в парламент» — «пойду в д е п а р т а м е н т», а в знаменитой сцене Миллера с женой в «Коварстве и любви», не найдя пред собой забытой бутафором скрипки, воскликнувший: «Молчи жена, или я тебе размозжу голову той скрипкой, которая у меня в той комнате», и т. д.

В начале 60-х годов веселый и жизнерадостный водевиль сменила оперетка с ее двусмысленностями и опошлением серьез-

ных исторических сюжетов. От оперетки невольный переход к опере и, следовательно, к Большому театру на Театральной площади. И та же цензура простерла свою длань над названиями европейских опер. Из комических, якобы политических, соображений, они были переименованы —«Вильгельм Телль»—в «Карла Смелого», «Моисей»—в «Зора», «Пророк»—в «Осаду Гента», «Немая из Портичи»—в «Фенеллу», «Гугеноты», вопреки всякому историческому смыслу, в «Гвельфов и гибелинов». В итальянской опере блистали Тамберлик и Марио, Кальцолари и Ронкони и в конце сороковых годов — певица Альбони, по поводу крайней толщины которой и удивительного голоса остряки говорили, что это слон, проглотивший соловья, а затем — Полина Виардо-Гарсия, сыгравшая такую роль в жизни Тургенева, и Бозио, трогательно воспетая Некрасовым. Нашему Мартынову в его комическом амплуа соответствовал известный бас Лаблаш — большого роста и толщины, иногда в шуточку вставлявший в итальянские речитативы исковерканные русские фразы, и большой поклонник Мартынова, говоривший: «Языка его я не понимаю, но его — понимаю». Эта опера посещалась преимущественно великосветским обществом или завзятыми меценатами. Они брезгали русской оперой, которой не особенно занималась и дирекция театров, но которую посещал с любовью средний обыватель, ценивший такие слабые произведения, как «Аскольдова Могила» и не понимавший в течение долгого времени дивных красот «Руслана и Людмилы». Самая «Жизнь за царя» давалась в довольно жалкой обстановке, и ее вывозил лишь талант Петрова. Она все-таки держалась на сцене и в известные дни давалась по установленному ритуалу. Первое же представление «Руслана» было встречено холодно, а когда уехал из театра Николай Павлович, то послышалось шиканье не только из зрительной залы, но даже из оркестра. Бледный и растерявшийся Глинка не знал, выходить ли ему на сцену на жидкие вызовы: «автора», но сидевший с ним в директорской ложе начальник Третьего отделения Дубельт сказал ему: «Иди, иди, Михаил Иванович, Христос больше тебя страдал». Роль Вани в «Жизни за царя» в 50-х годах с особенным

успехом исполняла талантливая певица Леонова. Пред оставлением казенной сцены в 60-годах, она, чрезвычайно пополневшая, была заменена другой певицей, очень сухощавой. В одной из современых карикатур они были изображены обе с надписью «Госпожа NN и ее футляр». В конце 50-х годов в русской опере был поставлен «Трубадур» Верди, имевший чрезвычайный успех благодаря талантливой игре и пению тенора Сетова, который затем производил сильное впечатление в роли Елеазара в «Жидовке» Галеви.

Нынешний Мариинский театр имел внутри широкую, круглую арену и, предназначенный для конских представлений, акробатов и вольтижеров, носил название «театра-цирка». Рядом с ареной была обширная сцена, и все было обставлено весьма роскошно. Лучшие европейские цирковые труппы сменяли одна другую, нередко оставляя в рядах аристократии своих выдающихся наездниц. В театре-цирке давались патриотические пьесы, где к игре актеров присоединялись конские ристания, джигитовки, ружейная и даже нечто в роде пушечной пальба. Особенно эффектно была поставлена «Блокада Ахты», по поводу которой рассказывали, что на вопрос проезжавшего мимо государя, что идет в этот день, часовой театра-цирка будто бы ответил: «Блокада Ахвы», объяснив затем такое искажение названия невозможностью сказать царю: ах-ты!.. На этой арене особенно отличался клоун Виоль, чрезвычайно гибкий и ловкий артист, исполнявший между прочим роль оранг-утанга в пьесе: «Жако, или бразильская обезьяна». Театр-цирк просуществовал однако недолго. Он давал большой дефицит, да и публика к нему охладела. В противоположность русской опере, в Большом театре ставились с большой роскошью балеты, в которых особенно отличалась Андреянова, вместе с подвизавшимися на ряду с ней разными иностранными знаменитостями во главе с Фанни Эльслер и Карлоттой Гризи. Особенно любимыми балетами были «Война женщин» со множеством военно-хореографических эволюций и «Сатанилла» с изображением ада и огромного извивающегося через всю сцену змея в последнем акте.

Короткая Михайловская улица приводит к Михайловскому дворцу (впоследствии музей Александра III)[1] и Михайловскому театру, где дают представления французская и немецкая труппы. Первая из них заключает в себе первоклассных артистов, как Бертон, Леменилль и мадам Вольнис, тонкая игра которых доставляет истинное наслаждение. Особенно выдается Леменилль, во многом напоминающий Мартынова, но, конечно, с французским складом. В забавной пьесе «Les pommes du voisin»[2] изображен ряд комических положений, попадая в которые заезжий в новый для него город товарищ прокурора (substitut) воображает себя совершающим различные преступления. Романтические приключения его оканчиваются благополучно, но этому концу предшествует совершение им воображаемого убийства, с самыми мрачными подробностями. В первых двух действиях Леменилль заставлял публику неудержимо смеяться, но в последнем действии, считая себя бесповоротно вступившим на путь ужасных преступлений он переставал смешить и возбуждал видом своих душевных переживаний в зрителях и ужас, и сострадание.

В Михайловском дворце проживает великая княгиня Елена Павловна, к которой применимы слова, обращенные Апухтиным к Екатерине II («Недостроенный памятник»): «Я больше русскою была, чем многие, по крови вам родные». Представительница деятельной любви к людям и жадного стремления к просвещению в мрачное николаевское царствование она, вопреки вкусам и повадке своего мужа, Михаила Павловича, всей душой отдававшегося культу выправки и военного строя, — являлась центром, привлекавшим к себе выдающихся людей в науке, искусстве и литературе, «подвязывала крылья» начинающим талантам и умела умом и участием согревать их. Она проливает в это время вокруг себя самобытный свет среди окружающих безмолвия и тьмы. В то время когда ее муж — в сущности добрый человек — ставит на вид командиру одного из гвардейских

---

[1] Теперь Русский музей.
[2] «Яблоки соседа».

полков, что солдаты вверенного ему полка шли не в ногу, изображая в опере «Норма» римских воинов, в ее кабинете сходятся знаменитый ученый Бэр, астроном Струве, выдающийся государственный деятель граф Киселев, глубокий мыслитель и филантроп князь Владимир Одоевский, Н. И. Пирогов, Антон Рубинштейн и др. С последним она вырабатывает планы учреждения Русского музыкального общества и Петербургской консерватории и энергично помогает их осуществлению в жизни личными хлопотами и денежными средствами. Благодаря этому в России начал развиваться вкус к серьезной музыке, который до того удовлетворялся модными романсами «Скажите ей» и «Когда б он знал» на одну и ту же музыкальную тему и очень популярными «Голосистым соловьем» Алябьева, «Гондольером» и другими подобными. А когда в начале 50-х годов впервые появились в продаже папиросы, то часто исполнялся романс: «Папироска, друг мой тайный, как тебя мне не любить: не по прихоти ж случайной стали все тебя курить». Она же сердечным участием после истории с князем Чернышевым удерживает Пирогова от отъезда из России и привлекает к задуманному ею устройству первой в Европе Крестовоздвиженской общины военных сестер милосердия, отправляемых потом под руководством знаменитого хирурга в Севастополь, где их самоотверженная деятельность встречается грязными намеками главнокомандующего князя Меньшикова. В ее гостиной собираются и будущие деятели освобождения крестьян во главе с Николаем Милютиным. «Нимфа Эгерия» нового царствования, она всеми силами содействует отмене крепостного права не только своим влиянием на Александра II, но и личным почином по отношению к своему обширному имению Карловка.

Невдалеке от дворца, перейдя Мойку, в переулке, ведущем мимо круглого рынка в Большую Миллионную, мы встречаем громадную гранитную глыбу, изображающую в неотделанном виде сидящего колосса, когда-то предполагавшегося к постановке где-то в Петербурге, но подломившего под собою перевозочные приспособления, осевшего почти посредине узкой улицы и так и оставшегося. Лишь в конце 70-х годов эта безо-

бразная каменная масса была куда-то увезена и, может быть, раздроблена на части.

Идя по Большой Миллионной, мы доходим до Дворцовой площади, влево от которой Певческий мост и близ него на Мойке дом, в котором мучительно окончил свои последние страдальческие годы Пушкин. Обычное у нас равнодушие к тому, что было светлого в нашем прошлом, сказалось по отношению к последнему обиталищу великого поэта, обратно тому, как это сделано в Германии и Англии относительно Гёте и Шекспира. Хотя Тютчев в трогательных стихах, обращаясь к только-что убитому Пушкину, говорит: «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет», обиталище это не было сохранено и охранено в благоговейном внимании в прежнем виде, и в нем в последнее время помещалось какое-то учреждение полицейского характера.

Еще Некрасов к характеризующим Петербург местам прибавлял: «необозримые кладбища», и если мы захотим их посетить, то прежде всего наше внимание остановит кладбище Александро-Невской лавры, тянущееся по обеим сторонам дороги, ведущей от ворот к внешней ограде монастыря. На правой руке мы найдем могильные памятники, красноречиво говорящие о тех, кто под ними погребен. Достаточно указать на имена Ломоносова, Сперанского, Крылова, Карамзина, Державина Баратынского и Жуковского, Гнедича и Глинки. Слева надгробные плиты и памятники более отдаленного времени. Вот между ними могила своеобразно знаменитой приближенной фрейлины Екатерины II, Перекусихиной, и вот плачущая мраморная женщина у разбитого молнией дуба, под которым лежит младенец. Эти последние фигуры связаны с трагической судьбой красавца гвардейца Охотникова и печальным существованием жены Александра I, Елизаветы Алексеевны. Вот могила мрачного и зверского Шешковского, начальника Тайной канцелярии при Екатерине II, и, наконец, могила президента Академии и строгого ревнителя русского языка адмирала Шишкова. Под полом церквей могилы выдающихся военных и гражданских деятелей.

Впоследствии, в конце 60-х годов, когда почти окончательно заполняются эти кладбища памятниками с громкими именами лежащих под ними, постепенно разрастается почти до самой Невы обширное Никольское кладбище. Там есть имена выдающихся деятелей литературы и эпохи великих реформ, но во время нашего обхода Петербурга это кладбище существует еще в самом зачатке. За Обводным каналом — Волково кладбище, богатое впоследствии громкими литературными именами. Достаточно сказать, что на нем лежат Добролюбов и Белинский. Там же могилы Полевого и знаменитого Радищева. Здесь впоследствии нашли последнее успокоение Тургенев, Кавелин, Салтыков, Костомаров и др. Смоленское кладбище на Васильевском острове приняло в свои недра многих артистов. Мы находим на нем могилы артиста Дюра, мужа и жены Каратыгиных, Мартынова, О. А. Петрова (первого Сусанина в «Жизни за царя») и, наконец, Варвары Николаевны Асенковой, любимой артистки 40-х годов, к которой, через 12 лет после ее кончины, Некрасов обращался со следующими словами: «Но ты, к кому души моей летят воспоминания, я бескорыстней и светлей не видывал создания. Увы, наивна ты была, вступая за кулисы, и благородно поняла призвание актрисы. Душа твоя была нежна, прекрасна, как и тело. Клевет не вынесла она, врагов не одолела».

На католическом кладбище Выборгской стороны лежит скончавшаяся в начале 60-х годов Бозио — итальянская певица и артистка с удивительным голосом. К ней обращены горестные слова Некрасова: «Дочь Италии, с русским морозом трудно ладить полуденным розам, перед силой его роковой ты поникла челом идеальным, и лежишь ты в отчизне чужой на кладбище пустом и печальном. Позабыл тебя чуждый народ в тот же день, как земле тебя сдали, и давно там другая поет, где цветами тебя осыпали».

Внутренняя жизнь Петербурга в то время представляет много особенностей, очень отличающих его от недавнего Петербурга девятисотых годов перед роковой войной. В начале 50-х годов в городе 450 000 тысяч жителей. К началу 60-х — 600 тысяч. Жизнь общества и разных учреждений начинается

и кончается ранее, чем теперь. Обеденный час, даже для званых трапез, четыре часа, в исключительных случаях — пять, причем по отношению к кушаньям и закускам, за исключением особо торжественных случаев, обилие не сопровождается роскошью, как с начала 90-х годов. То же самое и относительно напитков. Далеко не всякий званый обед требует шампанского. В обыкновенные дни на столе у большинства даже зажиточных людей стоят квас и кислые щи.

В 50-х годах была чрезвычайно распространена на вечерах игра в лото, а также доверчивое занятие с говорящими столиками. Под влиянием пришедших с запада учений о спиритизме, многие страстно увлекались этим занятием, ставя на лист бумаги миниатюрный нарочито изготовленный столик, с отверстием для карандаша, и клали на него руки тех, через кого невидимые духи любили письменно вещать «о тайнах вечности и гроба». Иногда такими посредниками при этом выбирались дети, приучавшиеся, таким образом, ко лжи и обману, в чем многие из них впоследствии трагически раскаивались. В гости на званый вечер приезжают в 8-9 часов, а не на другой день, как это часто случалось впоследствии. Уличная жизнь тоже затихает рано, и ночью на улицах слышится звук сторожевых трещеток дворников.

В начале описываемого периода дамы носят по нескольку шумящих крахмальных юбок. Под платьями, снабженными рядами воланов, высокий корсет, стянутый до крайности, чтобы талия была «в рюмочку». Он в большом употреблении и даже злоупотреблении с несомненным вредом для здоровья. На него надевается лиф, заканчивающийся книзу острым шнипом. Чулки у дам нитяные или шелковые, белые, —цветные или полосатые предоставляются лицам, не принадлежащим к так называемому обществу. Подвязки, часто на пружинах, носятся ниже колен. Обувь — башмаки без каблуков с завязками, или из козловой кожи или материи и прюнелевые ботинки. Кожаные сапожки и туфли на безобразно высоких каблуках явились гораздо позже. Шляпки представляют нечто вроде корзиночки, завязанной у самого горла бантом из широких цветных лент.

К 60-м годам женские моды круто меняются. От многочисленных юбок остаются только одна, две, а их заменяет кринолин, доходящий иногда до совершенно нелепого и неудобного объема. Шляпы приобретают разнообразный фасон, и среди них одно время выделяются chapeaux mousquetaires со средней величины полями, обшитыми вокруг широкой полосою черных кружев.

Мужские моды более устойчивы. С новым царствованием, в половине 50-х годов, исчезают у мужчин остроконечные воротнички у рубашек и тугие высокие атласные галстуки на пружинах, заменяясь отложными или просто стоячими воротниками и тонкими узкими галстучками. Почти исчезают и узкие брюки со штрипками, заменяясь одно время очень широкими, светло-серыми. В костюмах «штатских» людей преобладает черный цвет. Длинное пальто «пальмерстон» чередуется с накидкой «крылаткой». Николаевская шинель с пелериной постепенно отходит в область прошлого. Нет обилия всевозможных мундиров, как было в последнее время, и люди менее обвешиваются всевозможными орденами, русскими, иностранными и экзотическими, медалями и значками своей принадлежности к разным благотворительным и спортивным обществам. Праздничный вид петербуржца более скромный чем впоследствии, когда часто оправдывался рассказ о маленьком ребенке, который, на вопрос матери, указывающей на приехавшего с праздничным визитом господина: «Ты знаешь, кто этот дядя?», отвечал: «Знаю, это елка».

По воскресеньям на Невском и на набрежной Невы против дворца происходят обыкновенно гулянья. В начале 50-х годов, если появляется на улице барышня из общества, ее непременно сопровождает слуга в ливрее или компанионка. В начале 60-х годов эти провожатые исчезают, и появляется фигура нигилистки, с остриженными волосами и нередко в совершенно ненужных очках. Она заменяется затем скромным видом девушки трудового типа, не находящей нужным безобразить свою наружность для вывески своих убеждений.

Уличные вывески очень пестры, разнообразны и занимают без соблюдения симметрии большие пространства на домах.

У парикмахерских или «цирулен» почти неизбежны изображения банки с пиявками и нарядной дамы, опирающейся рукой на отлете на длинную трость, причем молодой человек, франтовато одетый, пускает ей из локтевой ямки идущую фонтаном кровь. У табачных магазинов непременно два больших изображения: на одном богато одетый турок курит кальян, на другом негр или индеец, в поясе из цветных перьев и таком же обруче на голове, курит сигару. Нередки вывески «привилегированной» повивальной бабки. Попадаются на Старом Невском лаконические вывески «духовного портного». В Большой Мещанской улице есть гробовщик, предлагающий «гробы с принадлежностями» и переводящий это тут же на немецкий язык: Grabu mit prinadlegnosten». У некоторых публичных зданий и ворот попадаются загадочные надписи: «здесь вообще воспрещается», разъясняемые надписью у ворот летнего немецкого клуба на Фонтанке: «кто осквернит сие место, платит штраф». Очень много вывесок зубных врачей с плодовитыми фамилиями Вагенгеймов и Валенштейнов. Фотографий мало, и между ними выдаются Левицкого и Даутендея.

Уличные развлечения представлены главным образом итальянцами-шарманщиками или савоярами с обезьяной и маленьким органчиком. До конца 50-х годов эти шарманки имеют спереди открывающуюся маленькую площадку, на которой под музыку танцуют миниатюрные фигурки, и часто изображаются умирающий в постели Наполеон и плачущие вокруг него генералы. В дачных местностях на окраинах Петербурга водят медведя, который под прибаутки поводырей и звуки кларнета пьет водку и показывает «как баба горох собирает».

Часто во дворы заходят бродячие певцы, является «петрушка» с ширмами, всегда собирающий радостно хохочущих зрителей или приходят мальчики, показывающие сидящего в коробке ежа или морскую свинку и громко возглашающие: «посмотрите, господа, да посмотрите господа, да на-а зверя морского!» Местом летних вечерних развлечений для более зажиточной публики служат искусственные минеральные воды в Новой Деревне, где изобретательный И. И. Излер открыл при заведе-

нии минеральных вод увеселительный сад с концертным залом, в котором поют тирольский и цыганский хоры. Ярко иллюминованный сад и концерты очень посещаются публикой, которую доставляют от Летнего сада пароходы предпринимателя Тайвани до смены их, гораздо позже, Финляндским пароходством.

При воспоминаниях петербургского старожила о времени 50-х и первой половины 60-х годов невольно возникают живые образы людей, пользовавшихся, если можно так выразиться, городской популярностью не по занимаемому ими в обществе, на службе или в науке выдающемуся положению, но потому, что их оригинальная наружность и своеобразная «вездесущность» с массой анекдотических о них рассказах делала их имя чрезвычайно известным. Описание их выходит за пределы нашей статьи, но для примера можно остановиться на одном из них. Это был брат карикатуриста, служивший в театральной дирекции, Александр Львович Невахович, хотя и толстый, но очень подвижный с добродушным лицом и живыми глазами, всегда и неизменно одетый во фрак. Он славился как чрезвычайный гастроном и знаток кулинарного искусства. Изображение его в карикатурах брата в сборнике «Ералаш», на ряду с рассказами об его оригинальностях, создали ему большую популярность в самых разнообразных кругах Петербурга. Брат нарисовал его, между прочим, очень похожим, говорящим с маленьким сыном по поводу лотереи-аллегри, которая была одно время очень в моде. «Папа,— говорит мальчик,— на моем выигрышном билете значится обед на 12 персон. Где же он?»— «Я его съел!»— отвечает добродушно Александр Львович. Он пользовался особенным расположением министра двора графа Адлерберга и когда тот, со смертью Николая I, оставил свой пост, то Невахович уехал за границу. В 69-м году один русский писатель, в вагоне железной дороги из Парижа в Версаль, встретил его в неизбежном фраке и с отпущенной седой бородой и, услышав его жалобу на скуку заграничной жизни и тоску по России, спросил его, отчего же он не вернется в Петербург. «Невозможно, — отвечал Невахович, — я за тринадцать лет отсутствия растерял почти все знакомства и меня в Петербурге

уже почти не знают, а я был так популярен! Кто меня не знал!.. Возвращаться в этот город, ставший для меня пустыней, мне просто невозможно. Знаете ли, как я был популярен? Раз встречаю на улице едущего театрального врача Гейденрейха и кричу ему: «Стой, немец, привезли устрицы, пойдем в Милютины лавки, — угощу!» — «Не могу, — отвечает, — еду к больному». — А когда я стал настаивать, то говорит: «Иди туда, а я приеду». — «Врешь, говорю, немец, не приедешь». — «Ну, так пойдем к больному, а оттудова поедем. Я скажу, что ты тоже доктор». Поехали мы. Слуга отворяет дверь, говорит: «Кажется, кончается». А в зале жена больного плачет, восклицая: «Доктор, он ведь умирает»! Вошли мы в спальню. Больной, совсем мне незнакомый, мечется на кровати, стонет. Гейденрейх стал считать его пульс и безнадежно покачал головой. Взглянув на стоявшую в головах больного плачущую жену, стал все-таки утешать больного, который все твердил, что умирает. — «Это пройдет, говорит Гейденрейх, — это припадок». — «Что вы меня обманываете, проговорил больной, — какой припадок, я умираю». — «Да нет, — говорит Гейденрейх, — вот и другой доктор вам то же скажет», и указывает на меня, стоящего в дверях. «Какой это доктор?» — спрашивает больной. Остановился на мне глазами, да вдруг как крикнет: — «Разве это доктор!! Это Александр Львович Невахович!» — и с этими словами повернулся на кровати и испустил дух. Так вот как я был популярен в Петербурге. Так где же уж тут возвращаться . . .»



ЖИТЕЙСКИЕ ВСТРЕЧИ

С. Ю. Витте.

(Отрывочные воспоминания)

Представление о крупном человеке и выдающемся общественном деятеле, после того как он уйдет за грань земного кругозора, черпается из разнообразных источников. Это — прежде всего его собственные мемуары, в которые, однако, зачастую может быть совершенно невольно, вносятся личные симпатии и антипатии, преувеличенная самооценка или, наоборот, то, что князь В. Ф. Одоевский остроумно назвал «гордыней смирения». Приводимые в них факты и обстоятельства иногда проходят сквозь призму позднейших настроений, окрашивающих их в новый, желательный для пишущего в данный момент, свет. Случается, что в такие мемуары, в особенности, когда они относятся к отдаленному от пишущего времени, просачивается то, что в экспериментальной психологии носит название «мечтательной лжи», которая свойственна часто детскому возрасту, а иногда и преклонному. Когда в памяти затуманивается далекое прошлое, некоторым начинает казаться, что то или другое в действительной жизни *могло* произойти. Исходя из этого, мысль начинает чаще и чаще останавливаться на том, что оно *должно* было произойти и, наконец, укрепляется в убеждении, что оно в самом деле *было*. Поэтому, не взирая на несомненную ценность мемуаров, к ним следует относиться без слепого и безусловного доверия, а с благожелательной критикой, под влиянием которой все наносное, случайное, подсказываемое темпераментом, «спадает ветхой чешуей», оставляя место лишь драгоценной для историка сердцевине. Почти то же самое приходится сказать и относительно воспоминаний родных и друзей. В них или достоинства усопшего берутся «октавой выше» или, наоборот,

близостью к нему пользуются для того, чтобы представить интимные стороны его жизни в окраске, заставляющей припомнить слова Грибоедова: «Я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи». Наша литература, к сожалению, довольно богата воспоминаниями последнего рода. Точно так же не вполне пригодный материал представляют дневники и переписка. И те и другие пишутся под настроением, вызванным мимолетными впечатлениями. Они служат часто показателем чуткости и восприимчивости писавшего, но они бывают нередко проникнуты болью настоящей минуты настолько, что заставляют писавшего, при дальнейшем знакомстве с жизнью, уничтожать свои дневники и сожалеть о написанных письмах. Вполне пригодным материалом для оценки деятельности человека являются его печатные труды, деловые записки, отчеты об ученых, судебных и законодательных выступлениях, но при изучении их является соблазнительное желание в литературных трудах отыскивать биографические подробности, что приводит к совершенно произвольным выводам, а документы из архивов и официальных сборников, рисуя деятельность, почти никогда ничего не говорят о личности деятеля. Вот почему нельзя не признать некоторого значения за воспоминаниями, так сказать, «третьих лиц», — не родных, друзей и близких знакомых, а объективных наблюдателей, бывших современниками того, о ком они вспоминают. С их уходом из жизни исчезает живое изображение человека, построенное на непосредственном впечатлении и тем более имеющее значение, чем меньше в нем партийной окраски или затронутого в настоящем или прошлом личного интереса.

Вышедшие за границей и у нас мемуары графа С. Ю. Витте исполнены чрезвычайного интереса и многих характерных подробностей. Они сильнейшим образом сосредоточивают внимание на личности в высокой степени выдающегося государственного деятеля. Их чтение властно переносит в недавнее прошлое России и объясняет ярко и без недомолвок очень многое в том пути, который вел нас к нашему настоящему.

Моя служебная деятельность дала мне возможность и слу-

чай неоднократных встреч с Витте и даже совместной работы. Я встретился с ним впервые в комиссии, учрежденной в 1876 году для исследования железнодорожного дела в России. В нее, под председательством Э. Т. Баранова (председателя департамента экономии в Государственном совете), были назначены представители различных ведомств и в их числе от министерства юстиции Николай Андрианович Неклюдов и я, а также привлечены практические деятели, поставленные во главе местных подкомиссий, занимавшихся ближайшим изучением положения железнодорожного дела. Между ними видное место занимали С. Ю. Витте, военный инженер фон Вендрих, впоследствии так много напутавший в железнодорожном сообщении во время мобилизации, вызванной восточной войной, а также главный делопроизводитель комиссии М. Н. Анненков, — впоследствии энергический строитель Закаспийской железной дороги, — уснащавший свои поспешные заявления бесконечными «так сказать». Работы комиссии продолжались четыре года, и результатом их был проект Общего железнодорожного устава, построенный на весьма широких началах и проникнутый идеей объединения деятельности железнодорожных обществ путем создания высшего совета с распорядительным комитетом при нем и местных железнодорожных советов. Юридическая сторона проекта была выработана Неклюдовым и мною: им — по вопросу об ответственности железных дорог за вред и убытки, а мною — по вопросу о подсудности. В 1881 году Барановым был создан многочисленный съезд (85 человек) представителей железнодорожных обществ, городских и земских учреждений, торговых товариществ и выдающихся фирм. Эти лица, вместе с членами комиссий и подкомиссий, подвергли проект подробному обсуждению и внесли в него ряд поправок. Между членами этого съезда особенно живым и вдумчивым отношением к делу отличались будущие министры, Вышнеградский и Хилков, представители железнодорожных обществ — Половцев, Блиох и Перль, а также варшавский профессор Симоненко, автор интересной для своего времени книги: «Государство, общество и право». Многие мнения, высказанные на этом съезде, были весьма ха-

рактерны. В них рельефно сказывались: с одной стороны, заботы представителей капитала о всемерном ограждении представляемых ими интересов, а со стороны других представителей и в особенности профессора Симоненко — об ограждении положения служащих на железных дорогах и лиц, приходящих с нею в соприкосновение. Так, например, Вышнеградский и Блиох возражали против установления высшей нормы голосов, принадлежавших каждому из крупных владельцев акций, и защищали возможность и практическую неизбежность подставных акционеров. В своих обширных заявлениях Витте настаивал на упорядочении и объединении железнодорожных тарифов, приводя ряд фактических примеров, почерпнутых им еще из того времени, когда он был простым помощником, а затем начальником станции. Его замечания на Устав отличались глубоким знанием дела и почти не встречали возражений со стороны других специалистов. Он высказался, однако, вместе с тем и против регулирования рабочих часов и настаивал на предоставлении управлению железных дорог права увольнять служащих без объяснения причин подобно знаменитому *третьему пункту Устава* о службе гражданской. Окончательно выработанный железнодорожный Устав поступил, по заведенному, в высшей степени длительному, порядку, на заключение отдельных министерств и встретил решительные возражения со стороны министра путей сообщения, считавшего недопустимым учреждение «высшего совета» и находившего, что гораздо лучше преобразовать совет его министерства. В Государственном совете, куда, наконец, поступил Устав, произошла обычная история, которую можно было назвать законодательным артерио-склерозом. Эта болезнь выражалась двояко: или, если подлежал обсуждению проект какой-либо общей организации — главная принципиальная часть его отсекалась впредь до будущего времени, а второстепенные подробности утверждались, — или наоборот, проект удовлетворения иногда весьма насущных потребностей признавался несвоевременным впредь до представления работы об общих началах, связанных с интересами и задачами отдельных ведомств. Это направление Государственного совета было усвое-

но себе и отдельными ведомствами, которые своими заключениями прямо или косвенно тормозили работу, стоившую иногда большого труда. Так было, например, с вопросами об устранении тягостных условий паспортной системы. Три года заседала комиссия под председательством государственного секретаря Сольского, выработавшая замену паспортов, — с их пропиской и разными затруднениями при получении их из сельских обществ, — простым бессрочным свидетельством о личности, причем петербургский градоначальник Трепов и представители судебного ведомства, в числе коих был и я, — от которых скорее можно было ожидать каких-либо возражений с точки зрения предупреждения и преследования преступлений, — горячо высказались за такую реформу. Но когда проект комиссии пошел по министерствам, то ведомство финансов нашло его осуществление невозможным впредь до отмены подушной подати, — что не входило в его предположения и нарушало прикрепление платежной единицы к платежному центру, а ведомство внутренних дел, с своей стороны признало, что это недопустимо впредь до переустройства крестьянского самоуправления, упразднения круговой поруки и до выработки для нанимателей гарантий от ухода нанятых рабочих, что также не входило в его текущие предположения. Так и погиб пятьдесят лет назад этот проект, и долгие годы паспортная система тяготела над народной жизнью. Одно лишь министерство юстиции постаралось смягчить, по возможности, ее карательные последствия изменением подсудности по паспортным нарушениям.

Пожелания, высказанные Витте в Барановской комиссии об упорядочении тарифного дела, нашли себе подробное выражение в ряде его статей в журнале «Инженер» и в изданной им в 1883 году книге: «Принципы железнодорожных тарифов», представляющей обширный труд по истории тарифного дела в его экономическом значении — и о правильной постановке этого дела.

Руководящим началом в последнем отношении Витте признавал правительственный контроль над железнодорожными

тарифами как по форме, так и по существу. Такой контроль необходим для устранения злоупотреблений, и в нем должны участвовать не только представители дорог, но и представители промышленности и торговли, действующие в условиях гласности и общественной публичности при посредстве печати. Он много останавливался на вопросе о выкупе железных дорог государством, рассматривая этот вопрос всесторонне и беспристрастно. В этой замечательной во многих отношениях книге, намечающей позднейшую деятельность автора, есть целая глава, трактующая о реалистической и классической школах политической экономии, о свободе экономических отношений и государственном вмешательстве — и о научном, государственном и христианском социализме. Можно не соглашаться с некоторыми из его оригинальных взглядов, но нельзя не отдать полной справедливости богатству и разнообразию обнаруженных им знаний в области государственной и общественной жизни, в особенности имея в виду, что этот труд принадлежит не ученому исследователю, а поглощенному практическою деятельностью начальнику движения железной дороги.

Через пять лет нам пришлось встретиться в другой обстановке.

17 октября 1888 года в 1 ч. 15 м. дня на 277 версте Курско-харьково-азовской железной дороги, между станциями Тарановка и Борки произошло крушение царского поезда, следовавшего с Кавказа. Значительная часть вагонов была повреждена, некоторые совершенно разрушены и усыпали своими обломками оба высоких ската насыпи. Особенно пострадали вагон министра путей сообщения и вагон-столовая, в котором находилась вся царская семья, спасенная от гибели под тяжелыми стенами и крышей вагона лишь благодаря принятому разрушенными частями положению. Из находившихся в поезде, 22 человека было убито и 41 ранен, из которых — шесть тяжко, со смертельным исходом.

Руководство исследованием этого несчастья, до крайности взволновавшего всю страну и породившего самые разнообразные

слухи и предположения, было возложено на меня, как на обер-прокурора уголовного кассационного департамента сената. Все перипетии и подробности этого исследования изложены мною еще в 1890 году по свежей памяти в особых воспоминаниях, предназначенных для печати, но один эпизод из них, касающийся Витте и идущий несколько в разрез с тем, что изложено в его мемуарах, может найти себе место и здесь.

Техническое изучение причин крушения, произведенное 15 экспертами — научными специалистами и инженерами-практиками, привело их к заключению, что непосредственной причиной крушения явился сход с рельс первого паровоза, произведшего своими боковыми качаниями, в размерах, опасных для движения, расшитие пути. Эти качания были следствием значительной скорости, не соответствующей ни расписанию, ни типу товарного паровоза, усилившейся при быстром движении под уклон поезда чрезмерной длины и тяжести. Вместе с тем, эксперты признали, что в виду ряда неправильностей в устройстве поезда, в его составе и управлении, движение его производилось при условиих, не только не обеспечивающих безопасность, но и таких, которые никогда не могли бы быть допущены и для обыкновенного пассажирского поезда. Основанием для такого вывода послужили следующие данные: согласно установленным правилам, царский поезд в зимнее время (от 15 октября до 15 апреля) не должен был превышать 14 шестиколесных вагонов или 42 осей, двигаться со скоростью не более 37 верст в час, иметь вполне исправный автоматический тормоз и правильно устроенную сигнализацию. В действительности, вследствие допускаемых в течение многих лет вопиющих нарушений, потерпевший крушение поезд состоял из четырнадцати восьмиколесных и одного шестиколесного вагонов, что составляло шестьдесят четыре оси вместо сорока двух и весьма увеличивало его вес, доводя его, не считая паровоза, до тридцати тысяч пудов, что превосходило длину и тяжесть обыкновенного пассажирского поезда более чем в два раза, и соответствовало товарному поезду из двадцати восьми груженых вагонов, могущему двигаться со скоростью не выше двадцати верст в час.

Между тем этот поезд двигался со скоростью 67 верст в час, — как показал аппарат Графтио — с испорченным автоматическим тормозом и без каких-либо приспособлений для сигнализации, заменяемой маханьем рук и перелезанием на паровоз из ближайшего к нему вагона. Этот поезд тащил за собой, при такой скорости, товарный паровоз, диаметр ведущих колес которого не дозволял, для избежания крайней опасности расшития пути, двигаться со скоростью более сорока с половиной верст в час.

Во время разнообразных осмотров, экспертиз и допросов на месте крушения и в Харькове, судебному следователю были доставлены из Киева официальные сведения, что еще за два месяца до крушения, при следовании поезда через Ковель, начальник движения Юго-западных дорог Витте, вместе с правительственным инспектором Васильевым, предупреждал министра путей сообщения Посьета, через старшего инспектора железных дорог барона Шернваля, о несомненной опасности устройства поезда такой длины, тяжести и скорости и на то же обращал внимание секретаря министра Новопашенного. Прибывший по вызову следователя в Харьков, Витте обратился через прокурора окружного суда ко мне с настойчивой просьбой о выслушании его наедине, до дачи им показания. На мой вопрос, какие же могут быть секреты между нами, Витте, видимо волнуясь, повторил свою просьбу. Приглашенный мною в кабинет старшего председателя палаты, он сказал: «Я вызван, конечно, затем, чтобы дать показание о тех объяснениях, которые я имел по поводу неправильности императорского поезда?» На мой утвердительный ответ, он прибавил: «Да, это было так. Но во имя нашей общей работы в Барановской комиссии и рассчитывая на вашу любезность, я прошу вас войти в мое положение. Мне предстоит очень важное назначение, зависящее от министров финансов и путей сообщения, которым определится вся моя будущая карьера. Мне не только крайне неудобно, но и совершенно невозможно восстановить против себя Вышнеградского или Посьета. Это может разрушить всю созревшую комбинацию. Я не знаю, что делать. Прошу у вас дружеского со-

вета. Скажите, как выйти из этого положения? Я решительно не могу рассказать всего, что мне известно». При этом он чрезвычайно волновался. «Какой же совет могу я вам дать. Вы вызваны как свидетель по делу первостепенной важности, и по закону и совести обязаны дать вполне правдивые показания, ничего не утаивая. Вам остается это сделать, тем более, что нам известна сущность этого показания из киевского сообщения. Я понимаю трудность вашего положения, но она существует часто по отношению к тому или другому свидетелю, которому приходится жертвовать собственными выгодами, удобствами и спокойствием в виду интересов правосудия. Когда дело дойдет до суда, вам придется стать на перекрестный допрос, и то, о чем вы умолчите теперь, будет «вытянуто» из вас совместными вопросами сторон, и тогда вы можете оказаться не только в неловком, но даже постыдном положении. Представьте себе хотя бы лишь то, что свидетелем будет кто-нибудь, кому вы, не ожидая крушения, сообщали свои сомнения и разговоры по этому поводу. Вас могут публично поставить на очную ставку. Поэтому, единственный совет — говорите правду». — «Но ведь, это значит, что я должен говорить против Посьета и создать из него себе врага . . .» — сказал Витте, волнуясь еще сильнее. «Может быть, и даже весьма вероятно, а все-таки другого исхода нет». — «Я вас, все-таки, очень, очень прошу, нельзя ли что-нибудь сделать, помочь мне». Разговор принимал весьма тягостный оборот. «Ведь про меня могут сказать, что я явился доносчиком на Посьета...» «Вы явились не сами, а по вызову судебной власти, и в этом отношении я постараюсь устранить от вас такое несправедливое обвинение, даже теперь, не ожидая возможности сделать это в судебных прениях. При старом следственном, дореформенном порядке свидетелям предлагались вопросные пункты. Применительно к этому я предложу судебному следователю предоставить вам самому записать свое показание по главным пунктам допроса, причем вы можете начинать каждый пункт ссылкой на предложенный вам вопрос, из чего будет видно, что не вы рассказывали по собственному почину о тех или других обстоятельствах, а были вынуждены

к тому категорическою формою предложенных вам вопросов, для которых у следователя имелся уже предварительно собранный материал. С этого показания вы можете получить копию». Этим окончилась наша беседа. Судебный следователь Марки очень удивился моему предложению, но исполнил мое желание, условившись со мною относительно содержания вопросов. Потом, неоднократно, проходя через камеру прокурора судебной палаты, я видел Витте, сидящим за одним из столов и пишущим свое показание против каждого из вопросов, предложенных по временам подходившим к столу Марки, под необычно некрасивой наружностью которого билось доброе сердце достойного судебного деятеля.

Показание Витте было дано очень искусно. Ссылаясь на возможность ошибок с своей стороны вследствие субъективности своих взглядов, умалчивая о невыгодных или опасных для министра путей сообщения обстоятельствах и всячески выгораживая его, Витте, тем не менее, не мог не указать, хотя и в очень осторожных и уклончивых выражениях, на такие стороны в снаряжении и движении поездов чрезвычайной важности, которые получили огромное значение для выводов экспертизы.

Протокол этого показания, данного 4 ноября 1888 года, напечатан в I томе обширного следственного производства, которое было доставлено и в Министерство путей сообщения.

Я встретил Витте снова в мае 1889 года, едущим после представления государю в Гатчине, уже облаченным в мундир директора тарифного департамента, и не мог не заметить неприязненного выражения, с которым он смотрел на меня. Это повторялось и при дальнейших случайных наших встречах. Его повидимому беспокоила мысль, что я стану рассказывать о той странной роли, какую он играл в Харькове. Но он безусловно ошибался. Беспокойство по этому поводу особенно ярко проявилось однажды после обеда у М. Н. Островского — моего старого сослуживца по Государственному контролю и председателя Общества вспомоществования бывшим московским студентам, в котором я был сначала секретарем, а затем товарищем председателя. Когда Витте сел играть в карты, то некоторые из гостей, отойдя в сто-

рону, пожелали узнать мое мнение об одном из дошедших до Сената интересных литературных процессов. Витте издалека явно прислушивался к тому, что я говорил, постоянно бросая на меня беспокойные взгляды и видимо тревожась предположением, что я рассказываю дело о крушении и, быть может, упоминаю и о его допросе. Вскоре, войдя в большую силу, причем его уверенность в себе выросла в меру его необыкновенных способностей, он, конечно, успокоился и, вероятно, позабыл о моем «дружеском совете», данном при следствии. Впрочем, иногда последний повидимому всплывал в его памяти. Так, известный издатель «Zukunft», Максимилиан Гарден, приезжавший в Петербург на несколько дней, рассказал мне, что был принят Витте с крайней любезностью и почтен весьма откровенным разговором, который он и описал в своем журнале. «Долго ли вы останетесь в Петербурге?» — спросил его Витте при прощании. «Нет, я почти никого здесь не знаю и собираюсь посетить только сенатора Кони, к которому отношусь с большим уважением». При этом лицо Витте внезапно омрачилось, и он холодно выпустил из своих пальцев дружески пожимаемую руку талантливого немецкого публициста.

В мемуарах Витте говорится, что за два месяца до крушения в Борках на станции в Фастово Александр III требовал чрезмерной и рискованной скорости и не пожелал выслушать его объяснений, причем он — Витте — громко сказал Посьету, так что государь должен был это слышать: «Пусть другие поступают, как знают, а я не согласен подвергать опасности жизнь государя. В конце концов вы сломаете ему шею!», и что воспоминание о «смелом молодце», сказавшем это, вызвало, по словам покойного Вышнеградского, желание государя сделать его директором нового железнодорожного департамента и прочить его на еще более высокое место. Рассказ этот вызывает во мне некоторые воспоминания, тоже относящиеся к делу о крушении 17 октября 1888 года. В двадцатых числах ноября того года, в разгаре следствия, я был вызван из Харькова для личного доклада Александру III о выяснившихся причинах крушения. Характеризуя их и подробно излагая выводы экспертизы отно-

сительно скорости, тяжести и длины поезда, я высказал, что пришел к совершенно определенному заключению о крушении, как о результате сплошного неисполнения долга теми лицами, которым была вверена в силу закона и обязательной предусмотрительности безопасность движения поезда, начиная с министра путей сообщения Посьета и барона Шернваля. При этом, указав, что свой долг в этом отношении исполнили лишь Витте и Васильев, я рассказал о тех предупреждениях, которые своевременно были ими сделаны Посьету, но оставлены без надлежащего внимания. Это указание было выслушано Александром III с видимым удовольствием, и он, в конце моего более чем часового доклада, в присутствии министра юстиции, переспросил меня о том же. На вопрос его, как вообще объясняют причину крушения, я сказал, что правление Курско-харьково-азовской железной дороги сваливает всю вину на низших служащих, следуя укоренившемуся обычаю выставлять ответственным лицом несчастного «стрелочника», и что существует ничем не подтверждаемое предположение о взрыве адской машины, внесенной в поезд каким-то никому неизвестным поваренком, на что Александр III заметил: «Я знаю, что это неверно, хотя Посьету и хочется меня в этом убедить». Наконец, ходит слух, что чрезмерная и опасная скорость поезда вызвана его, государя, желанием. — «Я нигде и никому такого желания не высказывал, это тоже неверно, — сказал Александр III. — Только раз в Закавказье я сказал Посьету: «Почему мы то летим как птица, то ползем как черепаха? Нельзя ли ехать ровнее». Но ни до, ни после этого я ни о каком увеличении скорости не приказывал и в ней не виноват». Эти слова совсем не мирятся с сознательным и несвойственным Александру III умолчанием о таком обстоятельстве в Фастове, которое, притом, не могло быть неизвестно сопровождавшим его лицам, и с отношением его после крушения к Посьету, уволенному от должности министра.

———

Мне пришлось войти в сношения с Витте в 1898 г. в совершенно новых условиях. В это время его выдающаяся и замеча-

тельная государственная деятельность была уже в полном разгаре. Влиятельный министр, пользовавшийся особым доверием Александра III, настоящий государственный человек с широкими горизонтами и смелыми задачами, умевший, по французскому выражению, «tailler en plein drap»,[1] Витте возбуждал к себе ревнивую зависть со стороны некоторых из министров, бывших, в сущности, старшими чиновниками своего ведомства. Они услужливо и беспрекословно осуществляли так называемые «предначертания» и нередко объясняли свои действия ссылками на неопределенные и изменчивые «виды правительства», которого, в сущности, как единого целого, не существовало, ибо в России в это время действовала, по чьему-то остроумному выражению, своеобразная «Magna charta libertatum»,[2] состоявшая в пререканиях отдельных ведомств.

Против Витте не только «пускали шип по-змеиному» в разных светских салонах, считая его «parvenu», но и выступали в печати и даже в записках на высочайшее имя различные добровольцы с односторонним и злобным осуждением его политики. Достаточно указать на настойчивый поход, предпринятый против него бывшим профессором военно-медицинской академии Ционом в его французской книге: «Witte et les finances russes», вышедшей в 1895 году, в брошюре «Куда временщик Витте ведет Россию» — 1896 года и в записке: «Как установить в России правовой строй», поданной правительству в 1904 году, напечатанной за границей и посвященной памяти Каткова. К такого рода произведениям относилась и брошюра Г. Ф. Крюгера, озаглавленная «Высокочтимым членам Государственного совета», разосланная последним в январе 1899 года, в которой автор, доказывая, что Витте присвоил себе его, Крюгера, идею о введении в России золотой валюты и его мысли об ее реализации, обвинял его в своеобразном плагиате и излагал содержание прошения, поданного им на имя государя об учреждении «для восстановления истины и его попранной чести» третейского суда, с назначением

[1] Выкраивать из целого куска.
[2] Великая хартия вольностей.

членами его генерал-адъютанта Рихтера и пишущего эти строки. Такая брошюра была прислана автором из Берлина и мне. Прочитав ее внимательно и не понимая «плагиата идеи», я ответил ему, что ознакомление с брошюрой убеждает меня в невозможности согласиться с основательностью его притязаний, и выразил удивление, что он, будучи мне совершенно неизвестен, указывает на меня, как на третейского судью, не спросив моего на это согласия. Во избежание каких-либо недоразумений, я сообщил об этом Витте, который ответил мне, что Крюгера не знает, никаких записок его никогда не читал и ничего о нем от своих предшественников не слыхал. По удостоверению же его — Витте — сотрудников, записки эти (каких Министерство финансов получает массу), ничего собою серьезного не представляют и являются произведением «по меньшей мере маньяка».

---

26 мая 1899 года наступало столетие со дня рождения Пушкина. При Академии наук, под председательством ее президента, была образована комиссия, в которую входили академики и почетные члены Академии, вице-президент Академии художеств граф И. И. Толстой, редактор-издатель «Нового Времени» А. С. Суворин, композиторы Римский-Корсаков и Глазунов, а также государственный контролер Тертий Филиппов, член Государственного совета Д. М. Сольский и Витте. Взглянув широко на задачу чествования юбилея великого поэта, Витте высказался решительно против сбора на постановку памятника Пушкину в Петербурге (где это крайне неудачно было впоследствии осуществлено в жалком сквере узкой и мрачной Новой улицы, переименованной в Пушкинскую), называя это «подогретым кушаньем», и предложил, неожиданно для всех, восстановить *Российскую академию* в память ее бессмертного сочлена. «Это потребует—объяснил он—ежегодного ассигнования, но я могу ручаться, что государь уважит мой доклад об этом, причем размер расхода на новое учреждение я считаю возможным определить в тридцать тысяч в год. Такая академия могла бы вместить в себе выдающихся лиц не только из области литературы, но и искусства, т. е. музыки, живописи, театра». Это

предложение, действительно достойное памяти Пушкина и богатое плодотворными последствиями, вызвало совершенно неожиданные возражения со стороны некоторых представителей литературы и искусства. В то время когда члены Академии загадочно молчали, ничем не выражая сочувствия предложению Витте, Суворин стал говорить, что нельзя будет никогда притти к соглашению, кого из артистов следует выбрать в академики проектируемого учреждения, так как все они разделены на партии и лагери, взаимно друг друга отрицающие и различно смотрящие на задачи искусства, почему их выбор никогда не удовлетворит общественного мнения, а будет односторонним и иметь партийную окраску. С своей стороны гр. И. И. Толстой заявил, что Академия художеств имеет своих почетных членов из художников и архитекторов и вполне компетентна для избрания в это звание, почему новой академии пришлось бы или слепо итти по ее следам, или же становиться с нею в противоречие. Витте отрицательно покачал головой, но ничего не возражал. Сочувствуя вполне его предложению, я стал поддерживать таковое и высказал, что каковы бы ни были разногласия среди артистов и композиторов, нет однако сомнения, что есть имена, которые объединили бы собою сочувствие огромного большинства общества. Если бы ко времени открытия новой академии оставались в живых Глинка, Серов, Рубинштейн и Чайковский, Мочалов и Мартынов, то нет сомнения, что избрание их в академики, знаменуя собою уважение к возвышенным отраслям проявления человеческого духа, было бы встречено общим одобрением и, быть может, залечило бы у них в душе не одну рану, нанесенную «местью врагов и клеветою друзей». Что же касается Академии художеств, то она имеет совсем другие задачи, чем предполагаемая Пушкинская академия. Избирая своих почетных членов, она, конечно, награждает их за техническое совершенство их работ, за те шаги вперед в развитии искусства, которые они сделали. Но Пушкинская академия должна бы награждать избранием в свои члены за общественный смысл и нравственное влияние произведений того или другого художника. Поэтому Академия художеств поступила в высшей степени

*

справедливо, избрав в свои почетные члены, например Иордана, который около двадцати лет гравировал медную доску, создав chef d'oeuvre офорта с рафаэлевского «Преображения». Но Пушкинской академии имя Иордана не говорило бы ничего, относясь к области узкой специальности, и она должна бы выбрать в академики Верещагина, как выразителя глубоких человеческих идей и наглядного протеста против ужасов войны, хотя рисунок его и признается строгими техниками неправильным и несовершенным. Витте очень обрадовался моим словам, постоянно кивал головой в знак согласия и, когда я кончил, сказал, обращаясь к президенту и показывая на меня: «Ваше высочество, я думал именно то, что они говорят». — Тем не менее мы оба провалились, и Пушкинская академия была учреждена под названием «Разряда изящной словесности», в своем кургузом виде обреченная влачить довольно бесцветное существование, причем ассигнованные на нее средства были обращены на общие нужды старой Академии, и вновь избранным почетным академикам пришлось чувствовать себя первое время в положении пасынков, к которым относился с безусловным вниманием лишь сердечный и живой Шахматов. Рутинное и узкое отношение Пушкинской комиссии к своей задаче выразилось, между прочим, и в том, что она отвергла, под предлогом пустейших формальных затруднений, предложение о выдаче в год юбилея Пушкина ученикам средних учебных заведений медалей и аттестатов с его изображением. А надпись на медали «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет», вместо избитой и притом переводной «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», принятая вначале, была потом отвергнута, на том основании, что это слова не Пушкина, — и вместо глубоко прочувствованных строк Тютчева на смерть Пушкина появилось: «Не даром жизнь и лира мне были вверены судьбой», что с полным основанием мог бы сказать о себе не только Пушкин, но и каждый талантливый поэт.

Вдумываясь в деятельность Витте, как министра путей сообщения и затем финансов, надо признать, что через нее

красною нитью проходит его представление, как о лучшей форме правления, о неограниченном самодержавии, опирающемся на способных, энергичных и снабженных знанием и долголетним опытом по своей части министров, умеющих выбирать себе наиболее подходящих помощников. До 1905 года этою мыслью проникнуты все его действия, причем он не стесняется относительно высших государственных учреждений, обрекая их на чисто служебную роль и решительно обходя их в тех случаях, когда он ожидает с их стороны несогласия со своими проектами. Так провел он, например, пользуясь особым доверием Александра III, денежную реформу, минуя Государственный совет и развивая в ее осуществлении чрезвычайную энергию и замечательный талант. Это выразилось, между прочим, и в его действиях по отношению к Сенату по возбужденному им делу о беспорядках в Могилевском округе путей сообщения. Рассмотрев следствие, Первый департамент Сената не нашел достаточных оснований для предания суду трех обвиняемых: начальника округа Авринского, инженера Мышенкова и начальника хозяйственного отдела Пославского. Осведомясь об этом, ревнивый к своей власти Витте доложил Александру III о неправильном, по его мнению, прекращении дела Сенатом и о необходимости предать этих лиц суду. Подробности его словесного доклада мне неизвестны, но надо думать, что он не поскупился на выпады против Сената, на который вообще Александр III смотрел косо, повидимому забывая его историческую роль «хранителя законов». По этому докладу последовала резолюция: «Так вести дела нельзя, — приказать Сенату пересмотреть свое определение», — чрезвычайно огорчившая министра юстиции Манасеина и благородного, безукоризненного первоприсутствующего Первого департамента А. Д. Шумахера, вследствие этого даже заболевшего. Назначено было дополнительное следствие и, с грехом пополам, в другом составе, последовало определение о предании обвиняемых суду кассационного департамента Сената с участием сословных представителей. Дело слушалось с 27 ноября по 4 декабря 1896 года, причем от некоторых обвинений товарищ обер-прокурора отказался, а суд

нашел возможным ограничиться лишь денежным взысканием с Авринского и Пославского; дело же по обвинению Мышенкова— человека, по собранным сведениям, вполне честного и преданного своему делу, оправдательный приговор о котором являлся несомненным, — было прекращено, так как в ночь по окончании судебного следствия перед прениями сторон, он от нравственных потрясений скончался.

Излюбленный идеал Витте — самодержавие, опирающееся на умелую и искусно подобранную бюрократию, был несовместим, по его мнению не только с представительными учреждениями или выборными для участия в законодательных вопросах сведущими людьми, как то в 1881 году проектировал гр. Лорис-Меликов, но даже и с земскими учреждениями вне круга их узкой и притом постоянно ограничиваемой деятельности. Это с особенной яркостью выразилось в его конфиденциальной записке 1899 года и в полемике с министром внутренних дел Горемыкиным, находившим полезным введение земских учреждений в Западном крае, против чего возражал Витте, считая их там совершенно неприменимыми. По существу вопроса в записке доказывалось, что земство не соответствует нашему самодержавному строю с неизбежным при нем бюрократическим центром. Правильное и последовательное всесословное представительство в делах местного управления — говорилось в записке — неизбежно приведет к народному представительству в сфере управления центрального, а затем и к участию народа в законодательстве и в верховном управлении. Исповедуя убеждение, что конституция вообще «великая ложь нашего времени», Витте находил, что к России, при ее разноязычности и разноплеменности, она неприменима без разложения государственного строя и управления, почему не только дальнейшего расширения деятельности земству давать нельзя, но надо провести для него демаркационную линию, не позволяя ни под каким видом переступать ее.

Он несколько отступил от своего взгляда лишь в конце своей министерской деятельности, созвав известное совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, но тут ему

самому пришлось испытать свойства излюбленной им системы верховного управления. Совещание было неожиданно закрыто, все его работы погребены в архиве Министерства внутренних дел, а выдающиеся члены совещания из приглашенных местных деятелей подверглись гонению со стороны министра внутренних дел Плеве. Ему пришлось испытать эти свойства и по роковому вопросу о территории, по которой проходила Восточно-китайская дорога. Тогда, — судя по мемуарам Витте, — пронырливые предприниматели и близоруко самоуверенные люди, в лице статс-секретаря Безобразова и адмирала Абазы, а также их союзники, пользуясь упорной недальновидностью военного министра Куропаткина, сумели так повлиять на главу государства, что все проникнутые глубоким государственным смыслом предостережения Витте против бессрочной оккупации Манчжурии, во вред правам Китая и насущным интересам Японии, были оставлены втуне. Он сам наглядно убедился в том, куда иногда ведет страну бесконтрольное и безответственное личное усмотрение и вынужден был оставить Министерство финансов, в котором он так много и плодотворно работал в течение одиннадцати лет.

Я встретил Витте в июне 1903 года, проживая в Сестрорецком курорте. Он приехал верхом и ходил, то ускоряя, то замедляя шаг, по длинной крытой галерее близ морского берега, досадливо и с явным невниманием слушая какие-то объяснения старшего врача курорта. Я едва узнал в этом согнувшемся, мешковатом, с потухшим взором и тревожным лицом, человеке самоуверенную и энергичную фигуру министра финансов. Он любезно пошел мне навстречу, задержал мою руку в своей и стал меня расспрашивать о том, как мне живется в курорте. Я видел, что это лишь машинальные фразы, что он даже не слушает моих ответов и что он, оглушенный «шумом внутренней тревоги», среди злобного торжества многочисленных врагов, радуется встрече с человеком, который не учинил ему никакой неприятности.

Я понял, что над ним повисла грозовая туча. Через месяц,

в Киссингене, я узнал что она разразилась. С ним случилась не только внешняя, но и внутренняя трагедия. Из самого влиятельного министра с широкой творческой деятельностью он сделался в августе того же года председателем Комитета министров, т. е. декоративным манекеном, про которого даже нельзя было сказать, что он primus inter pares, [1] так как такой председатель даже не имел определенных докладов у государя и должен был отыскивать и изобретать случаи, чтобы попасть в «поле августейшего зрения». Душевная драма состояла в том, что имея громадное влияние на ход внутренней жизни России, вызвав в ней сильное развитие промышленности, введя и упрочив переход железнодорожного дела в руки государства, учредив ряд высших технических училищ, коренным образом повлияв на экономический строй страны и поставив на твердую почву наш бюджет и денежное обращение, он не нашел в себе решимости воспользоваться случаем остаться в истории личностью с определенными и вызывающими уважение — даже со стороны противников — очертаниями. Будучи в то время, по приемам и горизонтам, единственным действительно государственным человеком в бесцветное и роковое царствование, он дал возможность многим недругам указывать на него, как на простого чиновника-карьериста, готового на уступки для сохранения сомнительного блеска фиктивной власти. Между тем, еще за полгода до своего падения он имел возможность привлечь на свою сторону многих порядочных людей и создать себе достойное положение даже без особых жертв. Таким шагом была бы твердая постановка министерского вопроса после того как Плеве стал бесстыдно и безответственно ссылать выдающихся земских деятелей за откровенные мнения, вызванные запросами Сельскохозяйственного совещания, созванного по почину Витте. Решительный протест против устройства под его именем такой западни мог бы, конечно, ему стоить его портфеля, но это был бы прекрасный пример и, быть может, целительный урок самодержцу, а некоторое состояние и финансовые способности вполне

[1] Первый между равными.

обеспечивали бы его материально, даже если бы ему и пришлось выйти в «чистую».

Судьба держала его в тени, однако, недолго. Безумно вызванная война в надежде совершить короткую победоносную военную прогулку в Токио, чтобы проучить зазнавшихся *макаков-япошек*, оказалась рядом поражений русских, по выражению известного Драгомирова, *кое-каков*, вызвав во всех слоях страны сильное брожение и справедливое недовольство, вскоре принявшее гневный лик наступающей революции.

Сознававшему важность переживаемого времени, Витте снова пришлось выступить в ответственной роли и быть вдохновителем именного указа 12 декабря 1904 г. и проводителем вложенного в него обновления и улучшения наших законов по всем важнейшим отраслям управления и общественного быта. Журналы заседаний Комитета министров останутся памятником последней и широкой попытки видоизменить бюрократическое законодательство, не нарушая ни в чем прав верховной самодержавной власти. Еще за немного лет перед тем, некоторые из постановлений Комитета были бы приветствуемы, как струя свежего воздуха в спертой атмосфере боязливой рутины, как несомненный просвет в лучшее будущее. Витте впоследствии мог со справедливой гордостью указывать на провозглашение в манифесте 17 апреля 1905 года, явившемся развитием указа 1904 года, начала свободы совести, независимой от узкой веротерпимости. Но уже было поздно... События назревали быстро, расширяя круг и объем желаний, переходивших в определенные требования. Между тем, война с Японией приходила к бесславному концу среди внутренней смуты, и надо было настойчиво и тревожно помышлять о мире. С поручением вести о нем переговоры в Портсмуте, за отказом от этой задачи, под разными предлогами, двух лиц, пришлось, скрепя сердце, обратиться к Витте. Искусное ведение переговоров и самая повадка Витте в новой для него обстановке освободили Россию от уплаты еще небывалой в ее истории контрибуции и дали ей возможность расплатиться за свою вредную предприимчивость лишь частью Сахалина. Достижение мира на таких условиях составляет

огромную историческую заслугу Витте. За ней последовала и другая, а именно, энергическое и тщательное содействие заключению внешнего займа 1906 года, спасшее тогдашнее финансовое положение России, обессиленной войной и нуждавшейся в покрытии чрезвычайных расходов, превышавших ее ресурсы и поглотивших оставленную Витте в 1905 году свободную наличность более чем на 380 миллионов золотом. Вернувшись на родину, он застал крайнее развитие революционных выступлений, давшее ему понять, что ничем, кроме считаемых панацеей представительных учреждений, хотя бы и с укороченными правами, предупредить грозящий государству развал нельзя, и что необходимо отвести излюбленной им бюрократии подчиненную роль в исполнении указаний представителей общественного мнения и ясно понятых потребностей страны. Это было неразрывно связано с существенным уменьшением размаха самодержавной воли, пред которой так преклонялся Витте, и он, — самовластный сам и поклонник самовластия, — пошел и на это, приложив свою руку к выработке манифеста 17 октября и сопровождавших его правительственных объяснений. Его пребывание в звании председателя нового Совета министров было сопряжено с чрезвычайными затруднениями в выборе подходящих людей и с большими ошибками в некоторых из избранных.

В конце своей активной деятельности в законодательстве он оставался неизменно верен своему культу самодержавия и старался, несмотря на свое участие в коренной реформе государственного строя 17 октября 1905 года, оградить в чем возможно прежнюю власть монарха. Так например, при обсуждени основных законов уже в 1906 году в царскосельском совещании он настаивал на предоставлении монарху права увольнять всех должностных лиц без исключения и указывал при этом на опасность несменяемости судей, несмотря на возражения Сабурова и горячий протест бывшего министра юстиции, графа Палена. Он находил также, что статья 29 проекта основных законов, в силу коей частная переписка не подлежит задержанию и вскрытию без разрешения на то суда, — должна подверг-

нуться исключению, так «как без этого обойтись нельзя...»

Государственную думу открыл уже не он, а деятель гораздо более мелкого калибра, Горемыкин.

В январе 1907 года я был назначен членом Государственного совета и вслед затем вынужден был уехать за границу, в виду крайне расстроенного состояния здоровья. Вернувшись летом, я застал деятельность Государственного совета и Государственной думы второго призыва приостановленными до осени и поэтому мог сделать обычные официальные визиты моим новым сослуживцам лишь в начале ноября. Из кратких разговоров с теми из них, кого я заставал дома, я увидел, что у многих по отношению к Витте существовало недоверчивое отчуждение, а некоторые даже питали к нему прямо ненависть, не останавливаясь перед самыми неправдоподобными вымыслами. Это были, в большинстве, так называемые, *правые* и принадлежавшие к тому крылу центра, которое к ним в значительной степени примыкало. По их мнению Витте был губитель России, овладевший 17 октября 1905 года слабовольным и малодушным монархом, испуганным революцией. Левый центр и академическая группа, за небольшими исключениями, в числе коих был М. М. Ковалевский, относилась к нему сдержанно и без доверия. Чувствовалось, что в Государственном совете он совершенно одинок, и это подтверждалось, тем, что он не вступил ни в одну из групп Совета. Узнав, что он еще не приехал из-за границы, я не хотел ограничиться оставлением карточки у его швейцара и тем дать ему повод думать, что я пользуюсь случаем избегнуть свидания с опальным сочленом — и решил ждать его возвращения.

Я застал его в очень тревожном настроении, вследствие сильного нездоровья его супруги. Тем не менее, он пригласил меня посидеть, и стал изливаться в жалобах на окружающую его вражду, проникающую во все классы общества и выражающуюся даже в постоянных ругательных анонимных письмах, задевающих его как деятеля, человека и даже семьянина. «Никто не хочет понять — сказал он, — что, настаивая на манифесте

17 октября, я — убежденный поклонник самодержавия, как лучшей формы правления для России — поступился моими симпатиями во имя спасения родины от анархии и династии от гибели. Представителям последней я бросил средь бушующего моря «спасательный поплавок», за который им и пришлось ухватиться. Если данные обещания будут исполнены, то дальнейшее мирное развитие России обеспечено, тем более, что влияние Победоносцева, вечно возбуждавшего сомнения и страхи, за смертью его должно прекратиться, и итти назад уже будет невозможно. В какую группу вы вступили?» — «Ни в какую,— отвечал я, — хотя каждая мне предлагала войти именно в нее. Между правыми есть несколько человек, искренности которых я не могу отказать в уважении, но программа этой группы, или вернее партии, для меня совершенно не приемлема. Это — люди, сидящие на задней площадке последнего вагона в поезде и любовно смотрящие на уходящие вдаль рельсы, в надежде вернуться по ним назад, в то время как, увлекаемые силой паровоза, они все-таки едут вперед, но только задом. Что касается левых, то очень многое в их программе мне по душе, но всецело ее разделить я не могу, хотя по большинству вопросов наверно буду вотировать с ними. Группа центра, представляющая собою в численном отношении наибольшую силу, дважды чрез своего председателя П. Н. Трубецкого призывала меня в свои ряды и он даже грозил мне, что благодаря моей обструкции я не буду избран ни в одну из комиссий Совета. Привыкнув в моей многолетней судебной деятельности руководствоваться исключительно голосом совести и пониманием закона, как долженствующего быть выразителем общественных потребностей, я не могу подчиняться директивам большинства партии, принятым на предварительных совещаниях без audiatur et altera pars [1] в заседании общего собрания Совета. Останусь внепартийным». — «Как и я», — сказал Витте. В течение следующих лет этому примеру понемногу стали следовать некоторые члены Совета, и к 1910 году образовалась группа «беспартийного объединения», предо-

---

[1] Пусть будет выслушана и другая сторона.

ставлявшая полную свободу своим членам, которые лишь в случае единогласного вывода по тому или другому вопросу намечали из своей среды лицо для выяснения своего взгляда при обсуждении вопроса в общем собрании. Таким образом эта группа бросала на весы не лишенное значения число голосов. При окончательном образовании этой группы в конце 1911 года пришлось убедиться, насколько даже и в ней было распространено недружелюбное отношение к Витте. Мое предложение пригласить его вступить в нашу группу встретило ряд возражений, в особенности энергичных со стороны князя Андрея Ливена, пред тем вынужденного оставить партию правых за выраженное им сочувствие Финляндии по поводу печального проекта об общеимперском для нее законодательстве. К нему присоединился бывший государственный секретарь барон Икскуль и еще один сановник, сказавший даже, что вступление Витте в группу будет «très mal vu en haut lieu». [1]

До начала 1914 года Витте довольно часто выступал в Государственном совете. Когда его грузная и вместе длинная, довольно неуклюжая фигура появлялась на трибуне, некоторые из *правых* иногда демонстративно оставляли зал заседаний. Но все остальные слушали его внимательно. Он говорил хуже, чем писал, довольно длинно и с частыми повторениями, не всегда соблюдая последовательность и ища повода так или иначе коснуться своей работы как министра и как государственного деятеля в период пред осуществлением манифеста 17 октября. Он говорил с интонациями и ударениями, свойственными населению юга России, приводил остроумные афоризмы, — иногда путал цитаты, которые любил употреблять, приписав однажды Шекспиру слова Шиллера, а Данте французскую поговорку. В его речи часто звучала тонкая ирония и нередко прорывалось негодование. Я помню, что Зверев, защищавший проект учреждения статистического университета, часто употреблял выражение «ученый статистик». Витте спросил его: «Что значит ученый статистик?» — «Это технический термин», — ответил Зверев. «Если

---

[1] Очень плохо принято в высших сферах.

ученый только технический термин, — иронически сказал Витте, — то вы правы». Сильно критикуя бюджетную работу одного из своих преемников, он «преклонился пред его заслугами за то, что — если он ничего особого не сделал, то все-таки сохранил то, что получил».

При обсуждении законопроекта об Амурской железной дороге некоторые ораторы упрекали Витте в космополитизме. Кончая свою речь, он приостановился и, очень повысив голос, сказал: «К огорчению очень многих я заявляю, что все растущая волна их клевет и инсинуаций против меня никогда не превзойдет объема моего к ним ранодушного презрения». Иногда его ирония сказывалась даже в тоне его голоса, в котором некоторая приподнятость и даже торжественность сменялись насмешливой скороговоркой. При каждом удобном случае он подчеркивал свое высокое уважение к памяти «величайшего из монархов и богатыря русского духа Александра III», — быть министром у которого он считал для себя высочайшим счастьем, но если приходилось при этом упомянуть о Николае II, то он скороговоркой и заметно понизив тон говорил: «и царствующий ныне благочестивейший монарх». Контраст в его представлении об обоих выступал довольно явно. Вообще он производил впечатление человека, не стесняющегося резко и определенно высказывать свою мысль, без словесных компромисов и приспособлений. Иногда он не щадил и самого себя, сознаваясь, например, что в первые годы своего управления Министерством финансов он действовал довольно робко и с оглядкой на своих предшественников. Так, он признался, что когда проект об обеспечении рабочих от увечий и несчастных случаев, прошедший благополучно в департаментах старого Государственного совета, встретил в общем собрании оппозицию меньшинства, руководимую Победоносцевым, он, по своей малоопытности, не нашел в себе мужества до конца защищать свой проект и, выслушав указания, что предлагаемый законопроект социалистический, взял его обратно с целью переделать или положить под сукно. Этого по его словам малодушного поступка однако не одобрил Александр III, нашедший, что Витте следовало настаивать на

своем, причем заметил, что многие государственные деятели, его окружающие, обладают большим талантом критики, но малым талантом созидания... Когда гр. Витте нужно было заглядывать в свои заметки он надевал очки, но по миновании надобности не снимал их, а поднимал на свой высокий обнаженный лоб, что придавало ему довольно оригинальный вид. Сказав свою речь, он часто уезжал, дождавшись ближайшего перерыва, и мне ни разу не пришлось его видеть принимающим участие в общем чаепитии. Председатель Государственного совета Акимов относился к нему с тревожным беспокойством, постоянно опасаясь, что он «переступит за постромки». Грубый охранитель внешнего порядка и односторонний рачитель о «пристойности» в прениях, он не раз обрывал гр. Витте резкими замечаниями и воспрещением распространяться на ту или другую тему, на что гр. Витте всегда, не без яда, отвечал смиренным тоном: «Слушаюсь!» Ему особенно тяжело жилось два последних года. В перерывы заседаний он ходил по аванзале большими шагами, тяжело ступая, с довольно мрачным выражением лица, неохотно отвечая на вопросы редких собеседников и спеша от них отделаться. Видно было, что в этой кипучей натуре, лишенной возможности проявлять себя не в слове, а в деле, жило «роптание вечное души». В особенности в последнее время, когда началась «чехарда» министров, причем назначение некоторых из них не находило себе никакого разумного объяснения, было больно видеть могучего обладателя и знания и умения, лишенного творческой деятельности, которая капризно отдавалась в удел людям неподготовленным, близоруким и недоумевающим «à quoi s'en tenir».[1] Со стороны казалось, что это своего рода Гуливер, связанный по рукам и ногам в царстве лилипутов.

Обращаясь к воспоминаниям об отдельных выступлениях Витте в нашей бывшей верхней палате и сопоставляя свои личные записи с отчетами о заседаниях, я не могу не отдать справедливости широкому пониманию им задач этого учреждения

[1] Чего держаться.

в связи с правильным и истинно-государственным освещением многих, но, к сожалению, не всех вопросов, подлежавших его разрешению. Он понимал деятельность Совета, как вполне самостоятельную и совершенно независимую от того, согласно или не согласно правительство с принятым Думою законопроектом. «Каждое дело — говорил он — должно разрешаться принципиально, что делал и старый Государственный совет, каков бы он ни был». Всегда предпочитая законодательное решение вопроса во всех его подробностях, Витте возражал против предоставления административной власти широкого права регулировать эти подробности. Он стоял и за необходимость выслушивать при каждой реформе мнение заинтересованных лиц и возражал против привычки проводить ее путем чисто бюрократической работы, на том будто бы основании, что бюрократия (основательно упрекаемая в нередко совершенной отчужденности от настоящей действительности) лучше знает все, в том числе и Россию. Он настойчиво указывал на бесплодность или медлительность работы излюбленных у нас комиссий по каждому вопросу и на то, что достоинству высшего законодательного учреждения не приличествует заменять решительные *постановления* благодушными *пожеланиями*. Каждый, кто по своей службе имел своеобразное несчастье быть членом таких комиссий прежнего времени, конечно не мог не согласиться с его взглядами. Обширные журналы заседаний, знаменующие большую и напрасную потерю времени, сопровождаемую иногда печатанием дорого стоящих томов «Трудов», мирно почивающих затем в могильной глубине архивов «до радостного утра», которое никогда не наступало, и пестрый состав членов, без надлежащей подготовки, без интереса к делу и любви к нему, вынуждающий немногих «Чацких» бесплодно убеждать многочисленных «Молчалиных» — таковы были свойства и результаты большинства комиссий, к выводам которых, в качестве материалов, обыкновенно впоследствии не обращались. При обсуждении законопроектов, связанных с расходами, причем многими указывалась необходимость параллельности этого увеличения по всем ведомствам и невозможность отдавать предпочтение

кому-нибудь из них, Витте настойчиво указывал на особые государственные потребности, не подчиняющиеся такому взгляду. К таким потребностям он относил развитие грамотности. Сравнивая русский народ, в отношении знаний, приобретаемых грамотностью, с народами Западной Европы, а также Китая и Японии и с нашими инородцами, он высказывал уверенность, что под влиянием этого сравнения русский национальный вопрос должен получить совсем другое освещение. «Дайте русскому народу, — говорил он, — своею кровью приобревшему окраины и своим потом их долго содержавшему и потому не имеющему надлежащих средств для своего книжного учения, потратить, наконец, гроши на свою грамотность!» В своем желании увеличения числа народных школ гр. Витте настаивал на специальных ассигнованиях на подвергавшиеся сильной и справедливой критике церковно-приходские школы, не раз в своих речах указывая на «великие заслуги православной церкви в деле просвещения народа» и называя отказ в поддержке ее в дальнейшей заботе об этом *вандализмом XIX — XX века.* К вероисповедным вопросам он относился с широкой терпимостью и горячо защищал указы 17 апреля 1905 г. и 17 октября 1906 г., давшие гонимому дотоле старообрядчеству вздохнуть свободно в своих наконец распечатанных храмах. При обсуждении ограничений, которые предлагались по отношению к льготам, данным этими указами, он отрицал, вызвав двукратное замечание председателя Акимова, всякое на это право и у правительства и у законодательных учреждений. Он сильно критиковал при этом и все подробности проекта — урезки этих указов, приводя в блестящих и остроумных примерах возможные нелепости в практическом применении этих урезок и при этом, попутно, предлагал допустить наравне с мужчинами и женщин в члены старообрядческих общин. К сожалению, он не отнесся с той же широтой к вопросу об уничтожении тягостных стеснений — своего рода capitis deminutio media [1] — для лиц ду-

[1] Дословно: среднее уменьшение головы — термин римского права, обозначавший потерю части гражданских прав.

ховного звания, слагающих свой сан и вследствие этого жестоко ограничиваемых в избрании места своего жительства и деятельности и никогда не допускаемых на государственную службу. Нижняя палата постановила отменить все эти меры, как представляющие наказание за то, что, однако, делается с разрешения высшего духовного начальства. Комиссия верхней палаты, после долгих совещаний, признала возможным лишь уменьшить размер этих ограничений, против чего я возражал в общем собрании, находя, что надо решить вопрос принципиально, доказывая необходимость отмены каких бы то ни было ограничений и приведя примеры мучительного житейского положения, в которое ставится желающий сложить с себя сан вследствие болезни, вдовства или утраты веры. В числе разных оппонентов, считавших, что такой вопрос вовсе не подлежит рассмотрению палат, а всецело должен быть разрешен Синодом или собором, и что «давший клятву служить богу» священник уже не имеет прав уходить в общегражданскую жизнь, и потому предлагавших вовсе отклонить этот законопроект, неожиданно выступил гр. Витте. Ссылаясь на то, что за десять лет в России всего семьсот случаев добровольного сложения священниками с себя сана, тогда как существуют миллионы людей, ограниченных в своих правах, и есть целые национальности, которым возбранена государственная и общественная служба, он назвал обсуждаемый закон не *законом*, *а закончиком*, относящимся к области «вермишели» — и характеризуя себя, как «чиновника» и «ординарного члена Совета», предложил признать отмену существующего порядка преждевременной.

Не мирясь с неожиданной теорией «законов» и «закончиков», которая, перенесенная, например, в судебную область, могла бы вызвать пагубную теорию о разном отношении к «делам и делишкам», я возражал против предложения признания шаткой и произвольной несвоевременности, делаемого вовсе не «ординарным членом Совета», а государственным человеком, оставившим свое имя в русской жизни. На этом я был резко остановлен председателем Акимовым, предложившим не говорить о личностях, так как разбирать вопрос о том, какое значение *при-*

дает себе Витте, представляется по меньшей мере неуместным. Эта остановка была характерна, как вспышка враждебного отношения к Витте, упоминание о заслугах которого многим, и в том числе Акимову, резало ухо, тогда как неоднократные заявления разных ораторов о чрезвычайных заслугах нашего достойного сочлена П. П. Семенова-Тяньшанского не сопровождались никакими выходками Акимова.

Надо заметить, что властный и влиятельный государственный деятель и искусный дипломат, оказавший родине, в годину позора и унижения, великую услугу — Витте любил подчеркнуть свое «опальное» положение и вынужденное пребывание не у дел в смысле творческой деятельности, говоря: «Я совершенно в стороне и совершенно не ответственен ни за что».

Иногда к речам Витте могла применяться поговорка: бочка меду и ложка дегтю. *Бочку* представляла самостоятельная, богатая знанием жизни, логикою и нередко остроумием разработка вопросов, *ложку* — приведение совершенно ошибочных и мало ему известных данных. Особенно часто последнее случалось по вопросам юридического свойства. Достаточно в этом отношении указать на то, что Витте при обсуждении вопроса о больничных кассах для рабочих, говоря с теплым участием о фабричных рабочих, обездоленных сравнительно с сельскохозяйственным людом в смысле пользования чистым воздухом и солнцем, в конце прений неожиданно присоединился к требованию *правых* о недопущении в советы больничных касс людей, о которых производится политическое дознание. Несмотря на разъяснения сведущих лиц о громадной разнице между такими дознаниями, производимыми чинами жандармского корпуса и оканчиваемыми почти в 90% без доведения их до суда, с принятием административных мер, и следствиями, производимыми судебными следователями с соблюдением гарантий, указанных в судебных уставах и подлежащих проверке суда, — он никак не мог усвоить себе эту разницу, утверждая, что это одно и то же. Точно также, выступая против допущений в университеты молодых людей, окончивших курс не только в наших псевдо-классических гимназиях, но и в других средних учебных

заведениях, Витте упорно утверждал, что наши университеты и без того переполнены и что покуда не будет найдено средство открыть новые, нельзя увеличивать наплыв студентов. Поэтому, прежде чем, как он выразился, «решать вопрос с хвоста» и «писать бумажный закон, не зная, как его осуществить», надо заботиться о расширении помещений университетов и о подъеме профессорского состава, который находится, в сравнении с былыми годами, в научном упадке. Ему решительно возразил Максим Ковалевский приведя настоящие цифры о пустующих факультетах провинциальных университетов и о громких европейски известных именах, в это время украшавших некоторые из кафедр.

Блистательны по содержанию были его речи по специально финансовым вопросам. Я до сих пор с особым удовольствием вспоминаю его выступление при рассмотрении в 1910 году бездефицитного бюджета. Откровенное изображение им принесенных Россиею бесплодных жертв во время китайской и японской войн, бедственного окончания последней и опасностей, грозящих родине в будущем, сопровождалось глубоко-назидательной исторической справкой о веденных нами в XIX веке в течение 67 лет завоевательных войнах, расширивших территорию империи почти на 90 тысяч квадратных миль и потребовавших крайнего напряжения материальных сил страны. Эти речи он говорил со спокойствием обширного и глубокого знания того дела, о котором шли прения, и с чувством несомненной любви к родине, иногда с подъемом в некоторых местах, но без раздражения и колкой иронии.

Не таким характером бывали подчас проникнуты его выступления по некоторым другим вопросам, причем в них сквозило плохо прикрытое личное неприязненное чувство, несмотря на то, что он сам однажды предостерегал от «водворения атмосферы страстей при обсуждении дел». Таковы были его возражения, уклончивые по содержанию, но резкие по форме, против возникших по почину или при поддержке П. А. Столыпина законопроектов. Это сказалось особо заметным образом при обсуждении выработанного последним, так называе-

мого, «аграрного закона», т. е. проекта землеустройства, и по вопросу о штатах морского генерального штаба. В 1907 г. морской министр вошел в Государственную думу с представлением об ассигновании 61 тысячи в год для учреждения и содержания этого штаба, которое и было уважено Думой в 1908 году. Но когда дело дошло до Государственного совета, то в его летнем заседании, при поддержке сплотившихся правых, выступил бывший государственный контролер Шванебах, утверждавший, что рассмотрение в законодательном порядке вопросов, касающихся морского и военного ведомств, составляет нарушение верховных прав монарха. Совет большинством голосов с ним согласился. В виду неотложной необходимости начать деятельность проектированного генерального штаба морской министр в ближайшую осеннюю сессию Государственной думы снова, без сомнения по соглашению с премьером и с ведома государя, вошел с прежним ходатайством, снова уваженным Государственной думою. Но в заседании Государственного совета с протестами против «нетерпимого вмешательства» Думы в осуществлении прав «державного вождя русской армии и флота» выступили П. Н. Дурново и присоединившийся к нему Витте, нашедшие, что правительство, имея в своем безотчетном распоряжении на исключительные расходы десять миллионов рублей, может дать на морской генеральный штаб необходимую сумму, не нарушая прерогатив государя. Однако, на этот раз Совет, выслушав горячую речь Столыпина, согласился с Думой. Высочайшего утверждения этого постановления, к удивлению многих, *не последовало*, несмотря на то, что обе палаты были на этот раз в полном согласии с правительством. И Столыпин, вторично и очень горячо защищавший решение Думы в заседании Совета, здесь впал в ту же ошибку, как в свое время и Витте, не признав такой неожиданный исход несовместимым с достоинством главы правительства и не оставив свой пост.

Много речей посвятил Витте страстной защите казенной продажи питей, практическое осуществление которой, чрезвычайно увеличив доход казны, однако не достигло той цели,

которую, по его словам, имела эта реформа, предпринятая исключительно для борьбы с неумеренным употреблением народом водки с вредными примесями. В его доводы входили частые указания на то, что винная монополия, возможная лишь при самодержавном строе, сама по себе есть величайшее благо и одна из благодетельнейших реформ «мудрого и великого духом блаженной памяти Александра III, — на которую страны Европы смотрят не без зависти и которую ничто, кроме *стихийной силы*, не может уничтожить». Увеличение пьянства он объяснял, между прочим, отменою выкупных платежей, ссылаясь на то, что при нашей общественной жизни подати с масс если не поступают чрез одно отверстие, то проходят через другое. Резко критикуя некоторые возражения министра финансов Коковцова по поводу упрека в «выкачивании денег из народного кармана», Витте, с одной стороны, утверждал, что бездефицитный бюджет возможен лишь при казенной продаже питей, несмотря на необходимость громадных расходов на военную и морскую обороны страны, а с другой, — предлагал в 1914 г., «для ослабления соблазнов Мефистофеля», фиксирования на будущее время питейного дохода в сумме семисот миллионов в год, пополняя недостаток доходов налогами и государственными займами. Отдавая справедливость энергии Витте в узаконении, упрочении и защите им своего замечательно организованного финансового детища, приходится, однако, признать, что детище это совершенно не оправдало возлагаемых на него надежд. *Винополия*, как называл народ казенную продажу питей, очень увеличила питейный доход, но и пьянство развилось чрезвычайно. Со времени введения монополии в 1894 году в течение двадцати лет население России увеличилось на 20%, а доход этот возрос на 133%. Уже в 1906 году население России пропивало *ежедневно* два миллиона рублей, и еще в 1902 году в полицейские *камеры для вытрезвления* в Петербурге, при населении в миллион двести тысяч, было принято *пятьдесят* три тысячи человек, т. е. один на двадцать три обывателя, тогда как в том же году в Берлине при населении в два миллиона принято шесть тысяч человек, т. е. один на триста двадцать

обывателей. Казенная лавка с точки зрения отрезвления населения не исполнила своей главной обязанности: не упразднила старого питейного дома с его вредными атрибутами — с продажей вина в долг и с допущением к распитию малолетних и пьяных, покуда последние еще могут держаться на ногах. Этот питейный дом только из явного стал тайным, т. е. более опасным. Трудно даже сказать, какое впечатление было тяжелее: от старого грязного кабака, давно осужденного нравственным сознанием народа и терпимого как неизбежное зло, или от благообразной и горделивой своей чистотою винной лавки, у дверей которой в начале рабочего дня нетерпеливо толпились изможденные поставщики питейного дохода, выпивая свои «мерзавчики» на пустой желудок. Казенная лавка, понятно, не могла допустить распития водки в своих стенах, но это распитие переносилось на ближайшее укромное место улицы или в семью, захватывая с собою даже малолетних. Борьба с пьянством осталась лишь на бумаге вследствие апатичного отношения к этой борьбе чинов питейного ведомства, частой заинтересованности низших органов местной полицейской власти, бытовых неудобств, связанных с обличением злоупотреблений со стороны частных лиц и, наконец, по отсутствию материально потерпевшей стороны, так как казна при существовании тайной перепродажи никакого ущерба в питейном доходе не испытывала. Кроме того, финансовое ведомство очень слабо и повидимому неохотно поддерживало местное население, когда оно, испытав на себе вредное влияние «винополии», решалось само постановлять в сельских обществах приговоры о закрытии казенных винных лавок. В первые десять лет казенной продажи было удовлетворено менее одной трети таких ходатайств. Даже и ходатайства Попечительств о народной трезвости постигла та же участь и в том же размере. Наконец, медлительность нашей законодательной деятельности в значительной степени мешала успешности такой борьбы. Достаточно указать в этом отношении хотя бы на почтенную и большую работу Комиссии по борьбе с алкоголизмом при Обществе охранения народного здравия.

В конце девяностых годов в ней был возбужден вопрос

о мерах против *привычных пьяниц*, вносящих разложение и гибель в свою семью, и были выработаны, при участии юристов и психиатров, правила об учреждении над такими пьяницами опек. Но до самого прекращения деятельности наших представительных учреждений по этому предмету, в виде закона, не было ничего сделано, и привычные пьяницы продолжали и вероятно продолжают до сих пор отравляться разрушительными суррогатами водки и отравлять существование окружающих. По укоренившемуся у нас обычаю, на который я указывал выше, вследствие желания «объять необъятное», проект установления опеки над привычными пьяницами был отложен до рассмотрения устава об опеках вообще. Проект же этого устава не рассмотрен потому, что он связан с обсуждением нового гражданского уложения, а это уложение, сложное и обширное, не оказалось решимости рассмотреть и утвердить до самого наступления революции.

Выступал Витте и на защиту Попечительства о народной трезвости, причем на эти учреждения наибольшее ассигнование составляло, на всю Россию кроме Петербурга, четыре миллиона пятьсот тысяч в год, при питейном доходе в семьсот миллионов в год. Горячая критика организации и деятельности попечительств со стороны покойного Череванского была встречена в верхней палате общим сочувствием. Он и его союзники доказали всю несостоятельность работы попечительств, которая, в сущности, свелась к чрезвычайному развитию псевдо-народных развлечений, преимущественно в виде представлений сомнительного свойства, до такой степени, что, например, учебное начальство должно было воспретить воспитанникам среднеучебных заведений посещение Петербургского народного дома попечительства о народной трезвости. При защите «винополии» и связанных с нею попечительств Витте прибегал даже к весьма шатким доводам. Таково было утверждение им в 1914 году, что четверть старых кабаков непременно была бы причастна к «нашей позорнейшей из всех доселе бывших революций» (1904/1905 гг.) в виде места тайных собраний и хранения бомб, браунингов и т. п., тогда как казенные винные лавки были в

этом отношении безупречны. Таковы были также ссылки на слова Победоносцева, пред памятью которого Витте «естественно желал преклониться», о его готовности несколько примириться с питейной монополией, если благодаря связанным с нею попечительствам, одно из которых в Пермской губернии стало обучать местных крестьян церковному пению, — «в конце концов Россия в церквах запоет».

Горделивая уверенность Витте в непоколебимости казенно-питейной монополии через полгода после произнесения им, в январе 1914 года, последней речи по этому предмету была неожиданно и решительно опровергнута. Казенная продажа питей была даже не «стихийной силой», а особым указом безусловно уничтожена с выражением порицания бесплодности ее существования для борьбы с разлившейся по России широкою волною пьянства. К сожалению, на ряду с этим не было однако предпринято никаких решительных и практически-обдуманных мер для предупреждения и борьбы с неминуемым возникновением среди привыкшего к пьянству населения тайного изделия суррогатов водки. Вошли в пагубное употребление денатурат, политура, самогонка и т. п. с прибавкой серной и уксусной кислот, настоя мухоморов, нюхательного табаку и древесного спирта, вызывающего потерю зрения. Окончательное крушение надежд, возлагаемых на казенную продажу питей, для установления которой гр. Витте потратил так много труда, не могло не отразиться и на его душевном настроении. Он замолк и, сколько мне помнится, ни разу более не выступал в Государственном совете.

В верхней палате довольно часто обсуждались и решались вопросы, прямо или косвенно касавшиеся отдельных национальностей, входивших в состав России. Язык, религиозная веротерпимость, школа, гражданское равноправие были в том или другом отношении связаны с отдельными из этих вопросов. Еще в начале девяностых годов Витте определенно высказался по этому предмету в своей богатой разнообразными данными брошюре «Национальная экономия и Фридрих Лист», второе издание которой вышло в 1912 году под общим заглавием: «По

поводу национализма». В ней он решительно выступал против «беспочвенного космополитизма и космополитической аберрации, проповедуемой людьми, облеченными в тогу попугайской учености», ратуя за *здоровый национализм*, осуществленный Бисмарком, в противоположность национализму *болезненному*. Первый он называл убежденным, сильным и потому не пугливым, стремящимся к охране плодов жизни государства, добытых кровью и потом народа, и составляющим высшее проявление любви к отечеству; второй — эгоистичным, подчиняющимся страстям и обуреваемым чувством мести. Этот взгляд проводился им в его речах, иногда в довольно общих выражениях, без «точек над *i*», как, например, в приведенных выше возражениях его по поводу снятия духовного сана. В ряде случаев, заявляя, что общий государственный язык должен сковывать такие государства, которые, подобно России, обратились из Русского царства в Российскую империю, он вместе с тем признавал, что государственность не исключает «человечности», и то государство, которое не принимает человечности во внимание — погибает. Этой мыслью проникнут был, согласно с проведенным им еще в Комитете министров в 1905 году взглядом, ряд речей о допущении преподавания арифметики на польском языке в первый год обучения, о преподавании закона божия и нескольких предметов, кроме географии и истории, на природном языке учащихся и о разрешении школам, содержимым на частные средства и не дающим никаких прав, обучать по всем предметам на родном языке населения и т. д. К сожалению, он не везде последовательно проявлял свой взгляд на необходимость равного удовлетворения справедливых потребностей населения и уважения к дарованным окраинам правам и установленным границам. Так, он сочувственно отнесся к урезке территории царства Польского изъятием из нее Холмщины под предлогом более чем сомнительных этнографических и религиозных оснований. Мне пришлось видеть эту непоследовательность в другой и притом исключительной обстановке, одновременно с Витте участвуя в заседаниях Комитета попечительства о домах трудолюбия, в который я был привлечен

как сотрудник журнала «Трудовая помощь». В основу попечительства была положена благая цель, прекрасно обрисованная в брошюре Е. Д. Максимова «Что такое трудовая помощь», но деятельность его, к сожалению, с первых же шагов приняла под руководством ловкого царедворца А. С. Танеева, напоминавшего своей повадкой гамлетовского Полония, бюрократический характер. В качестве вице-председателя комитета и докладчика он имел значительное влияние на императрицу Александру Федоровну, до 1905 года председательствовавшую в комитете. Он не препятствовал влиятельным ходатаям обольщать ее красивыми миражами, имевшими мало общего с действительностью и шедшими в разрез с настоящими целями Попечительства, — и в то же время возражал против таких предложений, как например, сделанное мною в 1899 году, — о направлении деятельности и средств Попечительства на помощь голодающим путем организации общественных работ. При докладе некоторых дел, касавшихся компетенции министра финансов по вопросам фабричного и ремесленного уставов, Витте воздерживался обыкновенно от необходимых возражений и молчаливо примыкал к большинству. Но однажды, он — защитник входящих в состав России инородцев — выступил в Комитете в совершенно неожиданной роли. Это было 7 января 1903 года. В Комитет было внесено ходатайство еврейского общества города Вильны о разрешении открытия дома трудолюбия для евреев, в виду тяжких экономических условий, в которых в Западном крае находилось это население, скученное в городах. Против такого разрешения высказались, главным образом, указывая на необходимость противодействия еврейской обособленности, виленский губернатор фон Валь и «за министра внутренних дел» — товарищ его, П. Н. Дурново. Заседание было так интересно во многих отношениях, что член Комитета, барон П. Л. Корф, бывший петербургский городской голова, назвав его «историческим», просил меня записать все в нем происходившее, по свежей памяти, что я и исполнил в тот же день. Я проверил эту запись с Е. Д. Максимовым, бывшим в то время секретарем Комитета. Вот что у меня записано: «Танеев предлагает прежде всего выслушать

Плеве, и тот говорит с точностью выражений и с обычным спокойствием: «Я считаю еврейство явлением, враждебным национальному и государственному благу России. Свойства евреев таковы и проявления их деятельности, направленной враждебно против государства и существующего порядка, столь серьезны, что правительство имеет не только право, но и обязанность налагать на них стеснительные меры и не давать им уравнительного положения с христианским населением. С этой точки зрения я вполне солидарен со взглядом моих предшественников и считаю всякое ослабление мер, принятых против еврейства, несогласным с видами и задачами правительства. Я должен, однако, вместе с тем привести два указания, имеющих отношение к разбираемому вопросу. Количество еврейского населения в России составляет в настоящее время пять миллионов: из них три с половиной миллиона населяют Западный край. По закону 1883 года они все скучены в городах, причем лишь триста тысяч проживают в местечках по временным условиям, остальные же ютятся в ужасающей нищете и самых антигигиенических условиях, причем их бедность доходит до того, что целые семейства, состоящие из многочисленных членов, по неделям питаются одним черствым хлебом, и одна селедка, разделенная на маленькие кусочки, составляет роскошь, которую можно себе позволить лишь в праздники. С этим голодом связана и крайняя безработица, вызывающая небрезгующую ничем конкуренцию. Достаточно сказать, что дневной заработок рабочего доходит до четырех-пяти копеек в день. Вместе с тем среди евреев замечается сильное ослабление религиозных начал и семейного авторитета, вследствие чего еврейская молодежь наполняет собою ряды лиц, готовых разрушать общественный порядок и возрастающих в чувстве голодного озлобления. Поэтому, несмотря на все мною сказанное, надо признать, что всякие шаги к облегчению евреям взаимной помощи для возможного устранения тяжелого экономического положения должны быть поддерживаемы, и я, со своей стороны, считаю вполне возможным разрешение учреждения дома трудолюбия в Вильне. Если Комитет согласится со мною, то я доложу об отмене распоря-

жения о неразрешении союзов еврейской взаимопомощи в Западном крае, которое было издано согласно прежнему направлению деятельности Министерства внутренних дел».

Императрица слушает с особенным вниманием. Витте, к которому она обращается, говорит: «В виду заявлений статс-секретаря Плеве, я должен сказать, что хотя и во всех министерствах стеснительные меры против евреев считались необходимыми, но Министерство финансов всегда их признавало несправедливыми и в своей деятельности, считая евреев полезными посредниками для торговли и промышленности, отступало от этого неоднократно и будет впредь отступать. Так и теперь, разрешение открытия виленского дома трудолюбия ничего, кроме хорошего влияния, иметь не может, но надо однако помнить, что это разрешение возбуждает общий вопрос: результатом его будут ходатайства из массы мест, где евреи обрадуются возможности открывать союзы взаимопомощи, и не будет уже основания этого не разрешать. Но тогда образуется взгляд, что дотоле ограниченное в правах еврейство пользуется особым покровительством Комитета и вашего императорского величества, а самому Комитету придется преимущественно заниматься делами еврейской взаимопомощи. В таком положении дел нельзя не видеть известной опасности, и я считаю необходимым обратить на это внимание Комитета». Плеве, поднимая брошенную ему перчатку, говорит, что он такой опасности не видит, так как евреи скучиваются в таких жалких поселениях, что ходатайства о домах трудолюбия могут поступать только из больших городов, которых не так много. При этом он напоминает, что по правилам Попечительства все вопросы об открытии домов трудолюбия и утверждении их уставов рассматриваются в Комитете, — а следовательно, от него всегда будет зависеть положить предел учреждению ненужных или нежелательных домов трудолюбия. Но правительство не должно пренебрегать возможностью оказать примирительное влияние; это требуется интересами государства и здравой политикой,—и он вновь *ходатайствует* о разрешении открыть еврейский дом трудолюбия в Вильне. В ответ на это, Витте вновь настой-

чиво указывает, что невозможно давать утвердиться в народе взгляду на русскую императрицу, как на покровительницу евреев. — «Вопрос об открытии дома трудолюбия в Вильне, — говорит снова Плеве, — может быть разрешен на основании задач попечительства, но вопрос о значении, какое придает министр финансов разрешению еврейской взаимопомощи Комитетом, не может быть разрешен никем из присутствующих, кроме самой августейшей председательницы, причем поставить ее в известность о всех возможных последствиях подобного ее разрешения лежит на обязанности вице-председателя». Тогда Танеев с озабоченным видом предлагает отложить дело. Против этого протестуют А. А. Сабуров, барон Корф и А. Ф. Кони, находя, что вопрос о разрешении открытия дома трудолюбия в Вильне достаточно выяснен в положительном смысле и что такое решение соответствует цели и нравственному призванию Комитета. Но дело, все-таки, при согласии большинства, откладывается, и вопрос общегосударственной политики, раскрыв неожиданную непоследовательность двух *действительных* русских самодержцев, попадает в паутину канцелярской волокиты».

Мои последние свидания с Витте, вне стен Государственного совета, произошли в апреле 1910 года. Написав мне, что он желает переговорить по одному важному делу, он привез мне копии с различных актов предварительных следствий, произведенных по поводу открытых в печах его дома, на Каменноостровском проспекте, в конце января 1907 года двух адских машин и о приготовлении в конце мая того же года для его убийства разрывной бомбы. Негодуя на попустительство к подготовке совершения этих преступлений и на медленность производства исследования, тянувшегося более трех лет и затем прекращенного за смертью одного из обвиняемых — Казанцева, и за невыдачею другого — Федорова французским правительством, — он просил меня высказаться по поводу этих актов. Ближайшее ознакомление с последними привело меня к выводу что убийство Казанцева Федоровым и пребывание последнего

во Франции в качестве политического преступника давало формальный повод для прекращения следствий по отсутствию обвиняемых, но что исследование, которое необходимо было сосредоточить в одних опытных руках, страдало предвзятой близорукостью, побуждавшей не поднимать вопроса о возможной и даже весьма вероятной виновности других лиц, иного общественного положения, и об отношении к ним Казанцева. Я сказал об этом Витте при его вторичном посещении и посоветовал требовать, в виду несомненной важности этого дела, переисследования его через кого-нибудь из независимых по характеру юристов, входящих в состав верхней палаты, с целью выяснения всех лиц, прямо или косвенно причастных к злодейскому предприятию. Он с большой горечью говорил о ходящем в некоторых кругах и быть может отразившемся на «рукавоспустии» при ведении следствий ехидном предположении, что адские машины были подложены по его поручению и я не мог не разделить вполне этого справедливого и глубокого негодования.

Я уже говорил выше о том, как тяжело жилось в последние годы графу Витте, лишенному возможности влиятельного почина и организаторского участия в делах государственното управления. Он и его творческие способности были осуждены — говоря словами Пушкина — на «бескрылые желания». Это должно было его в особенности мучить, когда ему — блестящему заступнику за интересы родины в Портсмуте — приходилось пребывать в тоскливом молчании, видя, что все будущее этой родины ставилось на карту. Этим чувством, очевидно, было вызвано его письмо от 13 октября 1914 года к великому князю Константину Константиновичу (президенту Академии наук), с которым граф Витте долгое время находился в добрых отношениях и который только-что потерял сына, погибшего на войне.

«Живя — говорит Витте — в кровавой и воспаленной атмосфере совершающейся великой бойни культурных народов, люди страдают не только тем, что творится, но и тем, что им при-

ходит на ум. Вот и меня не оставляет мучительная мысль: не проливает ли Россия потоки крови и не бросает ли свое достояние в пламя войны и ее последствий преимущественно для блага коварного Альбиона, еще так недавно натравившего на нас Японию? Не ведет ли Англия нас на поводе и не приведет ли в такое положение, которое затем потребует от нашего потомства массы жертв, чтобы избавиться от нового друга? Ведь история ее отношений к Испании и Франции ради уничтожения их конкуренции на морях служит некоторой иллюстрацией ее отношений к современной Германии, с которой английские деятели поклялись вести войну, по выражению одного русского дипломата, «до последней капли русской крови». Эти мучительные вопросы меня тревожат. Я думал: на чей авторитетный анализ их представить? У меня блеснула мысль представить их на благоусмотрение Ваше. Но, зная в каком великом горе Вы находитесь, я обратился за советом к Р. Ю. Минкельде, и он сообщил, что Вы просите письменно изложить мою мысль. Мотивировать мою мысль потребовалось бы много времени, но суть моих сомнений представлена выше».

Настоящие отрывочные воспоминания написаны в начале 1923 года после ознакомления с I и II томами мемуаров графа Витте. В нынешнем году вышел и III том, приводящий меня к заключению, что протекшее время значительно повлияло на память автора о некоторых отдаленных обстоятельствах из его жизни. Только полным запамятованием того, что было в действительности, можно объяснить некоторые места в этом III томе. Таков, например, рассказ (стр. 161) о прибытии Витте в Харьков для участия в экспертизе о причинах крушения по вызову барона Шернваля, лежавшего с поломанной рукой на вокзале железной дороги. Участвуя — по его словам — в экспертизе на месте крушения поезда вместе с инженерами путей сообщения и директором Технологического института Кирпичевым, он разошелся с последним в выводах о причинах крушения. Не говоря уже о том, что барон Шернваль в виду производив-

шегося следствия, не имел права возлагать на кого-либо участия в следственной экспертизе, и что по закону лицо, вызванное и допрошенное в качестве свидетеля, ни в каком случае не может быть в то же время экспертом по тому же делу, надо заметить, что Витте, как видно из протоколов следствия, вызван был в качестве свидетеля по 443 ст. Устава уголовного судопроизводства, допрошен 4 ноября 1888 года и не принимал никакого участия в экспертизе не только Кирпичева (о состоянии шпал, взятых с места крушения), произведенной в Технологическом институте лишь 14 ноября, но и в экспертизе пятнадцати приглашенных сведущих людей, окончательное заключение которых дано 6 ноября. Крушение произошло 17 октября, и с 19-го числа, до восстановления прямого движения по дороге, я жил на месте крушения, присутствовал при осмотрах пути и подвижного состава, и Витте в числе экспертов или при их совещаниях ни разу не видел.

Что память в данном случае изменила Витте видно из того, что, по его словам, ко времени крушения относится и его *первая встреча* со мной, причем мне «ужасно не понравилась» его экспертиза, так как я считал, вопреки ему, виновным правление дороги, а не центральное управление министерства путей сообщения и инспекцию царских поездов. Между тем, на стр. 101 того же тома, говоря о Комиссии по начертанию общего устава железных дорог, Витте упоминает об участии в ней (с 1876 до 1882 г.) юристов Кони и Неклюдова, который, будто бы, впоследствии был обер-прокурор Святейшего синода (?!). Очевидно, что он совершенно забыл, сколько раз мне приходилось спорить с ним — как это видно из печатного сборника журналов Комиссии — по вопросам о порядке предъявления исков к железным дорогам об убытках, о необходимости определения числа рабочих часов, об ответственности железных дорог перед пассажирами и т. п. Забыл он также, что еще в 1884 году, т. е. за четыре года до крушения в Борках, он доставил мне экземпляр своей книги «Принципы железнодорожных тарифов» с любезною надписью «от автора». Не имея случая видеть Витте в Харькове после его допроса во все время производства след-

ствия до половины января 1889 года, я не имел ни возможности, ни какого-либо повода говорить с ним об участии его в неизвестной мне его экспертизе и высказывать свое мнение о виновности правления и министерства путей сообщения, тем более, что постановление следователя о привлечении правления Курско-Харьково-Азовской железной дороги состоялось почти через месяц после исследования в Технологическом институте шпал, причем они были признаны, по своему состоянию и свойствам, оказавшими существенное влияние на расшивку пути, вызвавшую крушение. Относительно того, что будто бы мне «ужасно не нравилось» данное им «заключение» (?!) об исключительной виновности центрального управления министерства путей сообщения, приходится указать на то, что в заседании Особого совещания при Государственном совете, состоявшемся 6 февраля 1889 года под председательством великого князя Михаила Николаевича, при участии председателей департаментов Совета, государственного секретаря и министров путей сообщения, юстиции, внутренних дел и адмирала Чихачева, согласно с моим докладом о результатах следствия, было постановлено о привлечении к ответственности Посьета и барона Шернваля. Подробности этого совещания изложены мною в упомянутых выше предназначенных для печати воспоминаниях.

В. Г. Короленко и суд.

Кончина Владимира Галактионовича Короленко вызвала ряд некрологов и воспоминаний, в которых всесторонне и ярко обрисовывается образ этого высоко-талантливого писателя, из произведений которого настойчиво и «проникновенно» звучат — призыв к человеколюбию, к уважению человеческой личности и к свободе и нежная, глубокая любовь к чудесно-описываемой природе. Но в них почти *совершенно умалчивается* про участие Короленко в так называемом мультанском деле, которому он посвятил много труда и энергии во имя торжества справедливости. Хочется напомнить об этой его деятельности, которая дорисовывает благородную и возвышенную в своих стремлениях личность усопшего.

В 1894 году в округе сарапульского окружного суда было возбуждено следствие об одиннадцати крестьянах села Старый Мултан, обвиняемых в убийстве нищего Матюнина с целью приношения его внутренностей в жертву языческим богам. Из преданных сарапульскому окружному суду присяжными признаны виновными семь подсудимых, приговоренных к каторжным работам. Рассмотрев принесенную на этот приговор кассационную жалобу, Сенат нашел, что при производстве дела было нарушено равноправие сторон и, вопреки требованию закона, допущены показания свидетелей «по слуху», — и отменил состоявшийся приговор, передав дело для слушания в Елабугу. Там тоже последовало обвинительное решение присяжных заседателей, состоявшееся при целом ряде нарушений, препятствовавших всестороннему рассмотрению и правильному разрешению вопроса о действительном существовании человеческого жертвоприношения у вотяков, как двигающего побуждения

*

обвиняемых. На это решение была опять принесена кассационная жалоба защитника подсудимых. Рассмотрение ее состоялось 22 декабря 1895 года при большом стечении публики. В виду важности этого дела и повторности нарушений, шедших в разрез с истинными целями правосудия, я высказал в моем обер-прокурорском заключении, что нарушения, допущенные при ведении уголовных дел в суде, представляют особую важность в тех случаях, где суду приходится иметь дело с исключительными общественными и бытовыми явлениями и где вместе с признанием виновности подсудимых судебным приговором устанавляется и закрепляется, как руководящее указание для будущего, существование какого-либо мрачного явления в народной или общественной жизни, послужившего источником или основанием для преступления. Таковы дела о новых сектах, опирающихся на вредные или безнравственные догматы и учения; дела о местных обычаях, приобретающих с точки зрения уголовного дела значение преступления, как, например, насильственный увод девиц для брака, родовое кровомщение и т. п.; таковы дела об организованных обществах для систематического истребления детей, принимаемых на воспитание, дела о ритуальных убийствах и человеческих жертвоприношениях и т. д. В этого рода делах суд обязан с особой точностью и строгостью выполнить все предписания закона, направленные на получение правосудного решения, памятуя, что приговор его является не только решением судьбы подсудимого, но и точкой опоры для будущих судебных преследований и вместе с тем доказательством существования такого печального явления, самое признание которого судом устраняет на будущее время сомнение в наличности источника для известных преступлений исключительно бытового и религиозного характера в той или другой части населения. Усматривая в деле четыре коренных нарушения в разных стадиях процесса, разобрав их подробно и указав на полное неприличие представленного Сенату объяснения председательствующего о том, что принесение в жертву языческим богам Матюнина отрицается лишь только бывшим на суде представителем прессы, корреспондентами, да защитником, домогаю-

щимися во что бы то ни стало полного оправдания всех подсудимых, которого они, быть может, когда-нибудь и добьются, я предложил Сенату вторично кассировать приговор по мультанскому делу и передать его для нового рассмотрения в Казанский окружной суд.

Одновременно с этим меня посетил Владимир Галактионович (это была первая наша встреча в жизни — последующие были лишь в первых заседаниях разряда изящной словесности в Академии наук), причем он объяснил мне, что следил за этим делом в виду его общественного значения с самого его возникновения, и рассказал, с какой предвзятой односторонностью велись по нему и предварительное и судебное следствия, как забывал обвинитель свою обязанность «не представлять дело в одностороннем виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающие подсудимого, и не преувеличивая значения имевшихся в деле доказательств и улик или важности рассматриваемого преступления», что определенно предписывается судебными уставами, и как он возбуждал племенные страсти, начав свою речь с указания на «общеизвестность» извлечения евреями необходимой для ритуала крови убиваемых христианских младенцев и кончив напоминанием присяжным, что оправдательным приговором они укажут тысячам вотяков на возможность продолжать и впредь свои человеческие жертвоприношения. Все сообщенные мне Короленкой данные должны были войти в подробный отчет, в составлении которого он принимал живейшее участие и который появился в печати в Москве в 1896 году. В нашей беседе он сообщил мне, что хочет принять на себя участие в защите подсудимых при разбирательстве дела в Казани, что им и было осуществлено, по современным отзывам, с большим знанием дела и свойственной ему теплотою и силой слова. Подсудимые были оправданы, но поднятая против вотяков травля прекратилась не тотчас, о чем свидетельствует следующее письмо Короленки ко мне:

Многоуважаемый Анатолий Федорович.

Вы принимали такое выдающееся участие в юридической стороне известного мультанского дела, что вероятно Вас не может

не интересовать и другая его сторона, ставшая в последнее время вновь предметом обсуждения общей прессы. На X съезде естествоиспытателей и врачей, а затем в отдельном издании вятский свящ. Н. Н. Блинов выступил с новыми якобы доказательствами существования человеческих жертвоприношений в вотской среде. «Московские Ведомости», «Новое Время» и др. издания, занимающиеся травлей инородцев вообще, — тотчас же, конечно, примкнули к взглядам, высказанным Н. Н. Блиновым. Прилагаемые при этом две статьи, кажется, достаточно раскрывают характер этой «ученой работы». Глубочайшее невежество, грубые искажения печатных текстов и крайнее, почти ребяческое легковерие к тем самым «толкам и слухам», которые так трудно было разоблачать во время процесса и которые однако были, в конце концов, разоблачены, — таковы черты этой работы, прекрасно дополняющей инквизиционную картину. Это — теория той практики, которой держалась полиция и, к сожалению, судебные власти в этом деле.

Но здесь есть одна сторона, которая особенно интересна и которую я старался по мере сил (и цензурной терпимости) подчеркнуть в обеих статьях (так как не имею оснований скрывать от Вас, что и вторая статья, подписанная П. Зырянов, — тоже написана мною). А именно: во время мультанского дела обвинитель Раевский утверждал, что только благодаря взяточничеству прежних судов человеческие жертвоприношения оставались нераскрытыми. Н. Н. Блинов утверждает, что в начале мультанского дела, в том же уезде, стане и участке, значит те же власти покрыли сами заведомое убийство. Было же это в начале дела или в конце его (как сначала предположил я) — безразлично. Факт все-таки остается: те же власти (в том числе и обвинитель Раевский!?) повинны в покрытии заведомого убийства, что, по словам докладчика, «обошлось не дешево» вотякам. И это напечатано в «Вятке», значит, процензуровано администрацией, и самая книга продается в «Вятском статистическом губернском комитете», т. е. опять-таки в учреждении официальном. Но ведь это значит, что в покрытии «жертвоприношения» или иного убийства повинна уже вся и высшая администра-

ция, которая не может же не знать того, что так недавно совершилось в губернии (и теперь оглашается печатью), и однако не возбуждает и теперь никакого дознания с виновных в убийстве и в сокрытии оного за взятку! По-моему это самая изумительная черта этого дела.

Разумеется будет не особенно трудно разоблачить сказки, вновь повторяемые Н. Н. Блиновым, — но роль полиции и товарища прокурора Раевского в этих действительно темных делах — к сожалению, разоблачить гораздо труднее, хотя печать и пыталась сделать, что могла. Но, конечно, она *не могла* почти ничего.

Впрочем, простите это излишнее многоглаголание и примите уверение в искреннем моем уважении.

1898. 6/XI *Вл. Короленко.*
Спб., Пески, 5 ул., д. 4.

Вторичная отмена обвинительного приговора по делу вотяков возбудила в петербургских официальных сферах значительное неудовольствие. При первом служебном свидании со мною министр юстиции Муравьев выразил мне свое недоумение по поводу слишком строгого отношения Сената к допущенным судом нарушениям и сказал о том затруднительном положении, в которое он будет поставлен, если государь обратит внимание на то, что один и тот же суд по одному и тому же делу два раза постановил приговор, подлежащий отмене. А что такой вопрос может быть ему предложен, Муравьев заключил из того, что Победоносцев, далеко не утративший тогда своего влияния, никак не может примириться ни с решением Сената вообще, ни в особенности с тем местом моего заключения, где я говорил, что признание подсудимых виновными в человеческом жертвоприношении языческим богам должно быть совершено с соблюдением в полной точности всех форм и обрядов судопроизводства, так как таким решением утверждается авторитетным словом суда не только существование ужасного и кровавого обычая, но и неизбежно выдвигается вопрос, были ли приняты достаточные и целесообразные меры для выполнения Россией,

в течение нескольких столетий владеющей Вотским краем, своей христиански-культурной просветительной миссии. «Я думаю — сказал я ему — что в этом случае ваш ответ может состоять в простом указании на то, что кассационный суд установлен именно для того чтобы отменять приговоры, постановленные с нарушением коренных условий правосудия, сколько бы раз эти нарушения ни повторялись, примером чему служит известное дело Гартвиг по обвинению в поджоге, кассированное три раза под ряд». В этом же смысле высказался при встрече со мною и Плеве. На месте вторичная отмена приговора, и в особенности мотивы сенатского решения, произвели, как видно из письма Короленки, большое впечатление. Председатель суда выехал в Петербург для каких-то оправданий перед министром юстиции, был, по словам Муравьева, очень расстроен и хотел быть у меня, чтобы «разъяснить мне всю правильность действия суда по этому делу», но к моему удовольствию не привел свое намерение в исполнение, избавив меня от необходимости в частной беседе высказать ему мое мнение вне официальной сдержанности и условности.

С сочувствием и с глубоким уважением к памяти покойного Владимира Галактионовича вспоминаю я его живое и проникнутое политическим предвидением участие в мультанском деле, заставлявшее его справедливо тревожиться за пагубный прием разрешения бытовых и племенных вопросов путем судебных приговоров и за обращение суда в орудие для достижения чуждых правосудию целей, поэтому я испытал особое удовольствие, получив от него вскоре после исполнившегося 50-летия моей общественно-служебной деятельности нижеследующее письмо:

Полтава. 8 октября 1915 г.

Глубокоуважаемый
Анатолий Федорович.

Позвольте мне, отсталому провинциалу, присоединить к многочисленным голосам, приветствовавшим Вас в Вашу годовщину, и мой несколько запоздалый голос. Есть много сторон Вашей работы на почве русского правосудия, вызывающих

уважение и благодарность. Мне лично по разным причинам пришлось особенно сильно почувствовать в Вас защитника вероисповедной свободы. В истории русского суда до высшей его ступени — Сената Вы твердо заняли определенное место и устояли на нем до конца. Когда сумерки нашей печальной современности все гуще заволакивали поверхность судебной России, — последние лучи великой реформы еще горели на вершинах, где стояла группа ее первых прозелитов и последних защитников. Вы были одним из ее виднейших представителей. Теперь, в дни ритуальных процессов и темных искажений начал правосудия, — трудно разглядеть эти проблески. Хочется думать, однако, что закат не надолго расстался с рассветом. Желаю Вам увидеть новое возрождение русского права, в котором Россия нуждается более, чем когда бы то ни было.

Искренне Вас уважающий

Вл. Короленко.

Письма А. А. Лугового.

26 октября 1914 года скончался Алексей Алексеевич Луговой (Тихонов), имя которого заслуживает благодарного внимания со стороны людей, которым дороги русская мысль и родное слово. Поэт и прозаик, беллетрист и вдумчивый мыслитель по вопросам нравственного характера, публицист в течение нескольких лет, редактор широко распространенного журнала («Нива»), он являлся литератором в лучшем смысле этого слова, отдавшимся всецело и нераздельно своему призванию и неуклонно стремившимся к его осуществлению, несмотря на большие житейские препятствия и тягостные материальные затруднения. Прекрасный стилист, умевший сохранить в себе уважение к чистоте и богатству русского языка, Луговой смело затрагивал в своих произведениях и создаваемых им образах спорные и вместе с тем коренные вопросы человеческого быта, общественного устройства и людских отношений. При этом он совершенно избегал опасности и соблазна свести художественную постановку и разрешение вопросов к сомнительному реализму изображений, в которых лживая «правда жизни» является, в сущности, лишь плодом односторонней фантазии, направленной на разработку низменных сторон человеческой природы. Излишне перечислять все произведения Лугового, вошедшие в состав двенадцати томов последнего издания его сочинений и затем появлявшиеся в различных повременных органах. Большая часть из них должна быть известна каждому интересующемуся русской литературой в ее серьезном, чуждом болезненной или кричащей окраски, развитии. Еще в 1895 году Академия наук оценила первое издание этих произведений в трех томах и, присуждая Пушкинские премии, почтила писательскую деятель-

ность Лугового почетным отзывом. Достаточно сказать, что в самых разнообразных по форме и содержанию произведениях своих Луговой является вполне самостоятельным мыслителем-художником, проявлявшим замечательную и плодотворную трудоспособность. Он следил за жизнью общества и отдавал себе отчет в том, насколько общественные настроения возникают из вызванных самою жизнью потребностей. Поэтому в своих произведениях, всматриваясь в явления быстро бегущей и с каждым днем все усложняющейся жизни, он почти никогда не принимал на себя роли защитника или обвинителя, но рассматривал, разбирал или рисовал эти явления с беспристрастием спокойного и справедливого наблюдателя, отделяя в них временное, случайное и наносное от проявления вечных и неумолимых законов человеческой природы и общежития. В трудах Лугового звучат: большая искренность без всякой рисовки (например, «Как росла моя вера»), смелое отношение к неприкрашенной действительности (например, роман «Грани жизни»), глубокая любовь к литературному труду и призванию в связи с указанием на ненормальные условия, в которые их ставит сложившаяся практика (например, «Умер талант»), обширная начитанность в истории, археологии и философии, решимость на осуществление больших художественных замыслов (политическая трагедия «Максимилиан — император Мексиканский»), тонкая психологическая оценка взаимных отношений писателя и толпы («Суд толпы»), наконец, художественное, богатое бытовыми особенностями, изображение в горячо написанных страницах отношения той же толпы, в разных ее комбинациях, к личности, имевшей несчастье испытать неудачу («Pollice verso — добей его»), выдержавшее несколько изданий и имевшее большой успех в переводе на немецкий язык.

Смерть Лугового вызвала оставление без дальнейшего движения моего представления об его избрании в число почетных академиков разряда изящной словесности Академии наук.

Луговой нередко писал мне по разным литературным и общественным вопросам. Когда я печатал в «Вестнике Европы» мой очерк об И. Ф. Горбунове, которого признаю глубоким

и вдумчивым знатоком русской жизни, несмотря на подчас шутливую оболочку его рассказов, — я посылал корректурные оттиски Луговому, желая знать его мнение, мною весьма ценимое. Два прилагаемых письма вызваны такими посылками.

12/10 98 г.

Глубокоуважаемый Анатолий Федорович!

Возвращаю листы Вашего очерка. Сказать о нем могу лишь одно: если б наши современные критики писали о своей текущей литературе с таким же глубоким пониманием сущности вещей, с каким разрабатываете Вы избираемые Вами темы, то ходячая фраза об ее упадке не могла бы встретить печального доверия у того огромного большинства наивной публики, которая и Горбунова считала простым забавником. Как к тому, что Вы говорили об Одоевском, о Гаазе, о Ровинском, так и к очерку о Горбунове можно отлично применить цитированное Вами на странице 11-й выражение Федотова о наливке: Ваша мысль — вино, а избираемые Вами темы — отборные ягоды и Вы только тогда сливаете эту наливку в лекцию или очерк, когда она н а с т о я л а с ь. Вот громадное отличие Ваших очерков от тех напитков, которые приготовляются фабричным способом из готовой эссенции ходячих мнений и общих мест с той или другой тенденциозной подкраской в расчете на то, что «покупатель выпьет» (стр. 31).

По мне ваш очерк о Горбунове — это литературно-гражданский подвиг. И не только стоит — необходимо выпустить его отдельной книгой по самой доступной цене. Такие монографии не только обогащают литературу, они обогащают нацию, они показывают ей ее богатства, о существовании которых никто не думает. Горбунов — это иллюстрированная история нашего времени, освещенная юмором. Читая Ваш очерк, я вижу пред собой, если не всю, то большой кусок всей России в известную эпоху. Многие «черты из жизни», написанные на лице нашего современного общества и нашего народа, художественно воспроизведенные в рассказах Горбунова, могут показаться будущим поколениям даже невероятными, и нужно, чтобы такой современник, как Вы, подтвердил всю их правдивость.

И как удивительно верно и метко определили Вы отношение Горбунова к народу. Сопоставление слов *жалеет* и *любит* употребляется уже так часто в литературе, что перестало производить желаемое впечатление, но нигде оно не могло быть так уместно, так необходимо, как в характеристике Горбунова, и здесь оно является во всем обаянии новизны. Да, Горбунов жалел русского человека и п о т о м у любил его...

...К характеристике Горбунова, как рассказчика, можно было бы добавить, что он, по необходимости, повторяя часто одни и те же рассказы иногда перед слушателями, уже знавшими их, умел всегда поддерживать напряженное внимание этих слушателей тем, что каждый раз освежал свои рассказы или вариантом отдельных выражений, или вставками совершенно неожиданных новых подробностей.

Благодарю Вас за наслаждение, которое Вы доставили мне, дав эти листы, и с нетерпением буду ждать продолжения.

Искренно преданный Вам

Ал. Луговой.

13/11 98 г.

Глубокоуважаемый Анатолий Федорович!

Благодарю за лестное внимание. Я, конечно, не замедлил доставить себе удовольствие тотчас же прочесть присланные Вами листы и спешу поделиться моим впечатлением. И эта вторая часть так же интересна и картинна, как первая, а написана она еще едва ли не лучше. Можно, пожалуй, предположить, что для «большой публики», употребляя французский термин — она менее доступна, чем первая, но если принять во внимание, что у нас есть круг читателей, хорошо знакомых со славянским языком по книгам духовным, то надо ожидать благодарной почвы для Вашего посева даже между людьми, стоящими в стороне от обычной литературы. Только первые три страницы кажутся мне чересчур сжато изложенными и требующими дополнений из запаса собственных познаний читателя; а дальше уже все общедоступно и высоко поучительно.

В старом провинциальном актере, Хрисанфе Николаевиче, нельзя не узнать известного трагика Хрисанфа Николаевича

Рыбакова, и мне кажется, что это можно было бы отметить.

Мне кажется также, что при оценке игры Садовского и Горбунова в оперетке Вы немножко уклоняетесь от настоящей перспективы времени и смотрите на дело с позднейшей точки зрения. Оперетка, пока не опошлилась, сыграла известную роль в нашей общественной жизни и, мне думается, что в свое время, под гипнозом общественного настроения, ни Садовский, ни Горбунов не испытывали *«горечи безусловной подчиненности»*, когда «вынуждены» были играть в оперетке, а если и сами, может быть, говорили потом об этой горечи, то под влиянием новых общественных настроений.

На стр. 474-й я отметил тургеневское выражение «и не ночевало».[1] Может быть, мой взгляд на него совершенно расходится с Вашим, но я лично всегда был такого мнения, что эту тургеневскую фразу, сказанную в минуту раздражения и не предназначавшуюся для печати, лучше предать забвению. Некрасов был поэт, часто более чуткий к поэзии, чем сам Тургенев, только «борьба ему мешала» быть поэтом *всегда*. Поэзию Некрасова отстаивал даже покойный Майков. Об этом, впрочем, как-нибудь при свидании. Мне хочется также поговорить с Вами о дневнике Горбунова с эпиграфом: «Вы думаете, я ничего не знаю, я все знаю» (Афоня) — и о портрете его в костюме шута в картине Маковского «Смерть Грозного». И это тоже оставляю до свидания. Петербургская жизнь совершенно выбила меня опять из колеи, и я уже не успеваю бывать везде, где хочется, но надеюсь, что эта полоса будет не долга, и я в скором времени буду опять иметь удовольствие побывать у Вас.

А пока еще раз благодарю за оказанное внимание и доставленное удовольствие.

Искренно преданный Вам

Ал. Луговой.

---

[1] У меня говорится: «под именем Горбунова издавались сборники фальсификации, в которых, употребляя выражение Тургенева, знание народного быта и не ночевало. Тургенев употребил это образное выражение по отношению к стихам Некрасова. Я же вполне разделяю мнение Лугового. *А. К.*

С. С. Манухин.

(Воспоминания)

Недавняя кончина Сергея Сергеевича Манухина (17 апреля 1922 г.) вызывает личные воспоминания об этом верном представителе правильного правосознания и нелицемерного правосудия. Я встречался с ним на служебном пути, когда он был назначен моим товарищем по должности обер-прокурора Уголовного кассационного департамента Сената во второй половине 80-х годов. Я мог при этом неоднократно убеждаться в его широком и разностороннем образовании и глубокой вдумчивости во внутренний смысл закона, столь необходимый в кассационной деятельности, где так часто *буква* закона затемняла его источники и житейское содержание. К сожалению, нам пришлось недолго работать вместе. Центральное управление министерства юстиции вскоре потребовало его участия в своих трудах, и нельзя было не порадоваться новой сфере предстоявшей ему деятельности, задача которой должна была состоять в борьбе со внутренними разрушителями и внешними врагами Судебных уставов. Первые из них были одержимы заразительным законодательным зудом, выражавшимся в поспешных и необдуменных поправках к Судебным уставам и запоздалых чиновничьих дополнениях к основоположениям судебной реформы. Вторые, вслед за Катковым и его подголосками в печати, вел по отношению к суду своеобразную бухгалтерию, ничего не вписывая в актив, так ощутительно сменивший старое бессудие и формалистическое бездушие, и тщательно, злорадно записывая в пассив все действительные или кажущиеся им ошибки этого суда, не давая себе вдуматься в сущность и причины того,

или другого явления. Отсюда нарекания на мировую юстицию, подготовившие появление земских начальников — этих настоящих «кандидатов бесправия», как я их назвал когда-то; отсюда наименование суда присяжных «судом улицы» и их самих «стадом баранов» и, наконец, ядовитое название Катковым Сената антиправительствующим. Со всем этим приходилось бороться зорко и стойко, соединяя твердость взгляда с искусными тактическими приемами. Это было утомительно, но Манухин отдыхал на заграничных командировках, где ему приходилось пополнять и обогащать свои научные знания участием в конгрессах по частному международному праву в Гааге и антропологическому в Брюсселе, где впервые выступили во всеоружии последователи Ломброзо и новых итальянских криминалистов.

В 1904 году он получил портфель министра юстиции. Назначение на министерские посты в последнее десятилетие перед революцией представляло многие печальные особенности. Мемуары С. Ю. Витте содержат в себе яркие образы алчных искателей портфелей и описание беззастенчивых шагов к влиятельным министрам для их получения. Этому в некоторых случаях соответствовала неожиданность назначений, о которых избранный узнавал иногда из «Правительственного вестника», не будучи до того призван для каких-либо объяснений, необходимых для уяснения единства или разности во взглядах на задачи вверяемой отрасли управления. Такие назначения принимались с радостною услужливостью и, повидимому, без всяких условий относительно программы будущей деятельности нового избранника. Они рассматривались как высокая награда, а не как призыв к широкой и ответственной работе в определенном направлении. Так постепенно установился тот порядок вещей, который справедливо был назван в Государственной думе «чехардою». Конечно, в этом отношении бывали и прекрасные исключения, но во многих случаях самостоятельность министров выражалась в служении завещанной прошлым своеобразной Magna charta, ограждавшей скудные права российского гражданина путем пререканий между собою различных ведомств. При этом главною задачей нередко ставилось: жить в мире с влиятельным

министром вроде Победоносцева или Витте и быть, в особенности в последнее время, в добрых отношениях с обер-гофмейстринами, министром двора и дворцовым комендантом.

Не так смотрел на свою задачу и положение С. С. Манухин. Сохранилась его записка о приеме у государя, когда ему было объявлено о решении назначить его министром юстиции. Он сразу стал в положение не ведомственного, а государственного человека, указав, что судебное преобразование, итогам которого ему придется служить, должно влечь за собою уравнение сословий; что крестьянский вопрос настойчиво требует своего разрешения в смысле уменьшения безземелья, гонящего «пахаря и хранителя русской земли» в город и на фабрику со всеми их нравственно-растлевающими влияниями; что быт рабочих требует энергичных мер для своего улучшения и обеспечения их положения и что, наконец, настоятельна реформа Сената, который, вследствие устарелого устройства, сохранив в народе прежнюю *славу*, обратился однако в пустое *слово*, не соответствующее роли, намеченной его великим основателем. Аудиенция длилась двадцать минут. Доводы Манухина сопровождались сочувственными ссылками на обстоятельства, их подтверждающие. Однако, все по отношению к предложенным им реформам, за исключением сенатской, окончилось словами: «Это вас собственно не касается», которыми ему была ясно указана его преимущественно ведомственная деятельность. Нельзя сказать, чтобы и в этих узких пределах новому министру не пришлось переживать тяжелых минут. Его неоднократные протесты против назначения сенаторами лиц, вся заслуга которых состояла в грубом применении произвольных административных мер обуздания и пресечения, не привели ни к чему; его ходатайство о смягчении в одном случае смертного приговора было отринуто, а с дворцовым комендантом Треповым, который, судя по запискам Витте, присваивал себе роль первого министра, у него возникли крайние разногласия. И участие его в петергофских совещаниях 1905 г. о введении в России представительных учреждений, конечно, не могло укрепить его положение, так как на заявление одного из влиятельных чле-

нов совещания, что предположения о таких учреждениях должны быть понимаемы как стремление к уничтожению самодержавия, он высказал, что последнее «вовсе не деспотия и по мысли своей далеко от полного абсолютизма, не связанного никаким законом. Заветы русской истории указывают, что нам была нужна не неподвижная форма тирании, а начала мудрого управления, способного к эволюции, согласно культурному росту и развитию народа. Исторический процесс русской государственной жизни был процессом самоограничения самодержавия, и необходимо дальше решительно итти по этому пути». Этот взгляд был разделен далеко не всеми. Было забыто изречение Мирабо о том, что часто верховные носители власти ищут исполнителей своей воли в лице помощников с умом людей свободных и с душой рабов. Неизбежное, по мнению Манухина, самоограничение наступило лишь через полтора года после тщетных и сопровождаемых тяжелыми жертвами проволочек.

В 1906 году Манухин был освобожден от звания министра и назначен членом Государственного совета. Здесь мы снова встретились, и нас часто соединяло единство работы в общем собрании и сходство взглядов во многих случаях, несмотря на принадлежность нашу к разным группам. Он состоял в правом крыле группы центра, я же примкнул к беспартийным. Как сейчас вижу его в те годы с серьезным взглядом умных глаз, с очень редкой улыбкой, сдержанного в обращении, точного и определенного в слове, которым он умел, следуя заветам Пушкина, «твердо править». Чуждый столь нередкого среди наших выдающихся людей самомнения и самолюбования, он был, однако, свободен и от всякой уклончивости в высказывании своего взгляда, не прибегая к обычным «казалось бы» и «едва ли», по поводу которых еще Филарет Московский на докладе, составленном в таком стиле, пестревшем выражениями «представлялось бы», «казалось бы» и «едва ли», написал: «Едва ли, едва ли и трижды едва ли *едва ли* составляет какое-либо доказательство». Любимым вступлением в речах и опровержениях Манухина было: «Я со своей стороны считаю...» и «мое личное мнение, что...» Объем деятельности, которой он посвятил себя в Госу-

дарственном совете, был обширен. Постоянный председатель Комиссии законодательных предположений, член отдельных комиссий (не менее десяти в год) и член Первого департамента Совета, оставшегося от старого устройства последнего, он был завален работой, много раз выступал докладчиком по проектам Думы и после утомительных заседаний Законодательной комиссии, когда все ее члены могли временно почить от трудов своих, он должен был еще долго устанавливать со статс-секретарем содержание и юридический характер подробной заметки о заседании, подлежавшей внесению в общее собрание. Нужно было много самообладания и такта, чтобы успешно вести работы Комиссии при свойственных большинству всяких коллегий искусственных сопряжениях воедино иногда прямо противоположных темпераментов, побуждений и взглядов. Не менее трудно было его положение и в качестве одного из выдающихся руководителей и представителей центра. Наша конституция, которую немецкие ученые ядовито называли «eine Scheinkonstitution», создала Думу и Совет на разных началах. Состав первой, избранный вне сословных, классовых и профессиональных перегородок, является выразителем *потребностей страны*. Состав Совета с обособленными группами избирателей от землевладельцев, торгово-промышленного класса, дворянских обществ, ученых и учебных заведений и т. д. был выразителем интересов отдельных классов. Половина состава Государственного совета была притом по назначению. Свободе мнения выдающихся в этой среде лиц всегда мог грозить перевод их к 1 января в неприсутствующие, т. е. поставление человека нередко в полном обладании физических и умственных сил на оскорбительный «подножный корм» без всякой деятельности. Человеку, прямодушно стремящемуся к общественной пользе, легче понять умом и воспринять сердцем народные потребности, чем проникнуть в эгоистические интересы отдельных общественных слоев и открыть скрытую иногда под внешней убедительностью узкую личную цель. Вот почему в одной из своих речей Манухин сказал: «В речах предшествующих ораторов много аналогий, метафор и сравнений, интересных с художественной точки зре-

*

ния, но здесь надо подходить к вопросу с серьезной деловой стороны, не затемняя его источников и истинного смысла». Положение докладчика подчас представляло много тяжелого, в виду того, что в состав Совета назначались заслуженные в своей узкой специальности, но усталые люди, иногда вовсе не подготовленные к обсуждению и разрешению вопросов общего характера. Для того чтобы быть понятым ими, докладчику приходилось тратить время и утомлять внимание слушателей, спускаясь до элементарных истин и азбучных понятий.

По отношению к некоторым, весьма вообще почтенным людям, невольно приходилось припомнить текст: «Вижду тя, Филиппе, старость имуща честну, разумом же горше юных суща». Рядом с этим явлением широко выступали предвзятость взглядов и то, что Кавелин считал одним из печальных русских свойств — *лень ума.* Партийная дисциплина обязывала членов партии подчиниться состоявшимся в их собрании постановлениям и получать «директивы» о том, чего держаться при окончательном решении вопроса. Этим освобождались многие от самостоятельного обсуждения последнего, и им как бы говорилось: не утруждай себя напрасно и знай заранее, за что и в какую сторону тебе следует подать голос. Большую силу имела в Совете группа правых, среди которых встречались лица, упорно противодействовавшие всяким постановлением Думы, даже и тогда, когда она высказывалась в единении с правительством. По их мнению, всякая эволюционная деятельность Думы должна была быть подавлена «quand même et malgré tout».[1] Так образовалось ходячее мнение о Совете, как о «пробке» для всех начинаний Думы. Группа правых имела очень способных лидеров, которые в заседаниях общего собрания управляли ею с искусством опытного дирижера, следя за тем, как исполняли свою обязанность по отношению к «директивам» те, кто обязался jurare in verba magistri.[2] К этой группе примкнули и некоторые добровольцы из судебного мира, чьи хорошо подвешенные языки,

---

[1] Несмотря ни на что и вопреки всему.
[2] Клясться словами учителя.

иронический тон и беззастенчивые софизмы производили эффект и имели влияние. В особенности это сказывалось по вопросам о правах национальностей и о свободе совести. Наконец, тоже не малое влияние на настроение большинства имело возбуждение страха пред грядущими событиями и прямое или косвенное указание на пережитую Россией смуту 1904—1906 годов. Вирхов сказал, что у страха есть свои герои, и когда он овладевает ими, то им кажется, что вместе с ними весь мир дрожит в своих устоях. К сожалению, этот страх почти всегда бывает бесплодным. Призванных к законодательству людей он заставляет забывать прекрасное изречение Гизо: «Gouverner c'est prévoir»[1] и уподобляет их сидящим на задней площадке заднего вагона идущего поезда и смотрящим на уходящие рельсы с упованием вернуться по ним, не замечая, что он их все-таки мчит вперед, но только задом.

Обращаясь к содержанию деятельности Манухина в Совете, нельзя не отметить серьезной работы по выработке взаимоотношений обоих законодательных учреждений в случаях поступления в Совет проектов *распущенной* Думы и по пересмотру наказа Совета. Он остался верен той программе, которую изложил при назначении своем министром. Так, по крестьянскому вопросу он принял усердное участие в обсуждении проектов о переселенцах, о местном суде, о помощи голодающим, о судебной власти земских начальников и о всесословной волости, проект постановления о которой вследствие крайних внутренних трений, к сожалению, не дошел до общего собрания. По рабочему вопросу он выступал по проектам о страховании и лечении. В вопросе преобразований Сената он настойчиво проводил действительную самостоятельность этого учреждения и независимость его решений от министров, широкую доступность его для потерпевших от произвольных действий органов управления и право непосредственного обращения к верховной власти с расширением законодательного почина. По отдельным вопросам ему приходилось не раз возражать против *отсрочки*

---

[1] Управлять — значит предвидеть.

введения в действие того или другого закона или о допущении его действия *всего на два года* (университет Шанявского), чего требовали согласившиеся, скрепя сердце, на этот закон члены Совета; пришлось выступать в защиту проекта об увеличении скудного содержания чинам судебного ведомства, когда в заседании общего собрания Совета не считали нужным явиться ни министр юстиции, ни кто-либо из его товарищей, и когда представитель господствовавших в то время правых заявил, что предположенные к ассигнованию средства лучше употребить на увеличение тюремных помещений; пришлось энергично защищать проект вероисповедной комиссии о свободном переходе из православия в инославие, причем четыре лица, поддерживавшие этот проект (Таганцев, М. Ковалевский, Манухин и я), были провозглашены *неправославными*, и условием соглашения с нами было поставлено предложение принять поправку, в силу которой перешедший в инославие исключается из государственной службы или теряет право в нее вступать, а все завершилось соглашением с предложением П. Н. Дурново (73 голоса против 71) о принятии на лоно православия несовершеннолетних детей иноверцев без согласия на то их родителей, по благословению Святейшего синода. Он явился и защитником допущения женщин в адвокатуру, несмотря на убедительные доводы одного из членов Совета о том, что вследствие создания Евы из ребра Адама женщина не может быть сравнена с мужчиной в правах. Он настойчиво отстаивал необходимость ограничения сроков действия авторского права против сплоченных возражений защитников пятидесятилетнего срока со смерти автора, лишавшего недостаточное население возможности своевременного приобретения научных и литературных произведений и т. д. Вообще, во всех своих выступлениях и работах в Государственном совете Манухин был постоянно защитником и проводителем необходимой *эволюции закона*, и в этом отношении его политический образ сложился совершенно определенно. Судьба однако оторвала его от этой работы, как бы сказав словами поэта: «Иные ждут тебя страданья, других восторгов глубина».

Настала так называемая Ленская история. На Ленских

золотых приисках в Западной Сибири, эксплоатируемых русско-английским акционерным товариществом (Lena-Goldfield), причем в числе ближайших распорядителей был один из баронов Гинцбургов, возникли беспорядки. Официальные телеграммы, дополняемые различными вестями, сообщали о том, что на Надеждинском прииске рабочие, недовольные местным управлением и подстрекаемые особым стачечным комитетом, двинулись сплоченною толпою с оружием в руках против местного приискового управления, так что, в виду угрожающего поведения рабочих, жандармский офицер Трещенко в вынужден был отдать приказ о стрельбе в нападавших. Когда по этому поводу был сделан министру внутренних дел запрос в Государственной думе с указанием на то, что все это кровавое событие имело совершенно другой характер, то А. А. Макаров, руководясь официальными сведениями, оправдывая вынужденные действия власти, сказал свое роковое летучее слово: «Так было и так будет». Вскоре, однако, в газетах появились подробные корреспонденции, из которых было видно, что эти решительные действия вовсе не были вызваны рабочими и могли быть отнесены лишь к бездушному усердию по охранению интересов и влияния хозяев приисков. Все это возбудило негодующие толки в обществе, и явилась мысль о необходимости назначить на месте сенаторскую ревизию для авторитетного выяснения того, что же было на самом деле. Сенаторские ревизии всегда приносили хорошие плоды. Они неслись как грозовая туча, освежавшая спертую и душную атмосферу. Ревизующим сенатором был назначен, неожиданно для него, Манухин. На месте ему пришлось совершить огромный труд личного ознакомления со следами и очевидцами случившегося и с условиями и обстановкой быта рабочих. Он посетил одиннадцать приисковых управлений, вызвал со всех приисков выборных рабочих и в речах своих старался внушить им бодрость и веру в беспристрастие предстоящего исследования. В результате сложной и неусыпной работы Манухина и руководимых им помощников, оказалось, что никакого нападения вооруженной толпы не было и никаких законных поводов к употреблению

оружия не существовало, а между тем было убито 147 рабочих и ранено 193, причем из всех трехсот сорока фронтовые раны обнаружены лишь у 17 %; вещественными доказательствами вооруженности наступавшей толпы оказались десять кирпичей и семь кольев на три тысячи человек. Существование стачечного комитета, подстрекавшего рабочих, тоже оказалось вымыслом, и возбужденное по этому поводу следствие было прекращено Иркутским окружным судом 11 марта за отсутствием состава преступления. Действия и доклад Манухина, обнимавший 400 страниц, возбудили тревогу в правящих сферах Петербурга, и Совет министров в заседании 15 мая постановил о необходимости проверить мнение сенатора Манухина об отсутствии данных, свидетельствующих о том, что «так было и так будет». Это было опубликовано 7 июня для успокоения встревоженных бюрократов, из коих некоторые, по данным, обнаруженным Манухиным, оказались соединяющими свои должности со званием членов правления Ленского товарищества. В конце концов весь труд по ревизии положен «под сукно». Одно лишь Лондонское отделение товарищества выразило своему представителю в Петербурге порицание за образ действий на месте, вызвавший справедливое недовольство рабочих. Так окончилась ревизия, руководитель которой стремился осуществить то, что выражено прекрасными словами митрополита Филарета в одной из его проповедей: «Истину, хотя бы и печальную, надо видеть и показывать и учиться от нее, чтобы не дожить до истины более горькой и наказующей за невнимание к ней». Манухину осталось вернуться с сознанием исполненного долга, но с горьким ощущением бесплодности этого исполнения, и приступить к своим обычным «трудам для жизни и жизни для трудов». Подобно многим из его сослуживцев, ему пришлось пережить тяжелые годы материальных лишений и новых непривычных занятий в чуждой дотоле области, но он не терял бодрости и принимал посланное судьбою родины испытание, не отдаваясь бесплодным сожалениям об утраченной деятельности и находя, как и прежде, душевный отдых в отзывчивости на лучшие произведения литературы и искусства и в любви

к природе. Чуждый всякой позы и рисовки, он всегда был вдумчивым наблюдателем действительности и любил иногда со смехом передавать свои меткие и остроумные замечания о пестрых явлениях жизни. Среди переживаемых бурь ему пришлось провести в разлуке с семьей несколько месяцев и вернуться в ее недра больным, застав свою супругу со смертным недугом, сведшим ее скоро в могилу. Среди тяжелых физических страданий он нашел в своей падчерице ангела-хранителя, окружившего его самоотверженными заботами, которые показали, как силы сочувствующей души могут превышать силы слабого организма в женщине, которая понимает, что ее главная задача в жизни «иногда исцелять, часто облегчать и всегда утешать». Под влиянием этого ухода он стал поправляться и еще в начале апреля написал стихи, в которых отразилось его душевное состояние:

Мне грустно потому, что вновь идет весна —
Обманчивый призыв несбыточного счастья.
Она пройдет, как ночь волшебная без сна,
И снова будет плач осеннего ненастья.
Мне грустно потому, что поцелуй весны
Разбудит вновь во мне доверчивые грезы,
Что светом и теплом опять обольщены
Так нежно, трепетно, так страстно дышат розы.

17 апреля он почувствовал себя сравнительно хорошо, но внезапно выразил предчувствие смерти, просил приподнять себя, просветлел лицом и скончался, громко воскликнув: «Заря! Заря!» Как будто этим возгласом он — человек верующий — приветствовал начало своего нового, освобожденного от скорбей жизни, существования... Или, быть может, его взору представлялась возрожденная и очищенная долгими испытаниями, освещенная зарею правды и справедливости, родина.



КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Мотивы и приемы творчества Некрасова.

(Беглые заметки)

Недоброжелательство, зависть к материальной независимости поэта и злорадное восприятие всяких на него наветов часто отравляли жизнь Некрасова. Он сам отчасти подавал к этому повод, забывая совет житейской мудрости: «Не говори о себе дурно, — «друзья» твои об этом позаботятся». В обиход нашей панихиды входят прекрасные слова: «Несть человек иже поживет и не согрешит — Ты Един *кроме* греха», — но не по мелким прегрешениям, а по лучшим сторонам и проявлениям выдающегося человека надо его судить. У нас делается обычно наоборот, и Боровиковский был прав, обращаясь к типическому хулителю Некрасова со словами: «Ты рассмотрел на солнце пятна и проглядел его лучи». Некрасов не хотел просить пощады у своих врагов («Что враги! пусть клевещут язвительней — я пощады у них не прошу»), но в минуты уныния и щемящей душевной горечи относился к себе с резким осуждением и взывал к светлому образу своей матери о нравственной помощи. Этими самообвинениями и самобичеванием, этой «явкой с повинной» пред народом, хотя каяться пред последним было не в чем, он давал пищу клевете. Среди отзывов о нем не только со стороны «самодовольных болтунов, охотников до споров модных», но и со стороны некоторых критиков, как напр., Страхова, Евг. Маркова, Полевого и — к сожалению — Тургенева, часто выражалось сомнение в его искренности как «печальника горя народного», в стихах которого «поэзия и не ночевала». И действительно, пение птичек, благоухание цветов, «в дымных тучках пурпур розы» и «шопот, робкое дыханье — трели соловья» —

не находят себе места в стихах этого, по отзыву одного из хулителей, «земного поэта», часто страждущего физически и почти всегда нравственно. Он остается всю жизнь верен завету Гоголя — молить себе у бога гнева и любви, и почерпает эти чувства не из искусственно-созданного настроения, а из глубоко вонзившихся в душу впечатлений целой жизни, начиная с раннего детства, заставляющих его, по красивому испанскому выражению, «кричать устами своей душевной раны».

Вот его детство «средь буйных дикарей» в усадьбе отца, — жестокого и бездушного насильника, — вокруг которого «разврат кипит волною грязной» и где страдает чистая и благородная мать, где приходится сливать слезы детского испуганного и трепещущего сердца со слезами оскорбленной и поруганной женщины. Куда уйти? Где отдохнуть от этой горькой обстановки, чтобы забыться хотя на время среди других картин! Пойти на берег соседней Волги? — Но там вереницей, в своеобразных хомутах, тащат барки унылые и сумрачные бурлаки «с болезненным припевом *ой!* и в такт мотая головой», так незабываемо изображенные Репиным... Уйти в противоположную сторону? Но там так часто идут на Владимирку по дороге в далекую и страшную Сибирь ссыльные и каторжные с выжженными клеймами на лице и бритой половиной головы, бряцая цепями, сменяясь по временам партиями горестно оплаканных семьей рекрутов, отправляемых на долгую безрадостную и исполненную бездушной строгости и бессмысленной шагистики службу. А кругом — и дома, и у соседей, — в мрачной области крепостного права грубые проявления власти владельцев крестьянских «душ». Вот где корни любви и гнева, проникающие поэзию Некрасова, вот первоначальный источник его любви и сострадания к «Арине — матери солдатской» и к «некрутиковой жене», — сочувствия тяжкому горю русской женщины, когда она, выполняя святой подвиг, едет «во глубину сибирских руд» к сосланному мужу, или когда она не в силах забыть своих детей, погибших на кровавой ниве, подобно плакучей иве, не могущей поднять «своих поникнувших ветвей». Из этого же источника, наконец, черпает он со свойственным ему трезвым

реализмом свое трогающее участие к молодой крестьянке, которую будет «бить муж-привередник и свекровь в три погибели гнуть» и к той игрушке барской прихоти, которая «все читает какую-то книжку и на какой-то патрет все глядит», так что любящий муж «ее бить, так почти не бивал — разве только под пьяную руку»...

А если обратиться к молодым годам поэта, брошенного на «холодные плиты» Петербурга, «пребывающего в неизвестности, пресмыкающегося в нищете» в соприкосновении со всеми видами испытаний и страданий, свойственных жизни «рокового» города, то можно ли отрицать лично пережитую и искреннюю горечь негодования в изображении тех, кого он имеет в виду, говоря читателю: «Иди к обиженным, иди к униженным и будь им друг!»

Быть может, недалеко уже то время, когда Некрасов станет вполне и непререкаемо *народным поэтом*, и песенка его зазвучит над Волгой, над Окой, над Камой, но и теперь он яркий и глубоко вдумчивый *поэт о народе*, о его нуждах и скорбях. В его «Тишине» и ряде других произведений звучит неподдельная любовь к родной природе и к своей отчизне. «Напрасно ропот укоризны за мною по пятам бежал» — говорит он — «не небесам чужой отчизны — я песни родине слагал». Его лирические вещи, полные грусти о недостижимом или разбитом счастье, проникнуты заразительным настроением. Достаточно указать на «Я посетил твое кладбище». Нужно ли говорить о его гражданской заслуге «толпе напоминать, что бедствует народ, в то время как она ликует и поет», — упоминать, что в то время когда по признанию самого Николая I Россия управлялась столоначальниками, а они избирались преимущественно из городской молодежи, далекой от народа и чуждой ему, — Некрасов говорил ей *о нем*, пробуждая в ней внимание и любовь к этому «таинственному незнакомцу».

Выставляя Некрасова «спорным поэтом», некоторые критики нападают и на приемы его творчества. Зачем он употребляет стихотворный размер анапест? — восклицает один; да все ведь, что он говорит стихами, можно изложить прозой! — восклицает

другой. — Но разве многие произведения, хотя бы того же Тургенева, не доказали, что и проза может иметь и ритм и гармонию стиха? И разве не встречаем мы у Некрасова свободное распоряжение всеми стихотворными размерами, независимо от любимого им ямба? Его народный, сочный и выразительный язык «Мороза-Красного носа», «Коробейников» и «Кому на Руси жить хорошо» заставляет невольно вспоминать мольбу Тургенева «берегите наш русский язык!»

Его содержательные и образные прилагательные, напоминающие пушкинские, заключали в себе не только определения свойства или качества, но и целый образ, как, например, — *беспокойная* ласковость взгляда; *поддельная* краска ланит и *убогая* роскошь наряда у несчастной «жертвы общественного темперамента» или *врачующий* простор родной стороны, или *закушенный* калач, дрожащий в руке голодного вора и проч. Нельзя не отметить у него и очень удачных звукоподражаний, тоже напоминающих Пушкина. Таков, например, отзыв простого человека о железной дороге: «Важная барыня, гордая барыня, ходит, змеею шипит — пусто вам! пусто вам! пусто вам! русской деревне кричит». Нет и скучного у многих поэтов многословия. Его определения кратки, но содержательны, — он часто ограничивается общим намеком, предоставляя читателю самому представить себе настоящую картину. В страдании русской матери, насильственно разлученной с сыном, «мало слов, а горя реченька, — горя реченька бездонная»; причины, приведшие человека на каторгу, рисуются так: «Молящий стон, безумный крик, сверканье стали . . . прочь, утонувшие в крови воспоминания любви!» Наконец, опять-таки в опровержение одного из критиков, приходится указать на неудачное, по его мнению, а в сущности превосходное обращение Пушкина к княгине Волконской в «Русских женщинах», в котором так слышатся подлинная манера и стиль великого поэта.

О Ф. М. Достоевском.

В феврале текущего года исполнилось сорок лет с кончины Федора Михайловича Достоевского и с того дня, как невиданная дотоле в Петербурге по своей величавой торжественности и многолюдству процессия людей разнообразного общественного положения и возраста проводила его прах на кладбище Александро-Невской лавры при общем сознании тяжести и невознаградимости испытываемой потери. В ноябре настоящего года исполняется сто лет со дня его рождения. Его жизнь, полная труда, великих страданий и душевных переживаний, восстает перед нами во всей совокупности ее различных периодов. Перед нами проходят: первоначальный громкий вполне заслуженный успех его первого литературного произведения и вслед за ним роковые минуты ожидания на Семеновском плацу исполнения смертного приговора; годы пребывания на каторге, в «Мертвом доме», и затем исполненная лишений и вынужденной поспешности писательская работа по созданию немеркнущих по своему содержанию и глубине творений, с переходами от восторженной веры к ядовитому сомнению и от изображения возвышенных характеров к последним степеням человеческих пороков и падений, с недоброжелательством критики, пророческими предвидениями и общим признанием в два последних года жизни.

Мыслитель и богослов, психолог и врач, юрист и социолог найдут в произведениях Достоевского не только богатый материал для размышления, для усвоения себе незабываемых художественных образов, но и нередко новые точки зрения в пределах своей специальности. Разбор значения Достоевского в области каждой из этих специальностей не входит в задачу

настоящей статьи, тем более, что эти стороны творческой деятельности Достоевского в значительной мере уже затронуты и более или менее разработаны в отдельных исследованиях. В настоящих строках хочется взглянуть на произведения Достоевского с точки зрения юридической. «Записки из Мертвого дома», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и «Дневник писателя» дают для этого богатый материал, настолько богатый, что известный французский судебный деятель Атален (Atalin) заключает свои лекции молодым юристам многозначительным советом: «Читайте Достоевского». А председатель парижского апелляционного суда, Бернар Глайо, в своей книге «Les passions criminelles» неоднократно цитирует различные места из «Преступления и наказания».

На первом месте стоит глубочайшее психологическое произведение Достоевского «Преступление и наказание», содержания которого, по верному замечанию д'Аннунцио и Вогюэ, хватило бы на несколько равноценных отдельных романов. В этой трогательной эпопее автор ведет читателя по ступеням всякого рода падений и, заставив его перестрадать их в душе, мирит его в конце концов с падшими, в которых, сквозь преходящую оболочку порочного или преступного человека, сквозят нарисованные с горячей любовью вечные черты несчастного брата.

В этой эпопее вдумчиво и всесторонне изображены главнейшие вопросы, вызываемые карательною деятельностью государства. В ней имеется полная картина внутреннего развития преступления, сложного по замыслу, страшного по выполнению, — от самого зарождения мысли о нем до пролития крови, которым заключился роковой рост этой мысли. Картина написана незабываемыми чертами и в ней *мысль* о преступлении, как зерно, тесно связана с *почвою*, на которую падает. Эта жизненная связь проходит через весь роман и придает ему необыкновенную правдивость. По нему можно проследить как начинает ослабевать и замирать мысль о преступлении и как, получив новый толчок в житейской обстановке, возрождается с еще большей силой и стремительностью.

Задавленный бедностью, оскорбленный и раздраженный неудачами, болезненно чуткий и впечатлительный, студент Раскольников видит, как все более и более сжимается круг теснящей его нужды, за пределами которого выбивается из сил скорбная фигура его любящей матери и почти неизбежный в страдающей душе затерянного в огромном и чуждом городе человека вопрос о праве сытых, спокойных, способных жить только для себя — бесплодно и бездушно, — возникает у него. Случайно услышанный разговор о злобной закладчице, сидящей на сундуках, где бесполезно лежат средства для развития одних, для спасения от гибели других, порождает мысль «о праве этой вши» на существование. Вопроса о том, *как* и *каким образом* выполнить мелькнувшую в сознании необходимость отнять это право, еще нет. Но в долгие дни сумрачной думы больная фантазия начинает рисовать картины практического осуществления, а затем, после посещения ростовщицы, то, что предполагалось, оказывается возможным. Эта возможность отвергается возмущенной душой Раскольникова, но жизнь иногда не знает пощады и против его измученной души и негодующего сердца идут бессознательным, но победоносным походом и кающийся пьяный чиновник, и его дочь проститутка, продавшая себя ради мачехи и чужих детей, и смоченное горькими слезами письмо его матери о том, что любимая сестра вынуждена выйти замуж за «*кажется* доброго человека», и весь ужас безвыходного страдания и ежечасных толчков нищеты. Вчерашняя мрачная мечта, оказавшаяся возможной сегодня утром, к вечеру созревает в необходимость, нужен лишь толчок, пустой, слабый, но имеющий непосредственную связь с задуманным, и внезапная решимость при известии, что настал час, когда закладчица дома одна, ведет Раскольникова «не своими ногами» на убийства, из которых одно обдумано заранее и приведено в исполнение с редкой последовательностью, а другое — неожиданное, роковое, неизбежное. Какое блестящее, дышащее жизненной правдой различие между предумышлением и простою умышленностью деяния найдет в этом эпизоде всякий юрист-практик; а между тем наше Уголовное уложение закрепило эту разницу на своих стра-

ницах позже, чем сделал это в своем романе Достоевский.

Преступное событие требует тщательного и глубокого исследования. Особенно при этом важна оценка доказательств и тех побочных обстоятельств, из которых, как из мозаичной картины, может вырасти убеждение в чьей-либо виновности или неосновательности возникшего подозрения. Этому вопросу посвящает огромное внимание Достоевский, рисуя своего следователя Порфирия и приводя судебные прения по делу Дмитрия Карамазова. Он показывает на примере Сони Мармеладовой, как может вводить в заблуждение нахождение так называемого «поличного», как могут быть недостоверны свидетельские показания и как опасно доверять даже собственному сознанию обвиняемого без проверки его внутренних побуждений, а между тем собственное сознание считалось у нас до введения Судебных уставов, т. е. в то время, когда Достоевский писал свой роман, за лучшее в свете доказательство. Окончательное признание судом виновности влечет для совершителя уголовную кару. Юристы так называемой классической школы, раз навсегда определив в своей терминологии состав и отличительные признаки того или другого преступления, применяли это безразлично к личности виновного, как одежду из магазина готовых платьев. В ряде ценных замечаний и психологических очерков Достоевский показал необходимость индивидуализирования наказаний и предусмотрел в своей вдумчивости наступившее гораздо позже учение о замене понятия о *преступлении* понятием о *преступном состоянии*, элементами которого являются: темперамент, характер, воспитание, экономическое положение, среда, обстановка и т. д.

Двояко осуществляется уголовная кара — внешним и внутренним образом. В первом отношении Достоевский оставил нам непревзойденное дальнейшими авторами описание сибирской каторги. Его «Мертвый дом», в сущности, впервые познакомил широкие круги русского общества с условиями жизни ссыльных в далекой и тогда мало известной Сибири, — жизни, главные черты которой прочно укоренились у нас до последнего времени. Достоевский повел читателя в гробницу живых людей, скученных вместе, но страдающих одиноко и разно, и на вратах ее напи-

сал: «Человек есть существо, ко *всему* привыкающее», показав это *все* без злобы, без иронии и с полной правдивостью. Под его пером встают стены каторжного острога, а в них каторжные порядки, сдавливающие и принижающие людей. Но эти люди у автора не обезличены, — у каждого сохранены и подмечены личные свойства, характеристические черты и общие человеческие чувства, сквозящие сквозь арестантскую одежду. Тут и настоящие мрачно молодечествующие злодеи, бредящие по ночам о крови и о ножах, и простые незлобивые люди, и угрюмые изуверы, и гордо страдающие поляки и детски доверчивые горцы, тоскующие по своему Кавказу... На всех них брошен луч примирения, всем сказано слово истинного участия, и вся жизнь каторжной тюрьмы постепенно развертывается перед нами, и новый чуждый нам мир — печальный извне, оригинальный внутри, любопытный в начале и трогательный в конце, возникает в освещении трезвой правды. Арестантские ссоры и похвальбы, работа и отдых, развлечения и театр, — все, до каторжных животных включительно, встает как живое и заставляет невольно задумываться.

Замечательно, что Достоевского сильно затрагивали и принципиальные вопросы устройства тюремного заключения, в то время когда в Западной Европе торжествовало начало одиночного заключения, применяемого по различным системам, с большим или меньшим исключением всякого людского общения и с применением изысканных мер, чтобы дать почувствовать отверженцу общества его полную отверженность среди могильного молчания, непрерываемого никакими звуками из внешнего, даже очень близкого мира, в котором не слышно ни боя часов, ни шума шагов, ни тем более какого-либо разговора. Нельзя живого человека сделать трупом, высасывая из него сок путем насильственного одиночества, ослабляя и путая его душу и представляя, по прошествии многих лет, как образец исправления и раскаяния, нравственно иссохшего полусумасшедшего человека. Рядом с этим он возражал и против принудительного сообщества людей, чуждых друг другу по своему воспитанию, общественной среде и духовному развитию, доказывая, что у че-

ловека никогда не следует отнимать возможности хоть некоторое время остаться наедине с самим собою, и вспоминая, как при входе в «Мертвый дом» его тяжко устрашила мысль, что «никогда, никогда я не буду один». В обитателях *Мертвого дома* он призывал прежде всего видеть *живую* личность и уважать ее человеческое достоинство, не допуская бессмысленности принудительной работы и ненужных унижений, вызывающих больные вспышки придавленной личности, заявляющей о своих человеческих не отнятых наказанием правах. Нужно ли указывать на поразительное по своей силе изображение *внутреннего* наказания, которое происходит в душе совершителя злого дела, когда в нем просыпается совесть, и под влиянием ее требований пестрая игра мучительных тревог, жадных надежд, отвращения к себе и ужаса перед прошлым постепенно поднимает человека из его падения?

Вглядываясь в жизнь нельзя не подметить в ней троякого вида больных, независимо от болезней и страданий чисто физических. Это — больные волей, рассудком и страждущие духовным голодом... Веское, облеченное в высоко-художественные образы слово сказано Достоевским о каждом из таких больных. Таким больным волей, ищущим забвения в кабаке, является горький пьяница Мармеладов, не могущий оторваться от «зелена-вина», несмотря на все жертвы, принесенные дочерью, и страдания, перенесенные женою, ибо «черта его наступила». Едва ли найдется много научных изображений картины душевных расстройств, самых тонких и сложных, как те, которые рассыпаны по сочинениям Достоевского с особой разработкой чувственных аномалий — галлюцинаций и иллюзий. Стоит припомнить зрительные и слуховые галлюцинации Раскольникова в опустелой квартире ростовщицы чрез несколько дней после ее убийства, или мучительные иллюзии Свидригайлова в холодной комнатке грязного трактира в парке или, наконец, беседу Ивана Карамазова с чортом, в виде джентельмена подозрительной наружности. В этих примерах интуиция художника и великая сила его творчества создали картины, настолько подтверждаемые научным наблюдением, что, конечно, ни

один психиатр не отказался бы их подтвердить. Внимание к болезненным душевным состояниям вызвало в свое время горячий протест Достоевского в «Дневнике писателя», горячее требование пересмотра дела о Корниловой, осужденной за то, что она во время ссоры с мужем выкинула из. окна его маленькую дочь от первого брака. При пересмотре дела доводы Достоевского о возможности совершения поступка Корниловой в состоянии психоза, вызываемого у некоторых беременностью, были поддержаны экспертами-психиатрами, которые помогли поэту скорбных строк человеческой жизни спасти несчастную женщину.

К страждущим духовным голодом следует отнести всех тех, кто не находит ответа на возникающие в душе вечные вопросы, не заглушаемые ни суетою жизни, ни злобой дня, кто ищет наставления и руководства для разъяснения недремлющих тревог и сомнений и кто просит хлеба и получает камень мертвых формул и текстов, практических советов и близорукой иронии.

Таких голодных рисовал Достоевский с особой любовью и знанием, — им старался он проникновенно откликнуться в произведениях последних годов своей жизни и в особенности в «Братьях Карамазовых». Наконец, и по вопросу о самоубийстве, часто связанном с деятельностью юриста, Достоевским сделано много ценных указаний.

Заступник за униженных и оскорбленных, друг падших и слабых, он не мог не стать таковым и по отношению к детям, которым отдал свое сердце, со всеми его звуками и слезами. На страницах его сочинений звучит напоминающий Диккенса призыв к изучению детской души в столкновении ее с горькой правдой жизни и описание страданий и негодований маленького сердца при несправедливости или жестокости.

Для выяснения одного из важнейших и труднейших вопросов тюрьмоведения, — вопроса о применении к детям уголовной кары, — он сделал очень многое. «Дневник писателя» содержит в этом отношении ценные страницы, основанные на личных наблюдениях его в колонии для малолетних преступников.

Главное средство исправления последних он видел не в тюремной дисциплине и даже не в правильно организованном труде. «Эти детские души видели мрачные картины и привыкли к сильным впечатлениям, — писал он, — и это останется при них на веки и будет им сниться всю жизнь в ужасных снах». С этими ужасными впечатлениями надо войти в борьбу исправителям и воспитателям детей, искоренить их и насадить новые. Искоренение развращающих впечатлений, жестокого обращения и неопрятного отношения к невинной и восприимчивой детской душе неминуемо должно входить в деятельность юриста, памятующего заветы великого писателя.

Когда на смену старого суда, в котором, по выражению Хомякова, Россия была «черна неправдой черной», воздвиглось здание нового суда, основания которого были начертаны в Судебных уставах, назначением суда было признано осуществление «правды и милости». И на пороге обновляемого суда стал Достоевский с жадным исканием правды и с горячим призывом к милости . . .

Отношение Достоевского к детям, сострадание к ним и понимание их душевных запросов связаны у меня с личными воспоминаниями о моем посещении вместе с ним колонии для малолетних преступников за Охтой, и о его заступничестве по делу Корниловой и за истязуемую пьяным и развратным отцом девочку. В колонии он быстро овладел вниманием детей и приковал их к своей беседе, имевшей возвышенный и вместе с тем простой, удобопонятный характер. Он умел в этой беседе затронуть сердце детей, уже хлебнувших отравы уличной жизни столичного города. Они проводили его очень тепло, прося приезжать опять, а между тем, он вовсе не подделывался к ним и говорил им «ты». Мне пришлось с ним видеться в министерстве юстиции, когда он хлопотал о помиловании Корниловой, выбросившей из окна свою падчерицу и осужденную в каторжную работу. Подозревая, что она, будучи беременной, совершила это в припадке временного умоисступления, он тщательно собирал данные, подтверждающие его предположения, и делал это, не щадя трудов и времени. Не меньше хлопот предпринял он

вследствие письма к нему госпожи Бергеман, просившей его спасти девочку, которую отец, сидя в кабаке, посылал просить милостыню и истязал, когда принесенного ему казалось мало. Для того, чтобы содействовать ограждению девочки от тяжкой ее обстановки, нужно было произвести целое дознание, и это сделал Достоевский, отыскивая и расспрашивая свидетелей.

Еще о Достоевском.

В заметке об «изучении Достоевского» Д. А. Лутохин [«Вестник литературы» 1922 г. № 1] указывает на необходимость организовать общество изучения Достоевского, сходясь в этом отношении с высказанной о том же и моей мыслью. Действительно, учреждение такого общества представляется не только своевременным, но и необходимым. У нас существуют общества, труды которых посвящены Тургеневу и Некрасову; еще три года назад был возбужден вопрос об организации общества, посвященного памяти Салтыкова-Щедрина, и были приняты меры к первоначальному его устройству, к сожалению не получившему дальнейшего осуществления, тогда как именно по отношению к нашему выдающемуся сатирику существование такого общества представляется особо желательным. Значительная часть произведений Салтыкова и в особенности его сатиры теряют свою бытовую и общественную подкладку, по мере того как сходят со сцены очевидцы и современники тех реальных явлений русской жизни, которые вызвали негодование автора и заставили его поднять свой сатирический бич. Достаточно, например, в этом отношении указать хоть на «Дневник провинциала в Петербурге», комментарии и объяснения к которому может дать лишь тот, кто помнит и живо представляет себе обстоятельства, вызвавшие к жизни эти сатирические очерки, для читателя нынешнего времени во многом непонятные и лишенные того жала, которое Достоевский правильно называл «остроумием глубокого чувства». С неменьшим основанием то же можно сказать про изображение характера судоговорения,

«журнального пенкоснимательства» и кажущихся сказочными фигур градоначальников, из-за которых для сверстников Щедрина нередко сквозят черты и свойства действительно существовавших лиц.

Обращаясь к Достоевскому, приходится встречаться с самыми разнообразными и противоречивыми оценками его личности и творчества, иногда крайне односторонними и нередко бездоказательными, причем сам Достоевский отходит на задний план, а на первый выступает мировоззрение самого критика. Нельзя не признать, что в смысле анализа таланта Достоевского сделано довольно много, хотя отрывочно и больше не «по существу», а «по поводу», но не пора ли попробовать приступить к серьезному синтезу, разработав пред этим некоторые до сих пор не затронутые стороны жизни Достоевского, отразившиеся на его творчестве. Мы знаем о блестящем успехе «Бедных людей» и о первоначальном отношении Белинского к их автору, но почти не имеем сведений о постепенном измельчании проявлений его так ярко блеснувшего таланта, измельчании, давшем основание великому критику называть некоторые из позднейших произведений Достоевского «нервической чепухой». У нас нет серьезного разбора «Униженных и оскорбленных» и в особенности «Села Степанчикова и его обитателей», — нет серьезного исследования причин и условий того душевного переворота, который на место «нервической чепухи» поставил глубокие и знаменательные страницы «Записок из мертвого дома»; у нас нет научно-обоснованного труда о взглядах Достоевского на отличие больной души от одержимой определенной душевной болезнью, на вопросы криминологии и пеналогии и на раскол в его источниках и разветвлениях. Наконец, сколь многое в личной жизни Достоевского, поскольку она отразилась на его творчестве, не разработано по достоверным источникам объективного, а не исключительно субъективного характера. Нужно ли говорить затем, что до сих пор не вполне выяснено промелькнувшее в печати после смерти Достоевского известие, что, находясь на каторге, он был дважды подвергнут телесному наказанию, пагубно отразившемуся на его здоровье и усугубив-

шему его эпилептические припадки. Все это и еще многое другое должно быть предметом занятий общества имени Достоевского.

Думается, что для состава такого общества и руководительства его занятиями нашлись бы силы, как нашлись таковые, несмотря на трудность переживаемого времени, для Тургеневского и Некрасовского обществ. Присоединяясь всецело к заявлению Д. А. Лутохина, хочется в самых общих чертах еще раз вспомнить о писателе, личность и деятельность которого обещают в своем роде неисчерпаемый материал для будущих исследований.

Мы знаем, каким успехом сопровождалось его выступление в литературе, — какие сомнения возбудила его дальнейшая деятельность в Белинском и с каким страданием и на какие страдания пошел он на сибирскую каторгу. Но судьба оберегла его талант от разменана мелкую монету и заставила его пережить муки предстоящей насильственной смерти, как бы сказала ему словами поэта: «Иные ждут тебя страданья, других восторгов глубина». Он вернулся из каторги и военной службы, мрачной по своей обстановке и условиям, — не озлобленным на судьбу и людей, в которых, при всей глубине их падения, умел подметить «искру божию», — не убитым для жизни, но понявшим ее тайный смысл и значение, — не возгордившимся, как это было у некоторых, переживших гораздо меньше испытаний, но примиренным и просветленным. С тех пор трогательные ноты «Бедных людей» обращаются у него в глубокий по силе аккорд, и сострадание к людям звучит в его произведениях как доминанта. Он является в них как бы последователем и применителем к жизни великих заветов Канта и Шопенгауера. Первый из них, выставляя как основу человеческих действий повелительное требование совести (категорический императив), требует уважения к человеческому достоинству и необращения своего ближнего в орудие для достижения каких-либо целей. Он вещает людям: будьте справедливы (seid gerecht)! Второй, отдавая должное справедливости, но находя, что жизнь исполнена горестных сторон и разочарований, признает необходимым глубокое сострадание к страждущим и несчастным и говорит:

будьте не только справедливы, но и сострадательны (seid barmherzig)! Но разве не те же заветы звучат со всех страниц произведений Достоевского? Разве не о них говорят самые заглавия последних: «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Мертвый дом», «Честный вор», «Идиот» и т. д.?

«Записки из Мертвого дома» без сомнения есть лучшее произведение о тюрьме и о создаваемых ею личных и бытовых условиях. Прославленные «Мои темницы» Сильвио Пелико переполнены ощущениями и впечатлениями автора и знакомят нас с душевными переживаниями трогательного узника, говорящего почти постоянно о самом себе, тогда как Достоевский все свое внимание обращает на окружающих и лично о себе говорит чрезвычайно мало. Его гораздо больше интересуют страдания и переживания товарищей по заключению, в которых он умеет видеть, хотя и надломленных, но не обезличенных людей, о которых он говорит правду, без преувеличений и умолчаний. Благодаря ему перед читателем возникает не серая масса, над которою бездушно проделываются карательные предписания закона, а живой организм со всем разнообразием своего внутреннего состава. Тут и настоящие мрачно молодечествующие злодеи, бредящие по ночам о крови и ножах, и незлобивые простые люди, и угрюмые изуверы, и гордо страждущие поляки, и детски-доверчивые горцы, тоскующие по своим родным вершинам, и все они согреты любовью, облечены в плоть и кровь, на всех брошен луч примирения, обо всех сказано слово искреннейшего христианского участия. Жизнь каторжной тюрьмы развертывается широко, и неведомый большинству мир, ужасный извне, самобытный внутри, любопытный в начале и трогательный в конце возникает у автора в освещении трезвой правды. Арестантские ссоры и похвальбы, работы и отдых, арестантская поэзия и театр, — все до каторжных животных включительно проходит перед читателем. Но не в одном этом достоинство «Мертвого дома». За много лет до робких, сначала научных протестов против модного в то время одиночного заключения, осуществляемого среди безусловной тишины каменных могил Моабита

и Брухзаля, автор «Мертвого дома» указал, что эта система «высасывает сок из человека, нервирует, ослабляет и пугает его душу и нравственно-иссохшую мумию с омраченным рассудком представляет как образец исправления и раскаяния». С глубокой вдумчивостью находит он, что тюрьма не должна отнимать у человека возможности временного уединения, что она не имеет права разлагать его физически и нравственно, навязывая ему одиночество или бессмысленность и бесплодность принудительной работы, столь любимой, к слову сказать, в некоторых тюрьмах Англии.

С проповедью, звучащей со страниц «Мертвого дома», Достоевский вернулся на тяжелую личную жизнь в Петербурге. Его встретили и окружили бедность, нужда и тяжелые материальные испытания брата и семьи последнего. Пришлось работать, не покладая рук, и автор одного из величайших романов новой литературы «Преступление и наказание», создавая его, пишет: «Работа из-за денег задавила и съела меня... Эх, хоть бы один роман написать, как Тургенев и Толстой, — не наскоро и не наспех...» К этому присоединилась болезнь, особенно развитая Сибирью и отнимавшая у него после припадков на время память об уже написанном и о плане творимой работы. Присоединилась еще и холодность в отношении к нему редакций выдающихся журналов и высокомерие редактора того, который охотнее других давал ему у себя приют.

Наш печальный обычай, против которого так горячо восставал Герцен, неразборчиво и поспешно навязывать клички и прилеплять ярлыки всем, чья самостоятельная мысль не подходит хотя бы к одному из многих пунктов партийного инвентаря и вытекающих из него «директив», сказался особенно чувствительно на Достоевском; он твердо держался своих убеждений и взглядов, выработанных в нем опытом жизни, и не обладал тем, что в старину характеризовалось «перегибательностью духа». В нем жила по отношению к общественным настроениям и течениям своего рода пророческая мысль, рисовавшая ему их отдаленный исход и не позволявшая отступать и уступать; отсюда отсутствие у него лести модным веяниям и сожаление

к бессознательным молодым орудиям «самодовольных болтунов— охотников до споров модных», как называл их Некрасов. Достоевский как бы повторял слова старого цыгана, обращенные к Алеко: «Ты для себя лишь хочешь воли». Вообще критика долгое время относилась к нему не только с односторонним непониманием, но и с прямым недружелюбием, хотя его все-таки нельзя было «замолчать», как например Лескова. Когда вышло «Преступление и наказание», то появились намеки на то, что изображение студента, убивающего закладчицу в силу своеобразной теории о вредном существовании этой «вши» есть клевета на молодое поколение. В этом отношении Достоевскому пришлось разделить участь Тургенева, которого называли за «Отцов и детей» таким же клеветником, не понимая значения Базарова и отношения к нему автора. Процессы студента Данилова в Москве, убившего ростовщицу, и молодого офицера Ландсберга, лишившего в Петербурге жизни обладателя его векселей, блистательно опровергли эти наветы. Более серьезными и не лишенными внешнего основания были указания на то, что у Достоевского «жестокий талант», так как он заставляет при чтении страдать, описывая многоразличные житейские трагедии, нравственные падения и безысходные скорби своих действующих лиц с чрезвычайной подробностью и настойчивостью, как бы наслаждаясь мучительным чувством, развиваемым в душе читателя. Но эта характеристика таланта не правильна. Верный себе, Достоевский бестрепетно пошел на изображение той цепи горя и несчастий, из которых слагается в значительной степени человеческая жизнь, и не остановился перед правдивым описанием падений человека в борьбе с ними и со своей животной природой. Он не смотрел, однако, на эти стороны жизни с холодным вниманием созерцателя или со спокойной любознательностью исследователя, подходящего к печальному явлению с микроскопом или, как это у нас делается в последнее время, с увеличительным стеклом. Он умел разделять чувства страждущих, ужас впадающих в отчаяние и отвращение к себе падающих нравственно, но он жалел их, он «сострадал» и рисовал пути и проявления совести в своих героях, обращаясь и к со-

вести читателя, которому как бы говорил: «Дай руку и пойдем по всем ступеням скорби и несчастия современного человека и ты его пожалеешь». Некрасов, обращаясь к читателю, советует: «Иди к обиженным, — иди к униженным и будь им друг!» Это и делал Достоевский, тревожа и волнуя совесть своего спутника. С этой точки зрения только и можно было бы назвать его талант «жестоким», ибо когда же не бывает жестока совесть, этот «когтистый зверь, скребущий сердце, нежданный гость, докучный собеседник, заимодавец грубый?» [1]

Талант или, вернее, творчество Достоевского должно быть названо «смелым», ибо он не останавливался перед тем, что ему внушала его собственная искренность и говорила житейская правда, и доходил в этом отношении до крайних пределов, всегда, однако, останавливаясь у черты, за которой начинается прославившая некоторых из современных писателей порнография.

Стоит посмотреть в этом смысле на его отношение к религии. Сам глубоко-верующий, хотя и не церковник, — признававший в своих отзывах о самоубийстве необходимость веры в будущую жизнь, без которой нельзя и не стоит жить, — Достоевский представил в Алеше Карамазове и в старце Зосиме образ твердой, убежденной и восторженной веры, ничем не поколебимой и освещающей наше бытие внутренним смыслом и светом. Но тут же в противовес Алеше он изобразил в Иване Карамазове всю глубину сомнений, разрушающих веру в самом корне и заставляющих «почтительнейше возвратить назад свой входной билет» в предполагаемую загробную область гармонии и всепрощения. И посредине между этими двумя крайностями в лице великого инквизитора он поставил воинствующую церковь, заменившую свободный союз свободно-верующих людей и устремившую свои силы господства и жестокости на исправление дела Христа снабжением людей авторитетом и тайной. Едва ли в этом отношении во всей литературе найдутся более сильные страницы, чем изображающие беседу великого инквизитора с заключенным по его приказанию в темницу Христом.

---

[1] Пушкин, «Скупой рыцарь».

Если Толстой может быть признан по своим произведениям «нравственным судьей», — Тургенев «искусным ювелиром», блестяще обрамляющим духовную и физическую красоту жизни, — Гончаров, Писемский и Чехов вдумчивыми созерцателями и наблюдателями, — то Достоевского надо прежде всего признать глубоким психологом и нередко психопатологом, умеющим как никто буравить в душе читателя свой артезианский колодезь до последней глубины, до воды, т. е. до слез. Этот анализ с особой силой сказался в разборе возникновения колебаний, постепенного роста и осуществления преступной мысли, родившейся в уме Раскольникова и перешедшей в дело — как это всегда бывает—от внезапного толчка, повелительно указывающего на возможность перейти к последнему. Душевные переживания Раскольникова в связи с глубоко-обдуманными приемами судебного следователя Порфирия Петровича изображены Достоевским с такой поучительной реальностью, что Бернар де Глайо в своей книге «Les passions criminelles» и известный французский криминалист-практик Атален постоянно ссылаются на них, а последний даже заключает свои лекции словами: «Surtout, messieurs, — lisez Dostoyevski!» (в особенности, господа, читайте Достоевского).

Нужно ли говорить о его любящем или, выражаясь его словами, «проникновенном» отношении к детям, о понимании им детской души и о его требовании охранять ее от кажущихся мимолетными, но оставляющих глубокий след вредных впечатлений, — или говорить о проявлениях его «деятельного» участия к судьбе поставленных в тяжкие условия детей или неправильно осужденной женщины, — участия, требовавшего хлопот, просьб и потери времени для больного и нуждающегося писателя! Об этом подробно сказано в моей маленькой книжке «Некрасов и Достоевский», изданной по поводу столетия рождения обоих писателей.

И когда думаешь о том, что Достоевского уже нет с нами, невольно приходят на память обращенные к нему стихи Андреевского: «Кто повторит слова любви несчастным, падшим, маловерным, кто им в пылу нелицемерном подымет взоры от земли?»!

Памяти П. Д. Боборыкина.

В лице только-что скончавшегося П. Д. Боборыкина исчезла видная фигура, вносившая оживление во всякую среду, в которой она вращалась; исчез европеец не только по манерам, привычкам, образованности и близкому знакомству с заграничной жизнью, на которую он смотрел без рабского перед нею восхищения, но европеец в лучшем смысле слова, служивший всю жизнь высшим идеалам общечеловеческой культуры, без национальной, племенной и религиозной исключительности.

Король Лир называет себя «королем от головы до ног». Боборыкин мог бы с полным правом сказать про себя, что он «литератор с головы до ног» — от молодых ногтей до последних лет жизни, когда к его имени неизменно стал присоединяться эпитет «маститый». На могиле его в Ментоне, вдали от родины, которую он знал и любил, следует написать одно слово — «Литератор», так как он был у нас один из немногих писателей, который, несмотря на житейские испытания, умел отвоевать себе полную независимость от всякого служебного заработка. Пред ним — чрезвычайно одаренным лингвистом, с широкими естественно-научными и медицинскими знаниями, с богатым знакомством с движением человеческой мысли в различных областях, с отзывчивостью на правовые и общественные вопросы — могли быть открыты разнообразные пути живой и выдающейся деятельности. Но он пошел туда, «куда звал голос сокровенный», избрав бесповоротно и неуклонно тернистую стезю служения родной литературе. Отважно принятое им на себя в свои молодые годы издательство и редакторство «Библиотеки для чтения», подорвало то материальное обеспечение, с которым он вступил в жизнь. В 60-х годах этот журнал, после ловкого редакторства Сенковского, которого безуспешно заменили Дружинин и Писемский, был совершенно заслонен «Отечественными Записками»

и «Современником» и стал неудержимо падать, разорив Боборыкина и обременив его на многие годы крупными долгами, требовавшими от него особого напряжения трудовой силы. И, все-таки, он остался верен литературе, — ей одной. Отсюда, в значительной степени его особенная писательская плодовитость, вызывавшая иногда иронические отзывы хозяев периодических изданий («Опять набоборыкал роман», ворчал по его адресу Салтыков), что не мешало им нередко спешить купить его новое произведение, так сказать, «на корню». Однако, то, что в творчестве своем он не мог свободно располагать своим временем и смотреть на него, обеспечив себя другими постоянными занятиями, лишь как на отхожий промысел, не отражалось на свойствах его таланта.

До конца жизни П. Д. стоял на своем посту наблюдателя и изобразителя сменявшихся общественных настроений, что требовало особой зоркости и не допускало промедления, так как надо было закрепить не то, что *было*, а что *есть*, не прошлое, а живую действительность настоящего. К этому настоящему он никогда не относился со спокойным созерцанием, без волнения и в некоторых случаях — справедливой тревоги. Это так соответствовало не только его темпераменту, выражавшемуся в быстрых движениях, восклицаниях, горячих спорах, но и в том, что его беседа, когда дело касалось его искренних убеждений или годами сложившихся мнений, отличалась, если можно так выразиться, особенною *взрывчатостью*. Вдумчивая отзывчивость на злобу дня и ее отражение в жизни требуют большой наблюдательности. И этим качеством Боборыкин обладал в высшей степени. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и «повадка» представителей тех или других общественных слоев или кружков, внешний уклад жизни русских людей у себя и за границей изображены им с замечательной точностью и подробностями.

Будущий историк русской жизни, который захочет, подобно Гонкуру или Тэну в их описаниях старого французского общества, исследовать внешние проявления этой жизни, неминуемо

должен будет обратиться к романам Боборыкина и в них почерпнуть необходимые и достоверные краски и бытовые черты. Торопливая плодовитость Боборыкина, несмотря на указанные мною ценные качества, несколько отражалась на существе его произведений, которые в будущем заинтересуют более историка быта и настроений, чем историка литературы. Спеша уловить общественное явление или настроение и изобразить его в мельчайших подробностях, П. Д. поневоле отступал от завета известного художника Федотова, который говорил: «В деле искусства надо дать себе *настояться*, художник-наблюдатель то же, что бутыль с наливкой: вино есть, ягоды есть, нужно только уметь разливать во-время». Покойный не имел времени давать себе настаиваться. Отсюда — тонкий анализ подробностей без синтеза целого и, как последствие этого, отсутствие ярких, цельных, остающихся в памяти образов, обращающихся в нарицательные имена, в роде Базарова, Обломова и т. п. Желание закрепить на своих страницах тот или другой характерный для своего времени тип увлекало Боборыкина из области творчества в слишком реальное и откровенное фотографирование, что создавало ему подчас больших недоброжелателей. А его любовь создавать новые словечки вызывала плоские насмешки, на которые, особенно в первое время его деятельности, была щедра наша газетная критика, умышленно забывавшая о положительных достоинствах его произведений. Отсутствие ярких образов искупается у Боборыкина блестящим и дышащим правдой изображением не отдельных лиц, а целых организмов, коллективные стороны которых оставляют целостное впечатление. Таков, например, его большой и лучший по моему мнению роман — «Китай-город». В этом отношении он очень напоминает Золя с его «Au bonheur des dames» и «Débâcle», хотя оба эти романа появились, если я не ошибаюсь, позже «Китай-города». Нужно ли говорить о том благородстве мысли и о той твердой вере в задачи культуры и морали, которыми проникнуты произведения Боборыкина? Позитивист по миросозерцанию и либерал-шестидесятник по убеждениям, он последовательно оставался предан этому до гробовой своей доски, бодро неся свои

*

преклонные годы и не проявляя никаких признаков моральной старости и безразличия к происходящему на мировой арене. И к людям он относился с сердечной добротой, не удовлетворяясь в личных сношениях простым знакомством, а стремясь сблизиться с теми, которых он уважал, почти до степени доверчивой дружбы. В этом отношении его постигали не малые разочарования, но он никогда не порицал виновников таковых, а, выражаясь канцелярскими языком, «оставлял их без рассмотрения».

Когда наступит время для подробной биографии Боборыкина, конечно, придется коснуться и его фельетонов, в которых он высказывался уже лично от себя. В них найдется много ценных замечаний и глубоких соображений по вопросам научным и философским, причем он высказывался со смелой прямотою. Достаточно в этом отношении указать хотя бы на его фельетон «Новая группа людей», помещенный когда-то в «Новостях», в котором он, вооруженный большими знаниями по психопатологии, указывал на вредные последствия выдвигавшегося в то время псевдо-научного понятия о психопатии, как основании для невменяемости, и пагубное влияние слушания таких дел при открытых дверях суда на нервных юношей и истерически настроенных обычных посетительниц судебных заседаний. Эти его мысли совпали впоследствии со взглядом законодательства на необходимость предоставить суду право и возможность закрыть доступ в публичные заседания праздному и болезненно-восприимчивому любопытству.

Боборыкину часто приходилось прибегать к приемам так называемого натурализма, но и тут он не может заслужить упрека в преступлении границы между правдивым реализмом и порнографией. Сходя в могилу и оглядываясь на богатое литературное наследие, оставленное им, он не мог бы в этом отношении упрекнуть себя ни за одну страницу. Он часто изображал страсти в их последовательном развитии, но у него нельзя найти столь излюбленного у нас в последнее время изображения пороков.

Да будет легка земля этому доброму человеку, ревностно послужившему своей родине во всю меру своих сил и способностей.

ПРИМЕЧАНИЯ

Николай Алексеевич Некрасов [стр. 3 — 22]. Впервые опубликовано в издании «А. Ф. Кони. 1821 — 1921. Некрасов. Достоевский. По личным воспоминаниям». Петербург. Кооперативное издательство литераторов и ученых. 1921.

Брошюре, текст которой перепечатывается с поправками А. Ф. Кони, сохранившимися в авторском ее экземпляре, предпосланы были в 1921 г. следующие строки: «Сочинения выдающихся писателей представляют обыкновенно ценный материал для суждения о их литературных вкусах, о взгляде их на задачи искусства и о их нравственных и общественных идеалах. Нередко в их измененной внешним образом форме содержатся автобиографические данные, которыми, однако, следует пользоваться с большой осторожностью, ввиду возможности создания себе далекого от действительности представления о личности писателя. В этом последнем отношении хорошим материалом могут служить личные воспоминания, рисующие писателя, так сказать, «живьем», причем иногда какая-нибудь даже мелкая подробность из житейских встреч с ним изображает его более ярко, чем длинные рассуждения о нем, почерпнутые из его сочинений. На моем долгом жизненном пути судьба послала мне личное знакомство с Некрасовым и Достоевским, Львом Толстым и Майковым, Тургеневым и Гончаровым, Писемским, Соловьевым, Апухтиным, Кавелиным и др. Воспоминаниям о двух из них посвящается настоящая книжка, в виду того, что в настоящем году исполнилось и исполняется 100 лет со дня рождения Некрасова и Достоевского».

В основу очерка «Н. А. Некрасов» положен был материал, включавшийся прежде А. Ф. Кони в третью главу отдела «Из воспоминаний» второго тома «На жизненном пути» (1-е изд., СПБ., 1912; 4-е изд., М., 1916). Этот материал, заново в 1921 г. проредактированный, дополнен был общей вводной характеристикой Н. А. Некрасова *[стр. 3 — 5]*, воспоминаниями о Фекле Анисимовне Викторовой («Зине»), последней подруге поэта *[стр. 12]*, заметками о К. Д. Кавелине *[стр. 17 — 18]* и о стихах М. Н. Муравьеву-Виленскому *[стр. 15]*.

«Петербургские углы» Н. А. Некрасова, о которых А. Ф. Кони упоминает на *стр. 4*, появились впервые в сборнике «Физиология Петербурга», СПБ, 1845 г., стр. 253 — 303, но, как свидетельствуют найденные нами журналы заседаний С.-Петербургского цензурного комитета (ныне хранятся в историко-культурной секции Ленинградского исторического архива), начальный текст первой большой художественной вещи Некрасова подвергся запрещению еще 4 апреля 1844 г.: по предложению цензора А. И. Фрейганга, к «Петербургским углам» применена была статья 3-я параграфа 3-го «Устава о цензуре», каравшая за «оскорбление добрых нравов и благопристойности».

Письмо Н. А. Некрасова к Ф. А. Кони, цитируемое на *стр. 4—5* воспоминаний, полностью напечатано в книге В. Евгеньева «Н. А. Некрасов», П., 1914, стр. 48. Прочие письма Н. А. Некрасова к Ф. А. Кони опубликованы в этом же издании, стр. 104 и 118 — 119 и в «Некрасовском сборнике», П., 1918, стр. 42 — 44.

Записка Н. А. Некрасова к А. Ф. Кони от 7. IV.1874 г., частично воспроизведенная выше на *стр. 12 — 13*, как свидетельствует снимок с автографа, приложенный к изданию 1921 г., должна читаться следующим образом:

«Многоуважаемый Анатолий Федорович. Разрешите пожалуйста должны ли мы напечатать прилагаемое объявление судьи Загибалова? И может ли вытти что-либо неприятное для редактора (в случае, если б мир[овой] судья, не видя объявления напечатанным, принес жалобу) или нет?

Я думаю нет, но для успокоения Андрея Краевского нужно ваше мнение. * Впрочем, и напечатать эти несколько строк не беда. Но только ответ ваш необходим сегодня; оставьте дома — я пришлю за ним. [Зачеркнуто: «доставьте его Салтыкову».] Очень обяжете. Книга моя давно для вас была приготовлена. Искр[енно] пред[анный] вам Н. Некрасов.

* Надо заметить, что судья этот, должно быть, скотина старых приказных времен, ибо наполнил свою заметку кляузами и бранью, которые я откинул. 7-го Апреля».

Взволновавшее Н. А. Некрасова дело об игорном доме Колемина *[стр. 13 — 14]* началось 15. III. 1874 г.; более подробно, чем в настоящем этюде, оно охарактеризовано было в специальном очерке А. Ф. Кони «Игорный дом Колемина» («На жизненном пути», т. I, СПБ, 1912, стр. 64—72) и в его же обвинительной речи 30.IV.1874 г. «По делу об игорном доме штабс-ротмистра Колемина» («Судебные речи», изд. 3-е, СПБ, 1897, стр. 434 — 444).

Федор Михайлович Достоевский [стр. 23 — 41]. Впервые опубликовано в брошюре: «А. Ф. Кони. 1821 — 1921. Некрасов, Достоевский. По личным воспоминаниям». Петербург. Кооперативное издательство литераторов и ученых. 1921. О предисловии к этому изданию см. *стр. 343*.

В основу очерка «Ф. М. Достоевский» положен был А. Ф. Кони материал, включавшийся прежде во вторую главу отдела «Из воспоминаний» второго тома «На жизненном пути» (1-е изд., СПБ, 1912; 4-е изд., М., 1916). Этот материал, заново проредактированный, был дополнен автором общей вводной характеристикой Ф. М. Достоевского *[стр. 23 — 25]*, воспоминаниями о выступлении последнего на Пушкинских торжествах 1880 г. в Москве *[стр. 34 — 36]*, печатавшимися прежде в главе о Тургеневе, заметкой о близости «делу Корниловой» одного эпизода в «Воскресении» Толстого *[стр. 29]*, данными о Достоевском как психопатологе *[стр. 29]* и двумя заключительными сентенциями на *стр. 41*. Материал очерка «Ф. М. Достоевский» был частью перепечатан, частью дан в более кратком изложении в двух юбилейных этюдах А. Ф. Кони — «Встречи с Ф. М. Достоевским» («Вестник Литературы», 1921, № 2, стр. 6 — 8. Ср. № 3, стр. 9) и «Памяти Достоевского» («Артельное Дело», 1922, № 1 — 4, стр. 2 — 3; перепечатано «На жизненном пути», т. IV, стр. 258 — 262); две другие юбилейные заметки А. Ф. Кони о Достоевском см. на *стр. 321 — 329* настоящего издания.

Рассказ А. Ф. Кони о приеме Белинским «Бедных людей» *[стр. 23]* восходит к воспоминаниям об этом эпизоде самого Ф. М. Достоевского: «Новый Гоголь явился», закричал Некрасов, входя к нему с «Бедными людьми». «У вас Гоголи-то, как грибы растут», строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, то Белинский встретил его «просто в волнении»: «Приведите, приведите его скорее». («Дневник Писателя», 1877 г., январь, глава II, стр. 22.)

«Тягостные условия», в которых приходилось работать Достоевскому по возвращении из ссылки, восстановлены в очерке А. Ф. Кони *[стр. 24—25]* путем вольной художественной передачи двух писем Достоевского: «О, друг мой,— признавался автор «Записок из мертвого дома» 14. IV. 1865 г. А. Е. Врангелю, — я охотно бы пошел опять в каторгу на столько же лет чтоб только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным. Теперь опять начну писать роман из-под палки, т. е. из нужды, наскоро. Он выйдет эффектен, но того ли мне надобно! Работа из нужды, из-за денег задавила и съела меня». К этим строкам привлечен материал более раннего письма Ф. М. к брату Михаилу Михайловичу от 9.V.1859 г.: «У меня в виду большой роман, листов в 25, мне чрезвычайно бы желалось начать немедленно писать его (и только его), но . . . во 1-х, чтобы сесть мне за роман и написать его [нужно] $1^1/_2$ года сроку. Во 2-х, чтобы писать его $1^1/_2$ года — нужно быть в это время обеспеченным; а я ничего ровно не имею. В 3-х, ты пишешь мне беспрерывно такие известия, что Гончаров, например, взял 7 000 за свой роман, а Тургеневу за его «Дворянское гнездо» сам Катков давал 4 000 рублей, т. е. по 400 руб. с листа. Друг мой, я очень хорошо знаю, что я пишу хуже Тургенева, но ведь не слишком же хуже и, наконец, я надеюсь написать совсем не хуже. За что же я то, с моими нуждами, беру только 100 руб., а Тургенев, у которого 2 000 душ, по 400. От бедности я принужден торопиться и писать для денег, следовательно непременно портить . . .» («Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, СПБ, 1883, стр. 282 перв. пагин. и 120 втор. пагин.)

В цитате на *стр. 25* из монолога барона в «Скупом рыцаре» нами исправлена явная описка А. Ф. Кони, печатавшего вместо «заимодавец *грубый*», как в пушкинском подлиннике, «заимодавец *лютый*». Эта же описка исправлена на *стр. 328* настоящего издания.

Материал об уголовных процессах 60 — 70-х гг., «подтвердивших, — как отмечено на *стр 27*,—действительными событиями жизни творческий вымысел» автора «Преступления и наказания», см. в статье В. С. Дороватовской-Любимовой в «Печати и Революции» 1928 г., кн. III, стр. 41 — 43 (Дело студента Московского университета Алексея Данилова, убившего в 1866 г. ростовщика Попова) и в книгах А. Ф. Кони «На жизненном пути», т. I, СПБ, 1912, стр. 260 — 278, и В. М. Дорошевича «Сахалин», М., 1903, ч. II, стр. 77 — 87 (Дело прапорщика лейб-гвардии саперного батальона Карла Ландсберга, зарезавшего в Петербурге в 1879 г. ростовщика Власова и его служанку).

Редакционный промах Ф. М. Достоевского, о котором рассказывает А. Ф. Кони на *стр. 27 — 28* своего очерка, в официальном отношении председателя СПБ Цензурного Комитета от 7.II.1873 г., за № 111, на имя прокурора СПБ Окружного Суда, охарактеризован был следующим образом:

«В № 5, от 29 января 1873 года, журнала «Гражданин», выходящего без предварительной цензуры в СПБ-ге под редакциею отставного подпоручика Федора Достоевского, на стр. 153 и 154 помещена статья под заглавием: «Киргизские депутаты в С.-Петербурге». В статье этой, описывающей представление киргизских депутатов государю императору, между прочим, приведены слова, обращенные его императорским величеством к одному из депутатов, и начало речи последнего.

«На основании п. 1, высочайшего повеления от 28 апреля 1870 г. (примеч. к ст. 9, т. XIV Уст. Ценз. по продолж. 1871 г.), статьи и сочинения, оригинальные и переводные, в коих описываются личные действия или излагаются изустные выражения государя императора и особ

императорской фамилии или же приводятся обращенные к ним речи, могут быть печатаемы не иначе, как с разрешения министра имп. двора; к случаям нарушения сего постановления (п. 3 того же высочайшего повеления) должна быть применяема ст. 1024 Улож. о наказ. изд. 1866 г.

«Так как по словесному отзыву редакции на обращенное к ней требование канцелярии Комитета, поименованная выше статья «Киргизские депутаты» напечатана без разрешения г. министра двора, то СПБ Цензурный Комитет, препровождая при сем № 5 журнала «Гражданин», имеет честь обратиться к в. в-дию с покорнейшей просьбой о возбуждении судебного преследования, на основ. 1024 ст. гражд. улож. о наказ. изд. 1866 г. против редакции журнала «Гражданин», в лице редактора отставного [под]поручика Федора Михайловича Достоевского. Помещение редакции журнала «Гражданин» находится на Невском проспекте, № 77. Прилагаемый номер журнала Комитет просит возвратить по миновании надобности, а также не оставить уведомлением об исходе настоящего дела» (Ю. Г. Оксман. «Ф. М. Достоевский в редакции «Гражданина», Сборн. «Творчество Достоевского», Од., 1921, стр. 70 — 71).

Дальнейший ход этого дела освещен в воспоминаниях А. Г. Достоевской: «По условиям тогдашней цензуры, речи членов императорского дома, а тем более слова государя, могли быть напечатаны лишь с разрешения министра императорского двора. Муж не знал этого пункта закона. Его привлекли к суду без участия присяжных. Суд состоялся 11 июня 1873 г. в СПБ окружном суде. Федор Михайлович явился лично на судоговорение, конечно, признал свою виновность и был приговорен к 25 руб. штрафа и к двум суткам ареста на гауптвахте. Неизвестность, когда придется ему отсиживать назначенное ему наказание, очень беспокоила мужа, главным образом потому, что мешала ему ездить к нам в Руссу. По поводу своего ареста Федору Михайловичу пришлось познакомиться с тогдашним председателем СПБ окружного суда, А. Ф. Кони, который сделал все возможное, чтобы арест мужа произошел в наиболее удобное для него время. С этой поры между А. Ф. Кони и моим мужем начались самые дружеские отношения, продолжавшиеся до кончины» («Воспоминания А. Г. Достоевской» под редакцией Л. П. Гроссмана, М., 1925, стр. 180 — 181).

Письменное обращение Ф. М. Достоевского к А. Ф. Кони, не включенное в текст воспоминаний *[стр. 28]*, но приложенное, как автограф, к последнему изданию их (неполная копия этого письма появилась впервые в «Вестнике Литературы», 1921, № 2, стр. 6 — 8), гласило следующее:

«Милостивый государь Анатолий Федорович,

Позвольте мне от души поблагодарить вас, во первых за отмену распоряжения о моем аресте, а во вторых, за лестное для меня слово, написанное вами обо мне в письме к многоуважаемой и добрейшей г-же Куликовой, с которою этот случай дал мне большое удовольствие ближе познакомиться.

Но вам надо точнее знать о том, когда я буду в состоянии исполнить требуемое. В настоящее время я, кроме всего, езжу каждодневно лечиться сжатым воздухом, но полагаю, что к марту может быть и кончу лечение. А потому, если не станет это в разрез с вашими соображениями, я, кажется, совершенно (и во всяком случае), буду готов исполнить приговор *в самых первых числах марта.*

Впрочем, если по каким нибудь соображениям, надо будет и ранее — то я, без сомнения, всегда *готов.*

И того слишком довольно, что я теперь на эти несколько дней избавлен вашими стараниями, за что еще раз позвольте отблагодарить вас.

Примите уверение моего искреннего и глубокого уважения

Ваш покорный слуга Федор Достоевский».

Для отбытия наложенного на него взыскания Ф. М. Достоевский, как свидетельствуют воспоминания Анны Григорьевны (op. cit., стр. 184), явился на гауптвахту у Сенной 21 марта 1874 года.

Процессу Екатерины Корниловой, о котором упоминает А. Ф. Кони на *стр. 28 — 30*, посвящены страницы «Дневника писателя» за октябрь и декабрь 1876 г.; на оправдание подсудимой при пересмотре дела Ф. М. Достоевский откликнулся в апрельском номере «Дневника» за 1877 г.

Иван Федорович Горбунов. Очерк. [Стр. 42 — 158.] Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1898 г., кн. XI, стр. 5 — 63 и кн. XII, стр. 437 — 481; перепечатано в «Сочинениях И. Ф. Горбунова. Под редакцией и с предисловием А. Ф. Кони», т. I, СПБ, изд. А. Ф. Маркса (1-е изд. 1901 г., 2-е изд. 1902 г., 3-е изд. — приложение к журналу «Нива» на 1904 г.), в «Очерках и воспоминаниях» А. Ф. Кони, СПБ, 1906, и в «Сочинениях И. Ф. Горбунова», изд. Комиссии при Обществе любителей древней письменности, т. III, СПБ, 1907, стр. 190 — 273. В последнем издании автором исправлена прежняя неточная ссылка на приспособленные И. Ф. Горбуновым для пения стихи Аполлона Григорьева (Ср. «Стихотворения А. Григорьева», под ред. А. Блока, М., 1916, стр. 560 — 562 и материал «Ежемесяч. литератур. приложений к «Ниве», 1902 г. кн., VIII, стр. 606) и восстановлена точная дата статьи: «3 июля 1898 г. Дубельн».

«Я кончил, наконец, «Горбунова», — писал А. Ф. Кони 12.VII.1898 г. М. М. Стасюлевичу, — и прошу вас дать мне в В[естнике] Е[вропы] место в октябрьской или ноябрьской книге. По моим соображениям статья, которая, кажется, вышла удачною, должна занять четыре листа печатных. Конечно, очень бы хотелось, чтобы она *вся* вошла в одну книжку, не разбиваясь: впечатление было бы сильнее. Поэтому, если только возможно, доставьте мне это удовольствие. По обычаю и по немощи моей статья написана, как часть Гааза и весь Ровинский — карандашом с разными вставками. Поэтому мне *необходимо* очень внимательно прочесть авторскую корректуру» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. IV, стр. 466). Еще до выхода в свет статья «И. Ф. Горбунов», по просьбе автора, прочитана была в гранках А. А. Тихоновым-Луговым, интересные замечания которого сохранились в бумагах А. Ф. Кони и опубликованы были впоследствии им самим (см. *стр. 300 — 302* настоящего издания). Существенным дополнением к работе А. Ф. Кони об И. Ф. Горбунове являются статьи и материалы, опубликованные в «Сочинениях И. Ф. Горбунова», изд. «Общества любителей древней письменности», т. III, ч. 1 — 4, СПБ, 1907 г. и ч. 5, СПБ, 1910 г. В издание это введены были дневник и часть переписки И. Ф. Горбунова; в первом любопытны многочисленные упоминания о встречах И. Ф. Горбунова с А. Ф. Кони в 1878, 1881, 1887, 1889, 1891 — 1894 гг., во второй — семь писем А. Ф. Кони к И. Ф. Горбунову за время с 1883 по 1892 г.

Текст стилизованной И. Ф. Горбуновым в 1878 г. грамоты на имя А. Ф. Кони (*стр. 125 — 127* настоящего издания) внесен был 30.XI. 1880 г., в несколько иной редакции, в известный альбом М. И. Семевского «Знакомые»; в этом же альбоме сохранилась цитируемая в работе А. Ф. Кони *[стр. 132]* жалоба «на Федьку Алексеева, на Бурдина» и стили-

зованный 18.III.1884 г. в тех же формах XVII ст. ответ на первую грамоту «приказа разбойных и татебных дел болярина Анатолия» («Знакомые», Альбом М. И. Семевского, СПБ, 1888 г., стр. 52 и 144 — 145).

Письмо И. Ф. Горбунова «к известной петербургской артистке», выдержки из которого цитирует А. Ф. Кони на *стр. 155*, адресовано было М. Г. Савиной и, как свидетельствует последнее издание сочинений Горбунова, относилось к 27.V.1881 г. Фамилии и имена, обозначенные в работе А. Ф. Кони только инициалами, расшифровываются следующим образом: «актер Б.» — Ф. А. Бурдин; «С. И. И.» — Софья Ивановна Ишутина; «певец М.» — И. А. Мельников.

А. П. Чехов. Отрывочные воспоминания [стр 159 — 177]. Впервые опубликовано в сборн. «А. П. Чехов. Затерянные произведения. Неизданные письма. Воспоминания. Библиография. Под редакцией М. Д. Беляева и А. С. Долинина». Изд. «Атеней», Л., 1925, стр. 199 — 216.

Точная дата знакомства А. П. Чехова с А. Ф. Кони, ошибочно отнесенная в воспоминаниях последнего к «декабрю 1893 г.», определяется письмом А. П. от 18.I.1891 г. к сестре Марье Павловне: «Вчера я был у Кони, говорил с ним о Сахалине; условились ехать вместе во вторник на будущей неделе к Нарышкиной просить ее, чтобы она поговорила с государыней о сахалинских детях и насчет устройства приюта для детей. Поедем во вторник, — стало быть, не ждите меня раньше четверга будущей недели» («Письма Чехова», т. III, стр. 175 — 176). Свидание с Е. А. Нарышкиной Чехов, однако, решил отложить до выхода в свет своей книги, а материалом о «сахалинских детях», подлежавшим обсуждению в «Обществе попечения о семьях ссыльно-каторжных», воспользовался для специального письма к А. Ф. Кони от 26 января 1891 г. (письмо это, цитируемое выше, *стр. 165 — 166*, полностью опубликовано в «Письмах Чехова», т. III, изд. 2, 1915 г., стр. 178 — 180).

Книга А. П. Чехова «Остров Сахалин (Из путевых записок)» вышла в свет летом 1895 г. Отдельному ее изданию предшествовала публикация первых девятнадцати глав в «Русской Мысли» (1893 г., кн. X — XII; 1894 г., кн. II, III, V — VII) и главы двадцать второй в сборн. «Помощь голодающим», изд. «Русск. Вед.», М., 1892. Мотивы своей поездки на Сахалин и, тем самым, задания будущей книги А. П. Чехов изложил в письме к А. С. Суворину от 9.III.1890 г.

«Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждений, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы . . . В наше время для больных делается кое-что, для заключенных же ничего, тюрьмоведение совершенно не интересует наших юристов. Нет, уверяю вас, Сахалин нужен и интересен, и нужно пожалеть только, что туда еду я, а не кто нибудь другой, более смыслящий в деле и более способный возбудить интерес в обществе» («Письма Чехова», т. III, стр. 21 — 22).

Литературные материалы «о сибирских тюрьмах и господствовавших там порядках», характеризуемые в воспоминаниях А. Ф. Кони, распределяются по времени выхода своего в свет следующим образом: 1. «Записки из Мертвого Дома» Ф. М. Достоевского опубликованы в СПБ, в 1861 г. (первоначально печатались в «Русском Мире» и «Времени» 1860 — 1861 г.); 2. Книга «Siberia and the exile system» by George Kennan, London, 1891. (Первый русский перевод — Георг Кеннан. Сибирь! Перевод

д-ра Генр. Руэ и д-ра Алекс. Вольфа. Берлин. Зигфрид Кронбах, 1891); З. Л. Мельшин «В мире отверженных. Записки бывшего каторжника». Изд. ред. журнала «Русское Богатство», СПБ, 1896 (первоначально печатались в «Рус. Бог.» 1895 г., кн. IX — XII и 1896 г., кн. I — V). Специальная литература о Сахалине, не вошедшая в перечень А. Ф. Кони, зарегистрирована в библиографической справке Е. Никитиной «Остров Сахалин как место ссылки» («Каторга и Ссылка», 1926 г., кн. VI, стр. 182).

«Вести о самоубийстве Сигиды», отмечаемые в воспоминаниях А. Ф. Кони *[стр. 160]*, связаны с следующим трагическим эпизодом каторжной хроники конца 80-х годов: Надежда Константиновна Сигида, урожд. Малоксиано (1862 — 1889), арестованная 23.I.1886 при захвате полицией типографии «Народной Воли» в Таганроге и присужденная к 8 годам каторжных работ на Каре, за оскорбление действием начальника тюрьмы подверглась 6.XI.1889 г. наказанию розгами и тотчас после исполнения этого приговора отравилась; смерть Н. К. Сигиды вызвала массовое покушение на самоубийство ее товарищей по Карийской тюрьме, не располагавших другими средствами протеста. (Из них погибли М. П. Ковалевская, Н. С. Смирницкая, М. В. Калюжная, И. В. Калюжный и С. Н. Бобохов.) Основные материалы по делу Н. К. Сигиды опубликованы в документальной сводке А. А. Фомина, с примечаниями А. Якимовой и Е. Ковальской: «Карийская трагедия». (Сборн. «Кара», М., 1927, стр. 120 — 137.)

Премьера «Чайки», о провале которой рассказывает А. Ф. Кони на *стр. 167—168*, назначена была в Петербурге на 17 октября 1896 г. «Ставилась эта печальная из печальных пьес в бенефис самой веселой комической артистки — Левкеевой, общей любимицы Александринского театра, — пишет в своих воспоминаниях А. И. Суворина. — Билеты все были раскуплены мигом, и у кассы висел столь всегда желанный и для авторов и для артистов аншлаг: «Билеты все проданы». Театр был набит веселой, нарядной, по-бенефисному одетой публикой с верху до низу. Поднялся занавес, в зрительном зале сделали мрак и только тогда к нам в ложу вошел Антон Павлович . . . Начало прошло хорошо. Аплодисментами, как всегда, встретили Коммисаржевскую. Но вот начала она читать проникновенным своим голосом в глубине сцены свой знаменитый монолог: «люди, орлы, львы, рогатые олени...» и т. д. Внизу, как раз под нашей ложей, раздался какой-то дурацкий смех . . . Антон Павлович, как я заметила, страшно побледнел. Смех раздался и в другом месте и стал усиливаться. Поднялся шум. Коммисаржевская все продолжала, но с каждым мгновением все труднее было слушать ее; в театре начался какой-то хаос: одни смеялись, другие шикали, чтобы остановить этот шум, и получился форменный кавардак. Несчастный автор до окончания ушел из ложи, в антракте кто вызывал автора, кто шикал, актеры выходили с изумленными лицами, ничего не понимая в чем дело, да и публика шумела, тоже кажется ничего не понимая». (Сборн. «А. П. Чехов», Л., 1925, стр. 192 — 193. Ср. «Дневник А. С. Суворина», М.-П., 1923 г., стр. 125 — 126). В письме, писанном Чеховым утром следующего дня к брату Михаилу Павловичу, впечатления от этого спектакля выражены были автором с наибольшей четкостью и остротою: «Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. В театре было тяжелое напряжение недоумения и позора. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль: не следует писать пьес» («Письма Чехова», т. IV, М., 1914, стр. 483. Ср. упоминания об этом же спектакле на стр. 482 — 518 в письмах к А. С. Суворину, М. П. Чеховой, В. В. Билибину, В. И. Немировичу-Данченко).

В архиве А. П. Чехова сохранились те «несколько ободрительных слов», с которыми обратился к нему А. Ф. Кони после провала «Чайки».

Это неизданное письмо (любезно сообщенное нам С. Д. Балухатым) датировано было 7.XI.1896 г. и отражало, вопреки версии позднейших воспоминаний, впечатления не от премьеры «Чайки», а от одной из следующих ее постановок:

«Вас, быть может, удивит мое письмо, — писал А. Ф. Кони, — но я, несмотря на то, что весь в работе, не могу отказаться от желания написать вам по поводу вашей Чайки, которую я, наконец, удостоился видеть. Я слышал (от Савиной), что отношение публики к этой пьесе вас очень огорчило . . . Позвольте же одному из этой публики, быть может профану в литературе и драматическом искусстве, но знакомому с жизнью по своей служебной практике, сказать вам, что он благодарит вас за глубокое наслаждение, данное ему вашей пьесой. «Чайка» — произведение, выходящее из ряда по своему замыслу, по новизне мысли, по вдумчивой наблюдательности над житейскими положениями. Это *сама жизнь* на сцене, — с ее трагическими слезами, разноречивым бездушием и молчаливыми страданиями; жизнь обыденная, всем доступная и почти никем не понимаемая в ее внутренней жестокой иронии, — жизнь до того доступная и близкая нам, что подчас забываешь, что сидишь в театре и способен сам принять участие в происходящей пред тобой беседе. И как хорош конец! Как верно житейски то, что не она, чайка, лишает себя жизни (что непременно заставил бы ее сделать заурядный драматург, бьющий на слезливость публики), а молодой человек, который живет в отвлеченном будущем и «ничего не понимает» зачем и к чему все кругом происходит. И то, что пьеса прерывается внезапно, оставляя зрителя самого дорисовывать себе будущее — тусклое, вялое и неопределенное, мне очень нравится. Так кончаются или лучше сказать обрываются, эпические произведения. Я не говорю об исполнении, в котором чудесна Коммисаржевская, а Сазонов и Писарев, как мне кажется, не поняли своих ролей и играют не тех, кого вы хотели изобразить».

На письмо это Чехов ответил 11.XI.1896 г., т. е., вероятно, тотчас же после его получения (полный текст этого «ответа» опубликован в «Письмах Чехова», т. IV, стр. 500 — 502). Впечатление от неожиданных строк сочувственного отзыва А. Ф. Кони было настолько сильно, что о нем А. П. Чехов упомянул даже в письме к А. С. Суворину от 14.XII.1896 г. «Вы и Кони доставили мне письмами не мало хороших минут, но все же душа моя точно луженая, я не чувствую к своим пьесам ничего, кроме отвращения, и через силу читаю корректуру. Вы опять скажете, что это неумно, глупо, что это самолюбие, гордость и проч. и проч. Знаю, но что же делать? Я рад бы избавиться от глупого чувства, но не могу и не могу. Виновато в этом не то, что моя пьеса провалилась; ведь в большинстве мои пьесы проваливались и ранее, и всякий раз с меня как с гуся вода. 17 октября не имела успеха не пьеса, а моя личность . . . Произошло то, что дало повод Лейкину выразить в письме соболезнование, что у меня так мало друзей, а «Неделе» вопрошать: «что сделал им Чехов», а *Театралу* поместить целую корреспонденцию о том, будто бы пишущая братия устроила мне в театре скандал. Я теперь покоен, настроение у меня обычное, но все же я не могу забыть того, что было, как не мог бы забыть, если бы, например, меня ударили» («Письма Чехова», т. IV, стр. 518).

Письмо А. П. Чехова, о котором вспоминает А. Ф. Кони на *стр. 170*, относилось к 22.XI.1900 г. и полностью опубликовано в «Письмах Чехова», т. VI, стр. 107 — 108; письмо его же от 12.VI.1901 г., цитируемое на *стр. 172* воспоминаний, опубликовано там же, стр. 150. Полный текст записки Чехова о Бунине, которую приводит А. Ф. Кони на *стр. 172*, в печати не известен.

В письме Чехова к С. А. Андреевскому от 25.XII.1891 сохранился характерный отзыв автора «Чайки» о «судебных речах» А. Ф. Кони: «Для меня речи таких юристов, как вы, Кони и др. представляют двоякий интерес. В них я ищу, во-первых, художественных достоинств, искусства, и, во-вторых, того, что имеет научное или судебно-практическое значение» (А. П. Чехов. Несобранные письма. Комментарии Л. М. Фридкеса, М., 1927, стр. 18).

С. А. Андреевский (по личным воспоминаниям). [Стр. 178 — 196.] Опубликовано в изд. «С. А. Андреевский. Книга о смерти. (Мысли и воспоминания)», Л., 1924, стр. 7 — 26. Воспоминания А. Ф. Кони датированы: 8.IX.1923 г.

Сам С. А. Андреевский рассказал о первых своих встречах с А. Ф. Кони в «Книге о смерти», стр. 119 и 123 — 124. Непосредственным продолжением этих рассказов является его же записка о деле В. И. Засулич, существенно дополняющая сведения воспоминаний А. Ф. Кони об отставке С. А. Андреевского в 1878 г.:

«Я вполне разделяю ваше мнение, что присяжные едва ли годятся в судьи по делам политическим, — писал С. А. Андреевский 14.IX.1914 г. И. Г. Щегловитову, — В виде наглядной иллюстрации позвольте мне по этому поводу рассказать вам мою роль в деле Веры Засулич. Этот эпизод моей жизни нигде мною не записан. О нем существует только предание. И я сообщу вам его впервые во всей правде, — на память:

«В ту пору прокурором судебной палаты был А. А. Лопухин (отец недавнего каторжника), а прокурором суда Н. Н. Сабуров (впоследствии директор департамента полиции). Но ко времени поступления дела Засулич в суд, Сабуров находился в отпуску, а его должность исправлял старший из товарищей прокурора В. И. Жуковский. Мне, как самому младшему среди прокуратуры, и в голову не приходило, чтобы с предложением обвинять Веру Засулич на суде могли обратиться ко мне. Да и помимо того, — весьма чуткий к окружающей политической атмосфере, — я был твердо убежден, что из суда присяжных Вера Засулич всегда выйдет оправданною. Однако же как-то утром, когда я совершенно безмятежный пришел на службу, меня тотчас же позвал Жуковский и (не то посмеиваясь, не то сострадая) — торопливо заговорил:

— Знаешь . . . Тебя ждет Лопухин. Он тебя решительно избрал обвинителем Веры Засулич. Конечно, ради приличия, он предложил эту обязанность и мне, как исправляющему должность прокурора, — но он мечтает именно о тебе. Я же ускользнул, сославшись на то, что мой брат «эмигрант» и потому, в уважение моих родственных чувств, меня всегда освобождали от дел политических, за что я беру на себя труднейшие процессы общего характера . . .

Бесконечно взволнованный я пошел к Лопухину. Он встретил меня с «распростертыми объятиями» и сказал: — Когда я настаивал на передаче дела Засулич в суд присяжных, я имел в виду именно вас. Я часто слушал ваши речи и увлекался. Вы один сумеете своею искренностью спасти обвинение . . .

— Но, Александр Алексеевич, ведь ваше обращение ко мне — величайшее недоразумение. Конечно, Вера Засулич совершила преступление, и если бы вы, как мой начальник, предписали мне обвинять ее, то я не имел бы права ослушаться. Поэтому, я прежде всего желал бы знать: беседуем ли мы с вами формально, или по-человечески?

— Да что вы! Что вы! Конечно, тут нет никаких формальностей, и вы можете говорить вполне откровенно.

— Тогда я вам скажу, что обвинять Веру Засулич я ни в каком случае не стану, и прежде всего потому, что кто бы ни обвинял ее, — присяжные ее оправдают.

— Каким образом? Почему? . .

— Потому, что Трепов совершил возмутительнейшее превышение власти. Он выпорол «политического» Боголюбова во дворе тюрьмы и заставил всех арестантов из своих окон смотреть на эту порку . . . И все мы, представители юстиции, прекрасно знаем, что Трепову за это ничего не будет. Поймут это и присяжные. Так вот они и подумают, каждый про себя: «значит, при теперешних порядках, и нас можно пороть безнаказанно, если кому вздумается? Нет! Молодец Вера Засулич! Спасибо ей!» И они ее всегда оправдают.

— Бог знает, что вы говорите! . .

— Александр Алексеевич! Мне кажется, вы не чувствуете важности момента. Ведь мы присутствуем при начале иной революции. Уже не против монарха, а против правительства. И в обвинители Веры Засулич следовало бы достать какого-нибудь дореформенного человека, преданного далекой старине, который был бы готов за нее «костьми лечь», который бы сказал присяжным: Г.г. присяжные! Нам дела нет до побуждений г-жи Засулич. Помните только одно, что она посягнула на наши святыни. Она стреляла в генерал-адъютанта, носящего на своих плечах вензеля государя, — всегда имеющего к царю свободный доступ . . . Кто любит государственный порядок, тот не пожелает даже вникать в объяснения подсудимой. Можно, пожалуй, смягчить ее ответственность, но оправдать ее — никогда!»

— Какая великолепная речь! Произнесите же ее!

— Нет, Александр Алексеевич, мы совсем не понимаем друг друга и, верьте мне, что никакая речь не поможет.

Лопухин пожал плечами и сказал: — Ну что же делать. Придется обратиться к товарищу прокурора Кесселю . . .

Засулич была оправдана с таким треском и ревом, каких никогда не знали ни ранее, ни позднее стены судебного зала. Приговору аплодировали даже сановники (ныне уже умершие), стоявшие в местах за креслами судей.

Когда после заседания мы с Жуковским уселись на «империале конки» и поехали домой, он мне спокойно сказал: «Ну брат, теперь нас с тобой прогонят со службы. Найдут, что если бы ты или я обвиняли, этого бы не случилось».

Его пророчество сбылось очень скоро. Моя семья во время процесса находилась в деревне у родственников. И в самый день моего отъезда туда я получил от возвратившегося в Петербург прокурора суда Сабурова извещение, что министр юстиции требует от меня и Жуковского объяснений, почему мы отказались обвинять Веру Засулич . . . Жуковский был переведен товарищем прокурора в Пензу, а я — уволен от должности. Осенью мы оба были приняты в адвокатуру» («Былое», 1923, кн. 21, стр. 83 — 91).

Страница, посвященная делу В. И. Засулич в воспоминаниях А. Ф. Кони о С. А. Андреевском, предваряет итоги оставшейся в рукописи работы А. Ф. над восстановлением всех обстоятельств этого исторического процесса, в которую вошла и записка, поданная А. Ф. Кони после дела В. И. Засулич будущему императору Александру III («Дела и Дни», 1920, кн. 1, стр. 175 —188). Работа над послесловием к этим главам воспоминаний прервана была смертью мемуариста. Для характеристики отношения к А. Ф. Кони высших правительственных кругов даже через несколько лет после процесса В. И. Засулич очень важен обмен мнений

о нем в переписке К. П. Победоносцева с Александром III: «Со всех сторон слышно — писал первый из них 6. II. 1885 г. — что на днях последует назначение нынешнего председателя гражданского отделения судебной палаты, Анатолия Кони, в сенат, обер-прокурором уголовного кассационного департамента. Назначение это произвело бы неприятное впечатление, ибо вам памятно дело Веры Засулич, а в этом деле Кони был председателем и выказал крайнее бессилие. А на должности обер-прокурора кассационного департамента у него в руках будут главные пружины уголовного суда в России». В своем ответе на это донесение Александр III разъяснял: «Я протестовал против этого назначения. но Набоков уверяет, что Кони на теперешнем месте несменяем, тогда как обер-прокурором, при первой же неловкости или недобросовестности, может быть удален со своего места» («К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки», т. I, полутом 2-й, М.-П., 1923. стр. 496 — 497). Ср. передачу некоторых рассказов А. Ф. Кони об его опале после оправдания В. И. Засулич в брошюре М. С. Королицкого «А. Ф. Кони. Странички воспоминаний». Л., 1928, стр. 15 — 19.

Высокая оценка поэтического творчества С. А. Андреевского, которую дает А. Ф. Кони на *стр. 185* своих воспоминаний, получила внешнее выражение и в заботах А. Ф. об издании первого сборника его «Стихотворений». Так, посылая 17.XII.1884 г. в типографию «Вестника Европы» листок с надписью «С. А. Андреевский. Стихотворения. 1878 — 1884», А. Ф. Кони просил М. М. Стасюлевича: «Нельзя ли напечатать в 2 или 3 экземплярах прилагаемый заглавный листок. Я хочу подшутить над Андреевским, который все не может собраться напечатать свои стихи, которых набралось уже много. Мне хочется подарить ему книгу, в переплете и с этим заглавным листом, в которой однако будут лишь белые страницы» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. IV, СПБ, 1912, стр. 431).

Глухая ссылка *стр. 191* на сочувственный отзыв И. С. Тургенева о стихах С. А. Андреевского основана, вероятно, на следующих строках письма Тургенева от 16.XII.1878 г. к М. М. Стасюлевичу. «Есть талант и у г. Андреевского; есть чувство и теплота. Но он не довольно обрабатывает свои стихи. В лирическом стихотворении все должно быть безупречно — и никак не следует допускать то, что французы называют cheville» («М. М. Стасюлевич и его современники», т. III, стр. 156. Ср. аналогичные замечания его же о С. А. Андреевском в письме от 8.V. 1878 г. и от 5.I.1879 г., op. cit., стр. 158 и «Книга и Революция», 1921, № 8 — 9, стр. 120).

С характеристикой художественных особенностей ораторского дарования С. А. Андреевского, которую А. Ф. Кони дает на *стр. 188 — 190* своих воспоминаний, любопытно сопоставить явно враждебные строки, посвященные самому А. Ф. в одной из книг С. А. Андреевского: «Кони первый внес в судебные прения литературно-психологические приемы в широких размерах, но, увы, — сделал это в целях обвинения, а потому поневоле приурочивал свою психологию к готовым сентенциям Уложения о наказаниях. Помнится, Кони, когда ему приходилось бороться с искусственными доводами защиты в пользу милосердия, называл эти доводы «жестокою сентиментальностью». Но я с гораздо большим правом могу назвать его прокурорскую психологию «сентиментальною жестокостью», ибо результатом его душевного анализа всегда являлось лишение прав» (С. А. Андреевский «Защитительные речи», изд. 4-е, СПБ, 1909, стр. 6 — 7).

Стихотворения, критические этюды и судебные речи С. А. Андреев-

ского собраны в следующих изданиях: «Стихотворения (1878 — 1885)», СПБ, 1886; изд. 2-е, СПБ, 1898; «Литературные Чтения», СПБ, 1891; изд. 4-е, с измененным заголовком — «Литературные Очерки», СПБ, 1913; «Защитительные речи», СПБ, 1891; 4-е дополненное издание, СПБ, 1909. (Не вошла в этот сборник «Речь С. А. Андреевского по делу Дашнакцутюн», опубликованная в «Былом», 1917 г., кн. IV, стр. 48 — 56). «Книга о смерти (Мысли и воспоминания)», т. I, Л., 1924; т. II (без даты), изд. «Библиофил», Ревель — Берлин. С согласия С. А. Андреевского опубликованы были его письма к М. М. Стасюлевичу в изд. «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III, СПБ, 1912, стр. 645 — 648, а краткая автобиография С. А. положена в основание справки о нем С. А. Венгерова в «Критико-биографическом словаре русских писателей и ученых», СПБ, 1889, стр. 545 — 550.

Петербург. Воспоминания старожила. [Стр. 197 — 241.] Впервые опубликовано отдельной брошюрой в изд. «Атеней», П., 1922. Перепечатывается в настоящем издании с некоторыми поправками стилистического порядка, внесенными рукою А. Ф. Кони в авторский экземпляр «Петербурга».

Время издания брошюры — 1922 год — объясняет давно ставшие анахронизмом строки *[стр. 197]* о «Петербурге настоящих дней — пустынном, безжизненном и оброшенном».

Ссылка *стр. 201* на описание «варварского наказания шпицрутенами» в «исследованиях Ровинского о старом суде» имела в виду страницу исторических комментариев к «Русским народным картинкам», воспроизведенную в известной речи А. Ф. Кони о Д. А. Ровинском:

«Что сказать о шпицрутенах сквозь тысячу, двенадцать раз, без медика! — восклицает Ровинский. — Надо видеть однажды эту ужасную пытку, чтобы уже никогда не позабыть ее. Выстраивается тысяча бравых русских солдат в две шпалеры, лицом к лицу; каждому дается в руки хлыст-шпицрутен; живая «зеленая улица», только без листьев, весело движется и помахивает в воздухе. Выводят преступника, обнаженного по пояс и привязанного за руки к двум ружейным прикладам; впереди двое солдат, которые позволяют ему подвигаться вперед только медленно, так чтобы каждый шпицрутен имел время оставить след свой на «солдатской шкуре»; сзади вывозится на дровнях гроб. Приговор прочтен, раздается зловещая трескотня барабанов, раз, два . . . и пошла хлестать зеленая улица, справа и слева. В несколько минут солдатское тело покрывается сзади и спереди, широкими рубцами, краснеет, багровеет, летят кровяные брызги . . . «Братцы, пощадите!» . . . прорывается сквозь глухую трескотню барабана; но ведь щадить — значит самому быть пороту — и еще усерднее хлещет «зеленая улица». Скоро спина и бока представляют одну сплошную рану, местами кожа сваливается клочьями — и медленно двигается на прикладах живой мертвец, обвешанный мясными лоскутьями, безумно выкатив оловянные глаза свои . . . вот он свалился, а бить еще осталось много, — живой труп кладут на дровни и снова возят, взад и вперед, промеж шпалер, с которых сыплются удары шпицрутенов и рубят кровавую кашу. Смолкли стоны, слышно только какое-то шлепанье, точно кто по грязи палкой шалит, да трещат зловещие барабаны». («За последние годы», изд. 2-е, СПБ, 1898 г., стр. 635 — 636).

Реплика Белинского, приведенная на *стр. 206*, заимствована, вероятно, из «Литературных и житейских воспоминаний» И. С. Тургенева: «. . . Мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, об обеде, сама жена Белинского умоляла и мужа и меня хотя немножко погодить, хотя на время пре-

рвать эти прения, но с Белинским сладить было не легко. — «Мы не решили еще вопроса о существовании бога, сказал он мне однажды с горьким упреком, а вы хотите есть!» («Полн. собр. соч. И. С. Тургенева, т. X, 1915, стр. 25).

Сентенция «Будешь помнить здание у Цепного моста» *[стр. 214]* заимствована из нелегальных «Посланий», многократно печатавшихся в зарубежных сборниках русских запрещенных стихотворений (см., напр., «Лютня», Лейпциг, Э. Л. Каспрович, 1869 г., стр. 160—161; то же 5-е издание, 1879 г. стр. 187—188):

1. Из Петербурга в Москву.

У царя у нашего
Верных слуг довольно —
Вот хоть у Тимашева
Высекут пребольно.

Влепят в наказание
Так, ударов со сто. —
Будешь помнить здание
У Цепного моста.

2. Из Москвы в Петербург.

У царя у нашего
Все так политично,
Что и без Тимашева
Высекут отлично;

И к чему тут здание
У Цепного моста?
Выйдет приказание —
Отдерут и просто.

Пьесы, упоминаемые на *стр. 228—229* воспоминаний А. Ф. Кони, были очень устойчивы в репертуаре русского театра 30 — 50-х годов и принадлежали перу П. П. Каратыгина и Д. Г. Ленского: «Дон Ранудо-ди-Калибрадос или что и честь, коли нечего есть», водевиль в одном действии П. П. Каратыгина (переделанный из одноименной комедии Авг. Коцебу) был поставлен впервые в Петербурге 10.IV.1833 г., а опубликован в 1840 г.; две другие вещи — «Вот так пилюли! Что в рот, то спасибо. Волшебство в трех действиях и двенадцати картинах» и «В людях ангел, не жена, дома с мужем сатана, водевиль в трех действиях» — вошли в «Театр Д. Г. Ленского», т. I, СПБ, 1873 г.

Ссылка *стр. 228* на предъявленное Тургеневу требование театральной цензуры, чтобы «замужняя героиня «Месяца в деревне», увлекающаяся студентом, была превращена во вдову», может быть дополнена справкой о том, что Тургенев это предложение *выполнил*, печатая «Месяц в деревне» в первой книге «Современника» за 1855 г. Начальный замысел комедии восстановлен был только в 1869 г., причем в особом предисловии к изданию своих «сцен и комедий» Тургенев отметил: «Месяц в деревне» является теперь в первобытном виде. Я поставил-было себе в этой комедии довольно сложную психологическую задачу; но тогдашняя цензура, принудив меня выкинуть мужа и превратить его жену во вдову — совершенно исказила мои намерения».

Сергей Юльевич Витте (Отрывочные воспоминания). [Стр. 245—290.] Впервые опубликовано отдельной брошюрой в изд-е «Право и Жизнь», Москва, 1925. Перепечатывается с добавлением страниц, написанных А. Ф. Кони для нового издания и посвященных обстоятельствам неизвестного англофобского выступления С. Ю. Витте в начале мировой войны. (Письмо к в. кн. Константину Константиновичу на *стр. 287—288.)*

Комиссия для исследования железнодорожного дела в России, в которой произошла первая встреча А. Ф. Кони и С. Ю. Витте *[стр. 247]*, бегло охарактеризована и в воспоминаниях последнего: «Кроме правления Юго-Западных железных дорог, я служил и в комиссии графа Баранова, где, собственно говоря, был душею всего дела, потому что в этой

*

комиссии участвовали или лица из Министерства путей сообщения, которые не сочувствовали этой комиссии, так как полагали, что эта комиссия займется раскрытием неправильностей Министерства путей сообщения и вообще видели в ней умаление власти и значения Министерства, или же лица, которые ровно ничего не понимали в делах; этих последних было большинство. Так, например, управляющий делами комиссии был тот самый генерал-лейтенант Анненков, который вместе с тем был заведывающим передвижением войск во всей империи (т. е. он заведывал отделом главного штаба, который заведывал передвижением войск). Сам Анненков был тип офицера генерального штаба, большой болтун и вообще был человеком, любившим умело уклоняться от истины. Конечно, железнодорожного дела он не знал. В этой же комиссии участвовал Кони и бывший мировой судья того времени, весьма известный юрист, Неклюдов, который впоследствии был . . . товарищем министра внутренних дел Горемыкина. Но знающих железнодорожное дело не было. Поэтому всю инициативу в дело вносил я. Единственный труд, который оставила после себя эта комиссия, как известно, был «Устав железных дорог». Этот устав и доныне действует, как кардинальный закон, регулирующий железнодорожное дело . . . Граф Баранов был весьма почтенный человек. Он вместе с тем был еще и председателем департамента экономии Государственного совета. Говорил он чрезвычайно важно, произнося слова и отдельные фразы как «пифия». Он был очень доброжелательным, воспитанным человеком, по манерам крайне важным, а в действительности весьма простым и добрым, но, конечно, железнодорожного дела, да и вообще никакого серьезного дела, он не знал: составил себе положение он тем, что был другом императора Александра II» («Воспоминания С. Ю. Витте», т. III, Л., 1924, стр. 100 — 101).

Дознание, веденное А. Ф. Кони по делу о крушении царского поезда 17.X.1888 г. около станции Борки Курско-Харьковско-Азовской железной дороги и вкратце охарактеризованное на *стр. 250 — 254* настоящих воспоминаний, дало материал для интереснейших писем с места катастрофы А. Ф. Кони к К. П. Победоносцеву («К. П. Победоносцев и его корреспонденты», т. I, М., 1923, стр. 916 и 919 — 921) и к М. М. Стасюлевичу («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. IV, СПБ, 1912, стр. 448).

«И в этом случае, как и во многих других,— резюмировал А. Ф. Кони свои впечатления в письме к М. М. Стасюлевичу от 29.X.1888 г.,— служилые люди, приставленные к делу своему, разделялись на две категории — не умеющих исполнить своего долга и не желающих это делать, — средина между которыми заполнена беспечными людьми, особенно любящими играть роль семи нянек».

В воспоминаниях С. Ю. Витте, с рассказом которого об обстоятельствах железнодорожной катастрофы 17.X.1888 г. полемизировал А. Ф. Кони (см. *стр. 288 — 290* наст. издания), отмечено: «Повидимому Кони очень хотелось, чтобы в этой катастрофе была виновата администрация дороги, чтобы было виновато управление дороги, поэтому ему ужасно не нравилась моя экспертиза. Он хотел, чтобы экспертиза установила, что было виновато не управление поезда, не инспектор императорских поездов, не министр путей сообщения, а чтобы было виновато управление дороги. Я же дал заключение, что виновато исключительно центральное управление — Министерство путей сообщения, а также виноват инспектор императорских поездов». («Воспоминания С. Ю. Витте», т. III, стр. 161).

Ближайшим результатом дознания о катастрофе, законченного в

начале 1889 г., была отставка министра путей сообщения адмирала К. Н. Посьета («человека — по характеристике С. Ю. Витте — честного, прямого, но очень ограниченного», занимавшего свой ответственный пост только потому, что он прежде был «воспитателем великого князя Алексея Александровича»), и старшего инспектора железных дорог барона К. Г. Шернваля («инженера среднего калибра» — по воспоминаниям С. Ю. Витте но «с известною финляндскою тупостью»).

В суд дело направлено, однако, не было, причем инициатором его прекращения явился всесильный обер-прокурор святейшего Синода К. П. Победоносцев. В своем письме к Александру III от 15.IV.1889 г. он очень убедительно разъяснял, что «судебным приговором, каков бы он ни был, невозможно исправить беспорядка администрации, а если будет приговор оправдательный, он внесет новую еще смуту в народные понятия . . . Итак смею думать, что следовало бы во всяком случае избежать *судебного производства* о виновниках катастрофы 17 октября. Народное чувство удовлетворилось бы, думаю, вполне таким исходом, — у народа в памяти одно *чудо*, — в «Правительственном Вестнике» могло бы быть помещено краткое изложение всего хода дела, которое показало бы, что виновных трудно отыскивать и карать, там, где все более или менее причастны греху беззаботности, забвения долга, лени, неге и распущенности. Но что же делать затем? Остается еще сделать многое. В произведенном обстоятельном следствии накопилась громадная масса драгоценного материала, в коем обнаружены главнейшие язвы железнодорожной администрации. Тут можно найти практические указания на то, какие следует принять меры и установить правила для обеспечения контроля для устранения беспорядков для обезопасения движения. Разработку всего этого материала следует поручить особой комиссии, в коей главными деятелями должны быть новый министр путей сообщения и обер-прокурор Кони, руководивший следствием и знающий все его подробности». («Письма Победоносцева к Александру III», М., 1926, стр. 214 — 217). Ср. ценные дополнительные данные об обстоятельствах и виновниках катастрофы в Борках в дневнике А. В. Богданович «Три последних самодержца», М.-Л., 1924, стр. 77 — 85 и в «Моих воспоминаниях» кн. В. П. Мещерского, ч. III, СПБ, 1912, стр. 297 — 304.

Происхождение памфлетов И. Ф. Циона против финансовых реформ С. Ю. Витте (см. *стр. 257* настоящего издания) освещено в воспоминаниях последнего (т. III, стр. 224 — 230), а также в переписке К. П. Победоносцева с С. Ю. Витте и И. Ф. Ционом («Красный Архив», т. 30, М., 1928, стр. 90 — 97).

«Конфиденциальная записка» С. Ю. Витте, вызванная его полемикой с И. Л. Горемыкиным по поводу проекта введения земства в западных губерниях и охарактеризованная на *стр. 262* настоящих воспоминаний, дважды напечатана была, против воли автора, за границей. Ср. «Самодержавие и земство». Конфиденциальная записка министра финансов статс-секретаря С. Ю. Витте (1899), изд. 2-е, с двумя предисловиями Петра Струве, Штутгарт, 1903.

Характеристика на *стр. 262 — 263* «сельскохозяйственного совещания, созванного по почину Витте» имеет в виду работу «Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности», организованного С. Ю. Витте и действовавшего под его председательством с 22.I.1902 г. по 30.III.1905 г. (Ср. «Воспоминания С. Ю. Витте», т. II, стр. 403 — 444.)

Превращение губернских и уездных филиалов этой комиссии в «западню для выдающихся земских деятелей», вскользь отмеченное в очерке А. Ф. Кони [*стр. 263*], документально подтверждается неизданными

материалами «Дела по канцелярии министра внутренних дел о сообщении в хозяйственный департамент сведений о лицах, зарекомендовавших себя по деятельности своей в местных комитетах о нуждах сельскохозяйственной промышленности не вполне благонадежными», 1902 г., № 54. (См. также документы дела № 56.) Первое столкновение администрации с местными комитетами произошло осенью 1902 г.: «На прошлой неделе,— конфиденциально сообщал московский губернатор министру внутренних дел 2 сентября 1902 г., — в некоторых повременных изданиях появилось сообщение о происходившем 14 минувшего августа заседании Рузского Уездного Комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности, причем была особо отмечена внесенная в это заседание записка председателя Рузской уездной земской управы Цыбульского, рекомендующего, между прочим, нарезку крестьянам земли путем обязательного выкупа у помещиков и указывающего на несовершенство нашей финансовой политики, явно клонящейся ко вреду сельского хозяйства и угнетающей землевладельца-крестьянина. Тотчас же затребовав копию этой записки и ознакомившись с ее содержанием, я пришел к заключению, что она, повидимому, является лишь исполнением программы, выработанной на съезде земских деятелей в мае месяце сего года в гор. Москве, причем в особенности обращает на себя внимание та обстановка, при которой она была заслушана в Уездном Комитете. В состав Комитета председателем оного были приглашены все волостные старшины и не мало других представителей крестьянского населения. Написанная в общих выражениях, совершенно неудобопонятных для крестьянина, она легко может породить среди крестьянского населения совершенно нежелательные превратные толки, так как крестьянам, без сомнения, трудно понять степень полномочий Уездного Комитета. По имеющимся у меня сведениям, в уезде среди крестьян уже начали циркулировать толки по поводу новой нарезки земли, хотя впрочем, без каких-либо серьезных последствий».

Министр внутренних дел В. К. фон-Плеве немедленно затребовал из департамента полиции справку об А. И. Цыбульском, а 29. XII. 1902 г., через А. А. Лопухина, «совершенно секретно» предложил директору канцелярии министерства, чтобы «о лицах, зарекомендовавших себя по своей деятельности в Комитетах о нуждах сельскохозяйственной промышленности не вполне благонадежными в политическом отношении, надлежащие сведения были сообщены и впредь сообщались в хозяйственный департамент для соображения при разрешении в будущем вопросов об утверждении их в должностях по новым выборам». Эти сведения дали материал для следующего перечня «не вполне благонадежных» земцев по губерниям: «Воронежская. Перелешин, Дмитрий Александрович, член Воронежской губ. управы; Щербина, Федор Андреевич, заведующий статистическим отделением земской управы; Вашкевич, Григорий Станиславович, управляющий казенной палатой; Алисов, Иван Троадиевич, Воронежский уездный предводитель дворянства; Бунаков, Николай Федорович, гласный по Воронежскому уезду; Мартынов, Сергей Васильевич, врач, гласный по Воронежскому уезду; Александров, Николай Алексеевич, председатель Воронежской земской управы; Шингарев, Андрей Иванович, земский врач; Колюбакин, Василий Иванович, гласный по Бобровскому уезду; Соколов, врач; Тезяков, Николай Иванович, земский врач; Ходский, присяжный поверенный; Переверзев, податной инспектор; Жихарев, Михаил Александрович, Новохоперский уездный предводитель дворянства, Федосьев, Павел Александрович, дворянин; Сидоров, Анатолий Григорьевич, агроном; Якубович, Алексей Андреевич, земский

начальник Новохоперского уезда. Казанская. Марковников, Владимир Владимирович, председатель губ. управы; Баратынский, Александр Николаевич, Казанско-Царевококшайский предводитель дворянства; Юшков, К. А. Московская. Цыбульский, Александр Иванович, председатель Рузской уездной управы. Тульская. Ершов, Михаил Дмитриевич; Любенков, Лев Львович, Московский мировой судья; Любенков, Владимир Львович, врач. Самарская. Племянников, Василий Андреевич, председатель губ. управы. Московская. Коренев, присяжный поверенный; Кокошкин, В. Ф., земский начальник; Лебедев-Лесин, член Звенигородской земской управы; Маклаков, присяжный поверенный. Уфимская. Дубинин, А. Ф., Мензелинский городской голова; Жуковский, И. Г., и. д. предводителя дворянства Бирского уезда; Балахонцев, Сергей Петрович, председатель губ. управы; Георгиевский, член губ. управы; Демидов, Лев Платонович, гласный Бирского земства. Курская. Князь Долгоруков, Петр Дмитриевич, б. председатель Суджанской уездной управы; Евреинов, Алексей Владимирович, Суджанский уездный предводитель дворянства; Усов, Владимир Владимирович, член Суджанской уездной управы». (Архив министерства внутренних дел, фонд канцелярии министра, 1902 г., № 54).

Основные материалы по истории «манифеста 17 октября» (см. *стр. 266* настоящего изд.) опубликованы И. Л. Татаровым в «Красном Архиве», т. XI — XII, М., 1925, стр. 39 — 106. Позицию же С. Ю. Витте в ноябрьские и декабрьские дни 1905 г. прекрасно характеризует одно из неизданных писем его к А. С. Суворину, вдохновленное, вероятно, подавлением московского вооруженного восстания:

«Многоуважаемый Алексей Сергеевич. Последние мятежи частью подавлены — *частью будут подавлены.* Со стороны трудно судить об встречаемых препятствиях. Я нисколько не удручен сыпящимися на меня нападками. Я отлично понимаю, что душа толпы так устроена, что ищет успокоения в том, чтобы был кто-либо виновен. Если этим *я могу принести пользу родине* — то я готов быть виновным. Никакой палаты выбрано не будет. Я обязан следовать манифесту 17 октября и разъяснительному к нему докладу. Я не пойду далее этого и не хотелось бы итти назад. Но к сожалению *приходится временно итти назад дабы очистить дорогу* — подавить мятежи и смуты, препятствующие исполнению программы 17 октября.

Психическая суть последних событий по моему мнению та — мы ныне *можем быть уверены в войсках.* Это самое важное, самое существенное — *это повернуло колесо.* К сожалению войск крайне и *крайне* мало. Все отпускные распущены — новобранцы не пришли, да их нужно еще выучить — армия за Байкалом. В этом, *в этом* вся наша (правительства) беда — иначе, конечно, не было бы всех тех сплошных разгромов. Но лучше, чтобы общество думало, что мы не умеем распоряжаться, нежели если оно *сознает*, что у нас мало сил.

За тем остаюсь вам преданный С. Витте. 19-го [декабря 1905 г.»

История покушения на жизнь С. Ю. Витте в конце января 1907 г. (см. *стр. 286 — 287* настоящего изд.) освещена в воспоминаниях последнего, т. II, изд. 2, Л., 1924, стр. 332 — 353. Переиздание двух первых томов «Воспоминаний С. Ю. Витте» произошло одновременно с выпуском в свет в Ленинграде их третьего тома, посвященного годам царствования Александра II и Александра III. Материал этого тома, остававшийся неизвестным А. Ф. Кони в пору его работы над очерком «С. Ю. Витте», обусловил включение в уже написанные воспоминания нескольких дополнительных замечаний *[стр. 288 — 290]* об ошибках С. Ю. Витте в рассказе о катастрофе в Борках в 1888 г.

В. Г. Короленко и суд. [*Стр 291 — 297.*] Впервые опубликовано в «Журнале общественно-кооперативной мысли Производсоюз», 1922, № 1—4, стр. 2—5. Письма В. Г. Короленко, включенные в этот очерк, полностью воспроизведены были по подлинникам, переданным А. Ф. Кони в Пушкинский Дом, в изд. «В. Г. Короленко. Письма. Под редакцией Б. Л. Модзалевского», П., 1922, стр. 318—321.

«Мултанское дело», навсегда связавшее имена А. Ф. Кони и В. Г. Короленко, отражено в следующих их публикациях: В. Г. Короленко: 1. «Мултанское жертвоприношение» («Русское Богатство» 1895, кн. XI, стр. 241—263); 2. «Отчет о Мултанском деле» («Русск. Ведом.» 1895 г., № 288—296, 299—301, 314. См. также № 340); 3. «Дело Мултанских вотяков». Под редакцией и с примечаниями В. Г. Короленко, М., 1896; 4. «Решение Сената по Мултанскому делу» («Русск. Богат.», 1896, кн. I, стр. 190—197); 5. «Толки печати о Мултанском деле» («Русск. Богат.», 1896, кн. VI, стр. 191—196. Ср. также заметку Короленко в кн. V, отд. «Новые книги», стр. 123—126 и его же письмо в редакцию «Нового Времени», 1896, № 7149). Ср. «Полное собрание сочинений В. Г. Короленко», изд. т-ва А. Ф. Маркс, П., 1914, т. IV, стр. 361—464. Кассационное заключение А. Ф. Кони от 22.XII.1895 г. по делу о Мултанском жертвоприношении (см. *стр. 292—293* настоящего издания), напечатано в сборнике речей и статей А. Ф. Кони «За последние годы», СПБ, 1898, изд. 2-е, дополненное, стр. 244—258.

Известное выступление В. Г. Короленко в качестве одного из защитников крестьян-вотяков при пересмотре Мултанского дела в Казанском окружном суде (*стр. 293* наст. издания), произошло 28.V.1896 г. Две позднейшие статьи В. Г. Короленко, относящиеся к этому же процессу и присланные им А. Ф. Кони при письме от 6.XI.1898 г., опубликованы были в «Русском Богатстве» 1898 г., кн. IX, стр. 186—202 («По поводу доклада свящ. Блинова») и кн. X, стр. 167—179 («Из Вятского края. «Ученый труд» о человеческих жертвоприношениях». *Парфен Зырянов*). Доклад, вызвавший возмущение В. Г. Короленко, сделан был на X съезде естествоиспытателей и врачей в Киеве 24 августа 1898 г., а самая книга (Священник Николай Блинов «Языческий культ вотяков», Вятка, 1898. Стр. 103) вышла в свет, вероятно, в это же время.

Письма А. А. Лугового. [*Стр 298 — 302.*] Впервые опубликовано в альманахе «Стожары», книга третья, Петербург, 1923, стр. 57—60. Перепечатывается в настоящем издании с дополнениями и поправками, внесенными рукою А. Ф. Кони в авторский экземпляр «Стожаров». Стилистически отделывая печатный текст воспоминаний и внеся в них дополнительную справку о кандидатуре А. А. Лугового в почетные академики, А. Ф. Кони вычеркнул (стр. 57) следующую сентенцию об авторе «Police verso»: «Стоя в литературе довольно одиноко в смысле принадлежности к какому-либо лагерю и строго различая действительные потребности общества от его мимолетных и временных настроений, он был чужд слепого преклонения пред последними или рабского к ним приспособления».

Автобиография А. А. Тихонова-Лугового (род. 19.II.1853 г., ум. 25.X.1914 г.) опубликована в «Ниве» 1909 г., № 6, стр. 115—117; основные био-библиографические сведения о нем даны в «Словаре членов Общества Любит. Росс. Словесности при Московском Университете», М., 1911, стр. 173—174; архив А. А. Тихонова после смерти писателя поступил в Пушкинский Дом («Пушкинский Дом при Росс. Ак. Наук. Исторический очерк и путеводитель», Л., 1924, стр. 96).

С. С. Манухин (Воспоминания). [*Стр. 303—313.*] Впервые опубликовано в журн. «Право и Жизнь», 1922 г., июль, стр. 84 — 90.

Выступления С. С. Манухина (род. 27.IX.1858 г., ум. 17.IV.1922 г.) на петергофских совещаниях 19 — 26 июля 1905 г., о которых упоминает А. Ф. Кони на *стр. 305*, посвящены были защите начального проекта положения о Государственной думе, встретившего резкие возражения справа (см. «Секретные протоколы Петергофских совещаний» в «Голосе Минувш.», 1917 г., кн. IV, стр. 124 — 252). Менее активно было участие С. С. Манухина в царскосельских совещаниях 5 — 9 декабря 1905 г. об организации самых выборов в Думу («Былое», 1917 г., кн. III, стр. 261).

Как свидетельствуют воспоминания С. Ю. Витте, «Манухин представляет собою в высшей степени порядочного человека, принципиального государственного деятеля, прекрасного юриста, отлично знающего судебную часть и несколько доктринерски славянофильского направления. Он был прекрасным министром юстиции, хотя, может быть, тогда смотрящим на практические вопросы теоретически, не считался со временем, которое, конечно, было в высшей степени безалаберно-революционное. Вследствие этого он, конечно, в Совете часто расходился с министром внутренних дел Дурново. Но главным его недоброжелателем являлся генерал Трепов, который еще ранее 17 октября, в качестве петербургского генерал-губернатора, предъявлял к министру юстиции Манухину различные незаконные требования, которые тот не удовлетворял и не мог удовлетворять, так как требования эти нарушали законы» («Воспоминания», т. II, стр. 145. См. также на стр. 99 и 147 — 148 материалы о разработанном С. С. Манухиным проекте амнистии после 17.X.1905 г. и об обстоятельствах его отставки).

Для характеристики действий С. С. Манухина на Лене, не поддержанных, как известно, высшей властью и ни в какой мере общей ситуации на промыслах не изменивших, см. «Всеподданнейший отчет члена Государственного совета сенатора, тайного советника Манухина по исполнению возложенного на него 27 апреля 1912 г. расследования о забастовке на Ленских промыслах», СПБ, 1912, стр. 340 + 103. Выдержки из этого отчета, а также важнейшие дополнительные материалы к нему, опубликованы в изд. Центрархива РСФСР. «Ленские события 1912 г. Документы и материалы». Со вступительной статьей Веры Владимировой [Нижний Новгород], 1925.

Мотивы и приемы творчества Некрасова (Беглые заметки). [*Стр. 317—320.*] Впервые опубликовано в изд. «Некрасов. Памятка ко дню столетия рождения. 22 ноября 1821 г. — 22 ноября (5 декабря) 1921 г.». Петербург. Государственное издательство. 1921, стр. 15 — 17.

Общую характеристику Н. А. Некрасова и воспоминания о нем А. Ф. Кони см. на *стр. 3 — 22* настоящего издания.

О Ф. М. Достоевском. [*Стр. 321 — 329.*] Впервые опубликовано в «Журнале общественно-кооперативной мысли «Производсоюз», 1921 г., №№ 20 — 24, стр. 4 — 11.

В своей основной части статья является конспективной передачей речи А. Ф. Кони «Достоевский как криминалист», произнесенной в общем собрании юридического общества при С.-Петербургском университете 2 февраля 1881 г., напечатанной тогда же в «Неделе» и в «Журнале Министерства Юстиции» и включенной впоследствии в сборн. А. Ф. Кони «За последние годы» (изд. 2-е, СПБ, 1898, стр. 474—489).

Воспоминания А. Ф. Кони о Ф. М. Достоевском см. выше на *стр. 23 — 41.*

Еще о Достоевском. [Стр. 329 — 336.] Впервые опубликовано в сборн. «Утренники», книга I, под редакцией Д. А. Лутохина [Петербург. Апрель, 1922, изд. М. С. Кауфмана], стр. 72 — 76.

«Маленькая книжка», о которой упоминает А. Ф. Кони в конце своей заметки, полностью перепечатана на *стр. 3 — 41* настоящего издания.

Памяти П. Д. Боборыкина. [Стр. 337 — 340.] Впервые опубликовано в «Вестнике Литературы», 1919 г., № 7, стр. 4 — 5.

Слухи о смерти П. Д. Боборыкина (род. 15. VIII. 1836 г., умер 12. VIII. 1921 г.), которыми вызвана была эта поминальная статья, оказались преждевременными, чем и объясняется, вероятно, отказ А. Ф. Кони от включения ее в отдел «Памяти ушедших» третьего тома «На жизненном пути».

Новейшая литература и биографические материалы о П. Д. Боборыкине зарегистрированы в справочнике И. В. Владиславлева «Русские писатели», изд. 4-е, М.-Л., 1924, стр. 352 и в обзоре Б. И. Николаевского («Каторга и Ссылка» 1929, кн. II, стр. 165 и 175). См. также «Бирюч» 1919 г., июнь-август, стр. 183 — 185 и «Из переписки П. Д. Боборыкина» (А. В. Багрий «Литературный семинарий», вып. I, Баку, 1926 г., стр. 9 — 22).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ОГЛАВЛЕНИЕ

руб.

«ПРИБОЙ»

Title (with author & pages for periodical articles) (Incl. edition, place & date) [X] This

Na Zhiznennom Puti Vol.5
Leningrad, 1929

Verified in (or source of reference) N.C. Union Cat. reel 53

If non-circulating, please supply [ ] Microfilm [ ] Hard copy if cost does not exceed $

Interlibrary Loan
Perkins Library
Duke University
Durham, N.C. 27706

Note: The receiving library assumes responsibility for notification of non-receipt.

AUTHORIZED BY: Marie Bullard/ms
(FULL NAME)
Title REF. ILL


D04559608.
Duke University Libraries